МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

РИХАРД ВАГНЕР

МОЯ ЖИЗНЬ

Том 2



Рихард Вагнер

Моя жизнь

В двух томах

Том 2



Москва
2022

УДК 929Вагнер
ББК 85.313(4Гем)52-8,2
В12

Вагнер, Рихард

В12 Моя жизнь. В 2 т. Т. 2 / Рихард Вагнер. — Москва : Директ-Медиа, 2022. — 456 с.

ISBN 978-5-4499-2990-7 (*т. 2*)
ISBN 978-5-4499-2958-7

Автобиографический труд гениального немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813–1883 гг.) открывает читателю новые, малоизвестные страницы жизни великого музыканта и знакомит с его философско-эстетическими взглядами. Творчество и музыкальное наследие Вагнера условно разделили историю мировой оперы на два периода — довагнеровский и после, став первым посылом для революционных изменений в развитии оперного жанра. Опережая время, великий реформатор Вагнер оказал значительное влияние на европейскую музыкальную культуру.

Второй том книги «Моя жизнь», ценность которой, по словам самого автора, «заключается в ее неприкрашенной правдивости» состоит из двух частей и рассказывает о жизни творческой деятельности музыкального гения.

УДК 929Вагнер
ББК 85.313(4Гем)52-8,2

ISBN 978-5-4499-2990-7 (*т. 2*)
ISBN 978-5-4499-2958-7

Оглавление

Часть третья
1850–1861

252

Лето 1850 года

Минне посчастливилось найти вблизи Цюриха домик, действительно соответствовавший тем желаниям, которые я настойчиво просил перед отъездом иметь в виду при найме квартиры. В поселке Энге, четверть часа ходьбы от Цюриха, у самого озера стоял старинный бюргерский дом, носивший название Abendstern[1] и принадлежавший симпатичной старой даме, фрау Хирцель. Здесь жена моя совершенно недорого сняла верхний этаж, обособленный от остальной части дома и представлявший все минимальные удобства, необходимые для жизни. Я прибыл рано утром и застал Минну еще в постели. Понимая, что ее мучит мысль, не возвратился ли я к ней из одного только чувства сострадания, я постарался разубедить ее в этом, причем сумел настолько успокоить, что она обещала никогда больше не упоминать о случившемся. Впрочем, она чувствовала себя в своей стихии, показывая мне результаты своей умелой распорядительности. Так как наши материальные дела за последние годы стали постепенно улучшаться, то, несмотря на тяжелые затруднения, с которыми приходилось иногда бороться, в доме нашем все же создалась атмосфера, не лишенная уютности. Однако я не мог победить в себе желания, иногда очень сильного, раз навсегда порвать с привычной для меня обстановкой.

Прежде всего мои собака и попугай, Пепс и Паппо, вносили приятное оживление в наш домашний обиход. Оба до такой степени любили меня, что чувство их было

[1] «Вечерняя звезда» (*нем.*).

мне иногда в тягость. Пепса я всегда брал к себе на рабочее кресло, где он располагался позади меня, а Паппо, когда я слишком долго не приходил в гостиную на его настойчивые призывы «Рихард!», обыкновенно прилетал в мой кабинет на письменный стол и весьма непринужденно распоряжался перьями и бумагой. Он был так хорошо дрессирован, что никогда не издавал неприятных криков, а всегда или говорил, или пел. Заслышав на лестнице мои шаги, он встречал меня, насвистывая главную маршеобразную тему заключительной части c-moll-ной симфонии, начало Восьмой симфонии F-dur или торжественный мотив увертюры «Риенци». Собачка Пепс отличалась необычайной нервностью, за что мои друзья прозвали ее «сумасшедший Пепс». По временам нельзя было сказать ей ласкового слова без того, чтобы она не принималась тотчас же выть и всхлипывать. Оба они заменяли нам детей, и моя жена чувствовала к ним привязанность, почти граничившую с материнской любовью, что, к радости моей, служило для нас источником взаимной симпатии.

Но зато отношение Минны к несчастной Натали вызывало постоянные пререкания между нами. До самой смерти в силу какой-то непонятной стыдливости она не открывала девочке, что она ее мать. Та всегда считала себя сестрой Минны и не понимала, почему с ней обращаются не как с равной. Присваивая себе авторитет матери, Минна постоянно сердилась на Натали за ее непонятливость. Правда, в том возрасте, когда формируется характер, девочка была предоставлена сама себе и совершенно заброшена. Вследствие этого она очень сильно отстала в своем умственном и физическом развитии. При маленьком росте, с наклонностью к полноте она была неповоротлива и бестолкова. Вспыльчивость Минны, резкость ее обращения и постоянные насмешки с течением времени сделали эту девочку, в сущности очень добродушную, строптивой

и озлобленной, так что ссоры мнимых сестер часто самым неприятным образом нарушали тишину и спокойствие в доме, и только совершенное безразличие, с каким я относился к окружающим, давало мне возможность терпеливо переносить все эти неприятности.

253

«Лоэнгрин» в Веймаре. Карл Риттер, как музыкант

На первых порах наш небольшой домашний кружок приятно оживился переселением к нам моего молодого друга Карла [Риттера]: он занял маленькую комнатку под крышей, над нашей квартирой, разделял наши трапезы, мои прогулки и одно время казался вполне этим довольным. Но вскоре я стал замечать какую-то тревогу в его поведении. На его настроении сказывались те резкие сцены, которые составляли неотъемлемый атрибут моей совместной жизни с Минной, и ему нетрудно было уловить болезненность наших отношений, которые по его же инициативе я с таким добродушием, с такой уступчивостью решился восстановить. Он не нашелся, что сказать, когда однажды, воспользовавшись подходящим случаем, я напомнил ему, что мое решение вернуться в Цюрих было вызвано не надеждой на восстановление семейного счастья, а иными побуждениями. Но я заметил, что его странное поведение вызывается и другими причинами. Он стал часто опаздывать к столу, ел без аппетита. Сначала это приводило меня в смущение, так как я думал, что наш стол ему не по вкусу. Наконец, я узнал, что мой юный друг питал чрезмерное пристрастие к пирожным, и я прямо стал беспокоиться, как бы любовь к сластям не отразилась печально на его здоровье. Мои замечания на этот счет, по-видимому, ему очень не понравились. А так как его отлучки из дому делались все продолжительнее, то я решил, что он недоволен своей

скромной комнаткой, и потому не стал удерживать его от приискания другой квартиры в городе.

Заметив, что его стесняет наша домашняя обстановка, я с радостью воспользовался случаем, чтобы предложить ему уехать на время из Цюриха, так как пребывать у нас не доставляло ему, очевидно, особой радости. Я уговорил его поехать в Веймар на первое представление «Лоэнгрина», которое должно было состояться в августе нынешнего года. После его отъезда я предложил Минне совершить прогулку на Риги, куда мы оба поднимались обыкновенно пешком. При этом я в первый раз с огорчением подметил появившиеся у моей жены вследствие утомления от продолжительной ходьбы в гору симптомы сердечной болезни, развивавшейся довольно быстро. Вечер 28 августа, вечер первой постановки «Лоэнгрина» в Веймаре, мы провели в Люцерне, в гостинице Zum Schwan[2], следя по часам за временем начала и предполагаемого конца спектакля. Как я ни старался провести эти часы с женой в приятной оживленной беседе, какое-то ощущение натянутости, раздражения и внутренней несвободы мешало моим лучшим намерениям. Известия об этом спектакле, в самом скором времени до меня дошедшие, не заключали в себе ничего ясного, ничего успокоительного. Карл Риттер, вскоре вернувшийся в Цюрих, сообщил мне о разных сценических недочетах постановки, о неудачном исполнителе главной партии. Но он говорил, что в общем опера произвела на публику хорошее впечатление. Более всего заслуживали доверия отзывы, которые мне прислал сам Лист. Он считал излишним распространяться о скудных художественных средствах веймарского театра, недостаточных для выполнения его необычайно смелой попытки, и сообщал мне только о том впечатлении, какое произвела

---

[2] «У лебедя» (*нем.*).

моя опера на многих выдающихся людей, приглашенных на спектакль, о том общем настроении, каким была одухотворена постановка.

Такое крупное событие в моей жизни должно было, конечно, оказать огромное влияние на мою дальнейшую судьбу. Но в данный момент оно ничего не меняло в положении моих дел, и потому я живее всего интересовался вопросом, что думает предпринять мой молодой друг, предоставленный моему попечению. Проездом в Веймар он повидался в Дрездене со своей семьей. Возвратившись, он заявил мне о своем пламенном желании выбрать в качестве практической карьеры музыкальную деятельность и, если возможно, занять при театре место музикдиректора. До тех пор я не имел еще случая ознакомиться в этом отношении с его способностями. При мне он не решался играть на фортепьяно, но он показал мне композицию на собственный текст, написанный аллитерационным стихом под заглавием «Валькирия», и хотя она произвела на меня впечатление чего-то крайне беспомощного, я все же имел возможность убедиться в том, что он прекрасно знает композиторскую технику. В этом знании теории, несомненно, сказывались преимущества школы Роберта Шумана. Последний говорил мне, что он считает Риттера чрезвычайно одаренным юношей, что ему никогда еще не приходилось встречать у кого-либо из своих учеников такого тонкого слуха, такой прекрасной музыкальной памяти. У меня не было поэтому никаких оснований отнестись недоверчиво к дирижерским способностям моего молодого друга, в наличие которых он сам твердо верил.

Ввиду приближения зимнего сезона я постарался разузнать, кто станет во главе труппы, которая будет играть в Цюрихе. Мне было сообщено, что в данный момент она находится в Винтертуре. Тогда я обратился за помощью и советом к Зульцеру, который всегда был готов оказать мне

дружескую поддержку, и он устроил мне свидание с Крамером, директором театра, на одном торжественном обеде в местной гостинице Wilder Mann[3]. Было решено, что Карл Риттер, которому Крамер на основании моей рекомендации предложил довольно приличное жалованье, вступит с октября в должность музикдиректора при Цюрихской опере. Так как рекомендуемый мной юноша был новичком в оперном деле, то я должен был дать за него поручительство, которое состояло в том, что я брал на себя обязательство заменить за дирижерским пультом Риттера, если вследствие недостаточной его подготовки к капельмейстерской деятельности произойдут какие-либо задержки в ходе театральных дел. Карл, по-видимому, был очень доволен.

Когда, наконец, стал приближаться октябрь и вместе с ним день открытия театрального предприятия Крамера, который объявил, что в его опере будет обращено особое внимание на художественность постановок, я счел необходимым серьезно переговорить с моим другом относительно предстоящего в ближайшем будущем его выступления перед публикой в качестве дирижера. Чтобы дать ему возможность дебютировать в хорошо знакомой вещи, я выбрал для него «Фрейшютца». Карл нисколько не сомневался, что он одолеет такую легкую партитуру. Но когда, победив застенчивость и нежелание играть в моем присутствии на фортепьяно, он стал разбирать вместе со мной клавираусцуг оперы, я, к ужасу моему, убедился, что Риттер не имеет ни малейшего представления о том, что значит аккомпанировать, и с характерной для всех дилетантов беззаботностью насчет точности исполнения совершенно спокойно удлинял, например, на лишнюю четверть такт, если ему нелегко было справиться с техническими

[3] «Дикарь» (*нем.*).

трудностями при передаче партитуры. О ритмической точности, о темпе, которые так важны для дирижера, он не имел ни малейшего понятия. Я был поражен и даже не нашелся, что сказать моему молодому другу. Ошеломленный таким неожиданным открытием, я не стал его уговаривать отказаться от дирижирования, и когда дело дошло до оркестровой репетиции, все еще надеялся на внезапное обнаружение таланта. Единственное, о чем я позаботился, это купить для него пару очков, так как вследствие своей близорукости, о которой он совершенно не подозревал у себя, он так близко наклонялся к нотам, что уже не мог видеть ни певцов, ни оркестра.

Но стоило мне только раз увидеть, как Риттер держится за дирижерским пультом, к которому, несмотря на свои большие очки, он почти прикасался лицом, боясь отвести глаза от партитуры, стоило мне увидеть, как, точно во сне, он вырисовывал в воздухе палочкой какой-то фантастический такт, чтобы понять, что мне немедленно придется самому заменить его согласно обещанию, данному директору театра. Только с трудом удалось мне объяснить молодому Риттеру, что ему необходимо уступить свое место за дирижерским пультом мне. Делать было нечего, мне пришлось продирижировать первым спектаклем Крамеровского театра, «Фрейшютцем», и вследствие успеха, выпавшего на мою долю, я был поставлен в такое положение, что не мог отказаться от дальнейшего участия в его делах, так как этого требовала публика.

254

Ганс Бюлов. Осень 1850 года

Очевидно, нечего было и думать о том, чтобы место дирижера при опере осталось за Карлом. По странному стечению обстоятельств одновременно с этим неприятным

для меня открытием я узнал, что другой мой друг, Ганс фон Бюлов, с которым я познакомился еще в бытность свою в Дрездене, тоже решил избрать музыкальную карьеру. За год до этого я встретился с отцом его, Эдуардом фон Бюловом, в Цюрихе, куда он приехал сейчас же после вторичной своей женитьбы. Бюлов поселился у Боденского озера, и оттуда я получил письмо от Ганса, в котором он извещал меня, что, к величайшему огорчению, не может исполнить своего пламенного желания посетить меня в Цюрихе, о чем он писал мне раньше. Зная положение дел в семье Бюловов, я объяснял себе это письмо влиянием разведенной жены Бюлова, которая старалась удержать Ганса от артистической карьеры и уговаривала его, так как он был юрист по образованию, поступить на государственную службу или в дипломатический корпус. Но склонности и способности влекли его к музыке. Разрешив сыну повидаться с отцом, она взяла с него слово, что он не заедет ко мне. С другой стороны, мне было известно, что и отец Ганса, вообще говоря, относившийся ко мне хорошо, тоже не разрешает своему сыну посетить меня. Мне оставалось поэтому предположить лишь одно, что Бюлов делает все это в угоду своей разведенной жене, не желая после всех столкновений, вызвавших их разрыв, дать ей новый повод к конфликту, несмотря на то что в данном случае решалась судьба их сына. Такое предположение настраивало меня в высшей степени враждебно по отношению к Эдуарду фон Бюлову. Быть может, я и ошибался, но тон письма Ганса, в котором он жаловался на то, что жестокая необходимость заставляет его выбрать карьеру, совершенно не соответствующую его склонностям, и обречь себя, таким образом, на вечную борьбу с самим собой, сразу внушил мне решимость помочь моему другу и сделать для него все, что я считал в данном случае необходимым.

При крайней экспансивности, какой я отличался в те годы, и ненависти ко всякой духовной тирании я принял такое решение, не колеблясь ни минуты. Я ответил Гансу подробным письмом, в котором указывал на то, какой серьезный шаг он собирается сделать. Что дело шло не только о выборе карьеры, но о решительном перевороте во всей его внутренней жизни, было ясно из полного отчаяния, растерянного тона его письма. Протягивая ему руку помощи, я написал, что на его месте никогда бы не отказался от дружеской поддержки, если бы почувствовал стихийное, непреодолимое желание избрать карьеру артиста, что я предпочел бы самые тяжелые лишения, лишь бы не идти путем, который не отвечает моим склонностям. Поэтому я советую ему принять окончательное решение. Если, вопреки запрещению отца, он хочет приехать ко мне, то пусть по получении настоящего письма исполнит свое намерение, не считаясь ни с чем.

Карл Риттер был прямо счастлив, когда я передал ему письмо с поручением отвезти его в усадьбу Бюловов, где жил Ганс. Прибыв туда, он вызвал своего друга и, отправившись с ним на прогулку, передал ему письмо. Прочтя его, Ганс с места в карьер, в отвратительную, суровую, холодную погоду, решил пешком отправиться в Цюрих, так как ни у него, ни у его друга не было совершенно денег. И вот в один прекрасный день, промокшие и забрызганные грязью, они явились ко мне, совершив путешествие, полное разных приключений. Риттер сиял радостью по поводу удавшегося побега Ганса из дома отца, а молодой Бюлов казался потрясенным до глубины души. Я понял, что на мне лежит глубокая и серьезная ответственность. Болезненная возбужденность Ганса вызвала во мне искреннее сочувствие, и отныне наша дружба была скреплена на долгие годы.

255

Ганс Бюлов. Его положение

Прежде всего я постарался вселить в Бюлова бодрость и светлые надежды на будущее. Материальные затруднения были скоро устранены. На тех же условиях, как и Карл, Ганс заключил контракт с дирекцией театра. Оба получали отныне небольшое жалованье, мое же поручительство за молодых музыкантов оставалось в прежней силе. Бюлову сразу пришлось взяться за дирижирование каким-то фарсом с музыкой. Не просмотрев ни разу нот, он с таким одушевлением и уверенностью повел за собой оркестр, что, к великому своему удовольствию, я сразу убедился в несомненной талантливости нашего новоиспеченного дирижера. Зато мне было очень трудно рассеять угнетенное состояние духа Карла, вызванное сознанием своей полной непригодности к практической музыкальной деятельности, на которую, по-видимому, он возлагал большие надежды. С тех пор я стал замечать какую-то робкую сдержанность и скрытую антипатию по отношению ко мне у этого юноши, замечательно одаренного во всем, что не касалось музыки. Но было совершенно невозможно сохранить за Карлом его пост капельмейстера и поручить ему дирижировать каким-либо спектаклем.

С другой стороны, возникли неожиданные затруднения и для Бюлова. Дело в том, что директор оперы, которому очень хотелось, чтобы я и впредь выступал в его театре дирижером, всячески старался заставить меня появиться за капельмейстерским пультом. Действительно, я дирижировал у него еще несколько раз, отчасти из желания возбудить интерес публики к сравнительно недурной труппе, отчасти для того, чтобы на собственном примере показать юным друзьям, особенно богато одаренному Бюлову, в чем заключается искусство оперного капельмейстера.

Вскоре Ганс так хорошо стал справляться со своей задачей, что с чистой совестью я мог сложить с себя обязательство заменять его в случае каких-либо музыкальных неудач, о чем я и заявил директору театра. Одна молодая певица, избалованная моими похвалами, различными придирками старалась довести Бюлова до того, чтобы он сам передал свою капельмейстерскую палочку мне. Когда мы разобрались, в чем дело, и мне немало пришлось по этому поводу сердиться и нервничать, мы после двухмесячной деятельности Ганса в качестве дирижера по соглашению с дирекцией расторгли контракт, сделавшийся для нас источником величайших неприятностей. Так как в это время Бюлову было предложено место музикдиректора в Сен-Галлене, то в надежде на будущее я отпустил обоих молодых людей искать счастья в соседнем городе.

Эдуард фон Бюлов благоразумно покорился решению сына, сохраняя в душе тяжелое чувство по отношению ко мне. На мое письмо, в котором я оправдывался перед ним в своем поведении, он не ответил, но приехал, как я узнал, на свидание с сыном в Цюрих с целью помириться с ним. В течение немногих зимних месяцев, которые молодые люди провели в Сен-Галлене, я несколько раз приезжал туда, чтобы повидаться с ними. Карл снова потерпел неудачу с глюковской увертюрой к «Ифигении». Я нашел его погруженным в мрачные мысли, совершенно ушедшим от всякой практической работы, охваченным тяжелыми чувствами, тогда как Ганс был весь поглощен своей деятельностью, несмотря на отвратительный состав труппы, ужасный оркестр, плохое театральное помещение и вообще, несмотря на отталкивающие условия, среди которых ему приходилось работать. Когда я увидел печальную обстановку Сен-Галленского театра, мы решили, что Ганс вполне доказал свою способность капельмейстера, что он обладает всеми качествами, необходимыми для практической

деятельности дирижера. Теперь необходимо было найти для него такой пост, который давал бы возможность плодотворно применить его музыкальные дарования. Бюлов сообщил мне, что отец имел в виду снабдить его рекомендациями к барону фон Пойслю, тогдашнему интенданту Мюнхенского придворного театра. Но в дело опять вмешалась его мать, настаивая на том, чтобы для дальнейшего усовершенствования сын был послан в Веймар к Листу, чему я только мог от души сочувствовать. С искренней радостью я написал моему другу письмо, в котором горячо рекомендовал молодого Бюлова, дальнейшая судьба которого чрезвычайно меня волновала. На Пасхе 1851 года он покинул Сен-Галлен и на долгое время переехал в Веймар, выйдя, таким образом, из-под моей опеки. Риттер остался в своем меланхолическом уединении, не решаясь возвратиться в Цюрих, с которым у него были связаны неприятные воспоминания о первых его неудачах. Он продолжал жить в Сен-Галлене.

256

Симфонии

Более интересные художественные впечатления доставил мне приезд обоих друзей на зиму в Цюрих, где Бюлов выступил в качестве виртуоза на рояле на одном из концертов Музыкального общества. На этом концерте, к своему личному удовольствию и радости друзей, я дирижировал бетховенской симфонией. Дело в том, что дирекция общества вновь обратилась ко мне с просьбой принять участие в устраиваемых ней концертах. Так как постоянный оркестр был очень слаб, то я дал согласие лишь при условии, что будут дополнительно приглашены хорошие музыканты, главным образом для усиления группы струнных; причем мое участие в концертах обыкновенно

ограничивалось дирижированием какой-либо бетховенской симфонией. На разучивание с оркестром выбранной мной для концерта симфонии я требовал каждый раз предоставления мне не менее трех репетиций. На эти репетиции съезжались музыканты из соседних городов, и потому все концерты общества при моем участии приобретали особенную торжественность. Кроме того, для прохождения одной только симфонии в мое распоряжение была предоставлена вся репетиция, и я имел достаточно времени, чтобы добиться тонкой нюансировки при исполнении Бетховена, произведения которого не представляли для музыкантов каких-либо особых затруднений в техническом отношении. Благодаря этому я достиг полной свободы в передаче оркестру своих намерений, чего мне до тех пор за все время моей дирижерской карьеры ни разу не удалось добиться.

То неожиданно сильное впечатление, какое произвели в моем исполнении симфонии, наполнило меня особенным энтузиазмом. В самом оркестре я открыл несколько действительно талантливых музыкантов, которые охотно подчинялись моим указаниям и скоро научились исполнять их совершенно так, как я этого от них требовал. Среди них упомяну о Фрисе, которого я посадил на место первого гобоя. С ним я разучил его чрезвычайно важную в бетховенских симфониях партию так тщательно, как если бы дело шло о вокальном соло. Действительно, на концерте, когда исполнялась c-moll'ная симфония, он провел адажио первой части с таким проникновенным выражением, какого я никогда не слыхал при передаче этого места. Впоследствии, когда я отказался от дальнейшего участия в концертах общества, этот странный человек бросил свою деятельность оркестрового музыканта и открыл нотную торговлю.

Затем в лице Отт-Имхофа мы имели одного из видных и богатых граждан Цюриха, любителя искусства и дилетанта, прекрасного кларнетиста, обладавшего, правда, небольшим, но очень нежным и мягким звуком. Кроме того, я должен указать еще на превосходного валторниста Бэра, поставленного мной во главе медных духовых. Благодаря ему эта группа музыкантов стала играть с особенной артистичностью. Не припомню, чтобы мне когда-либо пришлось услышать такой интенсивный и равномерный звук аккордов духовых в последней части c-moll'ной симфонии, как на концертах в Цюрихе. Такое впечатление произвела на меня в свое время передача Девятой симфонии оркестром Парижской консерватории.

Исполнение c-moll'ной симфонии возбудило энтузиазм публики, в особенности одного из моих друзей, государственного секретаря Зульцера, до тех пор совершенно равнодушного к музыке. Последний вдохновился настолько, что в ответ на какую-то враждебную мне заметку в местной газете написал целую поэтическую сатиру в духе Платена на моего непризванного критика.

Для участия во втором концерте общества, в котором я согласился выступить этой зимой и продирижировать «Героической симфонией», был приглашен, как уже сказано выше, в качестве пианиста Бюлов. Со свойственной ему смелостью, даже неосмотрительностью, он выбрал чрезвычайно остроумную, но трудную фортепьянную обработку увертюры к «Тангейзеру», приготовленную Листом. Своим исполнением Бюлов вызвал бурю восторгов. Меня поразила его блестящая виртуозная игра, на которую я раньше не обратил должного внимания, и она внушила мне самые прекрасные надежды на его будущее. В замечательных дирижерских и аккомпаниаторских способностях Бюлова я уже имел возможность

убедиться во время его скитаний минувшей зимой, о которых я говорил коротко выше.

В Цюрихе у меня часто собирались знакомые. В конце концов мои друзья основали целый музыкальный клуб для развлечений, которые стали возможными благодаря присутствию Ганса [фон Бюлова]. На его вечерах я сам исполнял подходящие отрывки из моих опер, причем Ганс брал на себя обязанности аккомпаниатора и справлялся с ними блестяще. Пользуясь случаем, я приступил к чтению своих рукописей. В продолжение целого ряда вечеров я читал все увеличивающемуся, чрезвычайно внимательному кругу слушателей написанную мной за зиму большую книгу «Опера и драма».

257

«Опера и Драма». Февраль 1851 года. Зульцер

Несколько успокоившись и собравшись с мыслями, я стал думать о возобновлении серьезных работ. Но мне очень не хотелось приступать к композиции «Смерти Зигфрида». Не было настроения работать над партитурой, заведомо обреченной лежать в портфеле. Меня привлекала мысль как-нибудь, хотя бы окольными путями, добиться постановки моего произведения на сцене. Для этого я считал необходимым прежде всего объяснить немногочисленным друзьям моим, которые со всех сторон выказывали серьезный интерес к моей работе, задачи, так просто разрешавшиеся в моем уме, так отчетливо мне рисовавшиеся, но казавшиеся им едва намеченными. К этому представился вскоре особенно удобный случай. Зульцер показал мне статью «Опера» в «Универсальном лексиконе» Брокгауза, думая, что высказанные в ней мысли могут послужить подготовительным материалом для моего труда. При первом же беглом взгляде на эту работу я убедился

в ошибочности высказанных в ней положений. Я старался обратить внимание Зульцера на основное различие между общепринятыми мнениями, которых держались даже весьма образованные люди, и моими взглядами на сущность искусства. Так как, естественно, каким бы даром слова я ни обладал, устно я не мог бы дать широкого распространения своим идеям, то немедленно по возвращении домой я принялся набрасывать план систематического и подробного их изложения. Так приступил я к составлению этой книги, которую выпустил в свет под заглавием «Опера и драма». Книга эта стоила мне нескольких месяцев напряженной работы и была закончена к февралю 1851 года.

Мне пришлось дорого поплатиться за увлечение, с каким я заканчивал этот труд. По моему расчету оставалось еще несколько дней усиленной работы над рукописью, как вдруг опасно заболел мой милый попугай, обыкновенно усаживавшийся на моем письменном столе и следивший за моим писанием. Так как это с ним случалось уже не раз, и он всегда оправлялся от подобных заболеваний, то я не стал особенно беспокоиться. Жена просила меня сходить за рекомендованным нам ветеринаром, жившим в отдаленном квартале. Но я откладывал это дело со дня на день, не желая отрываться от письменного стола. Наконец однажды вечером в поздний час я окончил роковой манускрипт, а на другое утро славный Папо лежал мертвым на полу. Я был безутешен. Печаль мою искренно разделяла Минна, и наша общая привязанность к домашним животным должна была служить связующим симпатическим звеном между нами в дальнейшей совместной жизни.

Кроме домашних животных, нам оставались верными и преданными также и более старые цюрихские друзья, не обращавшие внимания на катастрофу наших семейных отношений. Из них наиболее ценным и выдающимся был

Зульцер. Резкое различие наших природных интеллектуальных дарований, склонностей и темпераментов, казалось, лишь способствовало нашей дружбе. Мы постоянно открывали друг в друге неожиданные грани наших характеров, которые в силу глубоких оснований, на которых они зиждились, являлись для нашего общения плодотворным и поучительным опытом. Зульцер был необыкновенно раздражителен и крайне хрупкого здоровья. Он поступил на государственную службу вопреки своим врожденным склонностям, которые принес в жертву строгому и добросовестному исполнению долга в широком смысле этого слова. Знакомство со мной погрузило его глубже, чем он считал это для себя дозволенным, в сферу эстетических наслаждений. Быть может, он разрешил бы себе этого рода увлечение с большей легкостью, если бы я относился к искусству менее серьезно. Тот факт, что художественно-артистической деятельности я придавал необычайное значение, несравненно большее, чем задачам государственности, выбивал его из нормальной колеи. Но именно глубоко серьезное отношение к вопросам искусства влекло его ко мне, к моим воззрениям на этот предмет. Так как наши беседы носили далеко не всегда мирный характер, то при обоюдной повышенной раздражительности споры наши часто разрешались бурными взрывами. Случалось иногда, что губы его начинали судорожно подергиваться, он хватал шляпу и палку и, не простившись, стремительно убегал. На следующий день он снова, как ни в чем не бывало, являлся в обычный час, и оба мы чувствовали себя так, как если бы между нами ничего не произошло. Тяжело было навещать его только в те дни, когда обычное мучительное физическое недомогание вынуждало его сидеть взаперти. Вопрос о здоровье приводил его в бешенство. И было только одно средство вернуть ему хорошее

настроение: стоило лишь заявить, что вы пришли просить о дружеской услуге. Приятно изумленный, он сейчас же высказывал полную готовность сделать все, что угодно. Лицо его мгновенно прояснялось и становилось приветливым.

258

Баумгартнер, Хагенбух

Резко отличался от него музыкант Вильгельм Баумгартнер. Это был жизнерадостный весельчак без малейшей склонности к самоуглублению, изучивший фортепьянную игру как раз настолько, чтобы быть хорошим учителем и зарабатывать уроками ту сумму денег, которая ему нужна была на расходы. Он чувствовал прекрасное горячо, пока оно не принимало слишком возвышенных форм. Это было верное, доброе сердце, глубоко преданное Зульцеру. Но и влияние Зульцера не спасло этого человека от пристрастия к вину. К нам с самого начала присоединились еще два человека, связанных с Зульцером и Баумгартнером дружескими отношениями: дельный и почтенный второй государственный секретарь Хагенбух и удивительно добродушный, умственно не особенно одаренный и потому беспощадно третируемый Зульцером адвокат и редактор Eidgenössischen Zeitung[4] Бернгард Спири. Александр Мюллер, которого все более и более засасывали домашние неприятности, физические страдания и ремесленное занятие уроками, вскоре окончательно исчез из нашего кружка. К музыканту Абту, несмотря на его «Ласточек», я не чувствовал ни малейшего влечения. К тому же он вскоре покинул нас для блестящей карьеры в Брауншвейге.

---

[4] «Швейцарской газеты» (*нем.*).

259

Колачек. Георг Гервег

Цюрихское общество особенно обогащалось приливом различных лиц, потерпевших политическое кораблекрушение. По моем возвращении в январе 1850 года я уже застал там довольно элегантного с буржуазной точки зрения, но в достаточной мере скучного Адольфа Колачека. Он чувствовал призвание к издательству и основал Deutsche Monatsschrift[5]. Для всех побежденных в последнем восстании орган этот должен был служить ареной духовной борьбы. Мне несколько льстило, что он считал меня писателем. Он уверял, что союзу умственных сил, выступающему под флагом предприятия, недоставало как раз «такого человека», как я. Уже из Парижа я выслал ему статью «Искусство и климат». Теперь он охотно взял несколько крупных отрывков из неизданной еще «Оперы и драмы» и уплатил за них весьма приличный гонорар. Этот человек навсегда остался в моей памяти как образец тактичного редактора. Он дал мне однажды для прочтения рукопись рецензии на мое «Произведение искусства будущего» некоего господина Паллеске и объявил, что без моего специального согласия, на котором он отнюдь не настаивает, он ее не опубликует. Я нашел, что, если бы этот поверхностный, бессмысленный, составленный в самом высокомерном тоне отзыв появился на страницах журнала, я был бы вынужден дать на него обстоятельное возражение. Мне пришлось бы снова тратить время на утомительное изложение моих воззрений, их основных теорем. К этому я совершенно не был расположен. Потому и согласился с решением Колачека вернуть рукопись автору, рекомендуя поместить ее в каком-либо другом журнале.

---

[5] «Немецкий ежемесячный журнал» (*нем.*).

Колачеку я обязан своим знакомством с Рейнгольдом Зольгером, действительно превосходным и интересным человеком. Этому последнему, с его беспокойным и несколько авантюристическим характером, стало нестерпимо заточение в маленьком, тесном цюрихско-швейцарском мирке. Он вскоре покинул нас и отправился в Северную Америку. Оттуда до меня доходили потом известия о его громких выступлениях и лекциях по поводу европейских событий. Жаль, что этот талантливый человек не прославил своего имени какими-нибудь значительными работами: все написанное им для нашего ежемесячника за короткое время его пребывания в Цюрихе принадлежит к числу превосходнейших вещей, когда-либо созданных в этой области немцем.

В новом 1851 году к этой компании присоединился еще Георг Гервег, которого я в один прекрасный день, к величайшему изумлению, встретил в квартире Колачека. Обстоятельства несколько неприятного для меня характера, приведшие его в Цюрих, сделались мне известны гораздо позже. Гервег приобрел изысканные манеры и держался в обществе с надменностью избалованного аристократа своего века. Речь его, уснащенная французскими восклицаниями, еще резче подчеркивала изысканность его внешнего облика. Но тем не менее вся его наружность, его живые глаза и приветливое обращение производили в высшей степени приятное впечатление и сразу привлекали к нему людей. Я почувствовал себя почти польщенным, когда он охотно принял приглашение на мои простые деревенские вечеринки. Правда, на них бывало иногда очень мило, в особенности, когда Бюлов оживлял их своей игрой. Должен заметить, что от Гервега я не дождался никакого ответного приглашения. Когда я приступил к чтению своих рукописей, то, по уверениям жены, Колачек заснул, а Гервег сосредоточил все свое внимание исключительно

на пунше. Когда впоследствии — о чем уже было упомянуто — в течение двенадцати вечеров кряду я читал моим цюрихским друзьям и знакомым «Оперу и драму», Гервег отсутствовал. Он считал ниже своего достоинства смешиваться с теми, которые книги моей понять не могли. Мало-помалу мы с Гервегом сблизились. Этому способствовали не только мое уважение к новопрославленному поэтическому таланту, но и сочувствие к его действительно нежной, богато одаренной натуре. Наконец, я в самом Гервеге заметил потребность общения со мной. Привычка постоянно затрагивать глубокие и серьезные вопросы, страстно меня тогда интересовавшие, по-видимому, оказывала облагораживающее влияние на этого человека. Упоенный своей быстро растущей поэтической славой, он погрузился, во вред себе, в столь чуждые его душе пошлые и мелочные заботы о внешности. Успеху моего влияния на него много способствовали стесненные обстоятельства, в которые он себя поставил, стараясь всегда одеваться с притязаниями на блеск. Как бы то ни было, в нем я впервые нашел тонкое сочувственное понимание самых смелых моих планов и замыслов, и вскоре я оказал ему свое полное доверие. Он говорил, что занят только моими мыслями, которыми никто еще не увлекался так искренне, как он.

260

Дружба с Гервегом. Агитация Листа. «Смерть Зигфрида»

Сердечная, почти нежная дружба упрочилась между нами, когда я сообщил Гервегу о новой драматической поэме, которой предполагал заняться наступающей весной. Осуществленная Листом в конце прошлого лета постановка «Лоэнгрина» на сцене веймарского театра дала результаты, которых никак нельзя было ожидать

при ограниченных средствах, какими он располагал. Задача эта могла быть успешно разрешена только таким разносторонне и богато одаренным, дружески ко мне расположенным человеком, как Лист. Если не в его силах было сейчас же привлечь в веймарский театр выдающихся певцов, подходящих для «Лоэнгрина», если относительно многого ему пришлось ограничиться лишь намеками, то зато он приложил все усилия к тому, чтобы вдохновенно осветить все недоговоренное в этой постановке. Прежде всего он написал обстоятельную статью о значении «Лоэнгрина». Редко, когда литературное толкование художественного произведения доставляло последнему столько внимательных и до энтузиазма убежденных друзей, сколько доставила «Лоэнгрину» детально разработанная статья Листа. Карл Риттер обнаружил прекрасные литературные дарования, сделав великолепный немецкий перевод французского оригинала, помещенный в Illustrirten Zeitung[6]. Вскоре после этого Лист издал французский оригинал, снабженный такой же пояснительной статьей о «Тангейзере». Эта брошюра долгое время вызывала, особенно за границей, часто неожиданное сочувствие по моему адресу. По ней публика гораздо обстоятельнее знакомилась с моими работами, чем изучая их по клавираусцугам. Далеко не удовлетворенный этим, Лист старался привлекать новых просвещенных артистов к веймарским постановкам моих опер. Этим способом он хотел обратить на них внимание тех, которые способны были слышать и видеть. Если по отношению к Францу Дингельштедту благие намерения его не привели ни к чему — последний с явной неохотой согласился дать лишь туманный отзыв о «Лоэнгрине» в Allgemeine Zeitung, — то его вдохновенному красноречию удалось окончательно привлечь на мою

---

[6] «Иллюстрированной газете» (*нем.*).

сторону Адольфа Штара. Подробный отчет о «Лоэнгрине», помещенный в берлинской National Zeitung, признававший за оперой огромное значение, явно оказал серьезное воздействие на немецкую публику. В тесных кругах музыкантов-специалистов, по-видимому, не прошло бесследно и то обстоятельство, что Роберт Франц, которого Лист чуть не насильно заинтересовал постановкой «Лоэнгрина», отзывался потом о ней с истинным восторгом. Эти примеры оказались заразительными, и некоторое время можно было думать, что тупоумная музыкальная пресса решила заняться мной энергично и серьезно. В свое время я расскажу, почему это движение очень скоро и уже навсегда приняло совершенно противоположное направление.

В настоящий же момент дружелюбное отношение ко мне печати окрылило дух Листа, и он стал поощрять меня к дальнейшим работам на поприще прерванной мной за последние годы творческой деятельности. Справившись с «Лоэнгрином», он отважился на еще более смелое предприятие и предложил мне написать для Веймара музыку к тексту «Смерти Зигфрида». По его внушению интендант веймарского театра, господин фон Цигезар, от имени Великого герцога должен был предложить мне настоящий ангажемент: я обязывался окончить работу в годичный срок, и за это мне уплачивалось 500 талеров. Странное совпадение: приблизительно в это же время и при содействии Листа герцог Кобургский предложил мне 900 талеров за инструментовку сочиненной им оперы, причем мой великодушный заказчик, невзирая на мое положение опального, приглашал меня приехать в свой замок, где, отделенный от внешнего мира, я вместе с ним, композитором и поэтессой госпожой Бирх-Пфайфер должен был заняться его произведением. Лист молил меня под каким-нибудь предлогом отклонить это предложение,

причем советовал сослаться на «физическое и умственное нерасположение» к такого рода работам. Позднее мой друг сообщил мне, что желание герцога заручиться моим сотрудничеством для своей партитуры возникло у него благодаря сделанному мной удачному применению тромбонов. Когда он просил Листа сообщить ему мою теорию на этот счет, тот ответил, что весь секрет заключается в следующем: я сажусь писать для тромбона не раньше, чем в моей голове созреет какая-нибудь идея.

261

«Юный Зигфрид»

Но мне сильно улыбалась мысль принять веймарское приглашение. Измученный долгой работой над «Оперой и драмой», удрученный многими событиями последнего времени, я после длинного перерыва снова сел за свой вышедший целым и невредимым из дрезденской катастрофы гертелевский рояль, чтобы испытать, как пойдет у меня музыкальная композиция тяжеловесной героической драмы. Я набросал вчерне музыку едва намеченной песни Норн в ее первой редакции. Когда я облек в звуки обращенное к Зигфриду приветствие Брюнгильды, дух мой охватило уныние. Невольно я задал себе вопрос, какая певица будущего сезона создаст этот героически-женственный образ. Тут я вспомнил про свою племянницу Иоганну, которую еще раньше, в Дрездене, зная ее прекрасные внешние данные, я мысленно предназначал для этой роли. Она начала в Гамбурге свою карьеру примадонны, но все отзывы о ней других, бесцеремонное отношение ее самой и всей ее семьи ко мне убеждали меня в том, что всякая надежда использовать ее талант потеряна для меня навсегда. В то же время меня преследовала мысль, что заменой Иоганне может явиться вторая дрезденская примадонна,

госпожа Шпацер-Джентилуомо, та самая, которая некогда вдохновила Маршнера на дифирамбы Доницетти.

Однажды я вскочил, взбешенный, от рояля и объявил, что писать для таких деревяшек я не намерен. Как только я мысленно представлял себя в соприкосновении с каким-нибудь театром, мной тотчас овладевало совершенно не поддающееся описанию раздражение, с которым я никак не мог совладать. Меня несколько успокоило открытие, что тяжелое нравственное состояние, в котором я находился, было до некоторой степени вызвано физическим нездоровьем. Этой весной у меня неожиданно появилась какая-то кожная сыпь, распространившаяся по всему телу. Врач прописал мне серные ванны, которые я должен был принимать регулярно каждое утро. Хотя это лечение действовало очень возбуждающим образом на мои нервы и заставило меня впоследствии прибегнуть к радикальнейшим мерам для восстановления здоровья, регулярные утренние прогулки в город и обратно в цветущие майские дни сильно подняли мое настроение.

Я задумал «Юного Зигфрида», которого хотел предпослать трагедии «Смерть Зигфрида» в качестве героической комедии. Увлеченный этой идеей, я старался убедить себя, что эту вещь будет легче поставить, чем серьезную и мощную «Смерть Зигфрида». Свой план я сообщил Листу. Затем я предложил веймарскому театральному начальству задуманную мной стихотворную и музыкальную композицию «Юного Зигфрида» за то же вознаграждение в 500 талеров, которое я раньше принял с такой серьезностью. В Веймаре без колебания согласились на мое предложение, и я удалился в комнатку на чердаке, покинутую в прошлом году Карлом Риттером, чтобы в промежутках между серными ваннами и прогулками на свежем воздухе, пользуясь хорошим настроением, скорее написать задуманный текст «Юного Зигфрида».

262

Теодор Улиг. «Еврейство в музыке». «Музыка Будущего»

Теперь я должен упомянуть о теплых сердечных отношениях, которые после отъезда из Дрездена я поддерживал с Теодором Улигом, молодым музыкантом дрезденского оркестра (о нем я уже и раньше упоминал), и которые с течением времени превратились в настоящую плодотворную дружбу. Его самостоятельный, несколько резкий склад ума и характера не мешал ему питать ко мне горячую, почти безграничную преданность. Я встретил в нем большое сочувствие к моей судьбе и глубокое понимание моих произведений. Он был в числе зрителей на веймарском представлении «Лоэнгрина» и прислал мне весьма дельный отчет о нем. Так как музыкальный издатель Гертель в Лейпциге охотно согласился на мое предложение издать «Лоэнгрина», не выплачивая мне за это гонорара, то я поручил Улигу составление клавираусцуга. Но особенно сошлись мы на почве теоретических вопросов, которые я возбудил своими сочинениями и которые мы обсуждали с ним в оживленной переписке. Меня трогало, что, будучи по образованию узким специалистом-музыкантом, он, как человек непредубежденный, сумел с отчетливостью понять идеи, которые приводили в ужас и отчаянье других музыкантов, казавшихся разносторонне образованными: последние усматривали в них опасность для избитых путей искусства.

Улиг вскоре обнаружил и незаурядный литературный талант. В ряде превосходных крупных статей об инструментальной музыке, помещенных в «Немецком ежемесячнике» Колачека, засвидетельствовал он полное свое единомыслие со мной в вопросах искусства. Кроме того, он познакомил меня с одной своей до сих пор не опубликованной, строго теоретической работой о построении

музыкальных тем и форм. Работа эта показывала как оригинальность его взглядов, так и основательное знакомство с приемами Моцарта и Бетховена, особенно в точке их взаимного расхождения, чрезвычайно для них характерного. По своей исчерпывающей полноте и точности она могла служить основанием новой теории высших музыкальных форм. Теория эта проливала свет на самые загадочные приемы Бетховена и при дальнейшем развитии могла вырасти в целую систему. Статьи этого даровитого молодого человека обратили на него вполне заслуженное внимание издателя Neue Zeitschrift fur Musik Франца Бренделя. Приглашенный в качестве сотрудника этого издания, Улиг без всякого труда сбил Бренделя с нерешительной позиции, которую он занимал до тех пор. Этого человека честных и серьезных взглядов ему удалось навсегда привлечь на сторону так называемого нового направления, которое стало уже обращать на себя внимание музыкального мира.

И я также счел необходимым отдать в это издание статью, оказавшуюся роковой. Я подметил частое употребление некрасиво звучащих словечек, вроде «иудейские мелизмы», «синагогиальная музыка» и т. д., служивших орудием пустого подстрекательства. Мне хотелось разобрать поглубже вопрос о роли современных евреев в области музыки, об их влиянии на нее и вообще отметить характерные особенности явления в целом. Я сделал это в довольно обширной статье «Еврейство в музыке». Хотя я и не намерен был отрекаться от своего авторства, я все-таки счел за лучшее подписать статью псевдонимом. Я не хотел, чтобы вопрос, к которому я относился очень серьезно, обратился в предлог для сведения личных счетов, чтобы истинное значение его чем-либо было заслонено. Шум, который произвело появление этой статьи, ужас, который она вызвала, не поддаются описанию. Вся тревога печати,

все неслыханные враждебные выходки, которые до сих пор позволяет себе по моему адресу пресса Европы, понятны лишь тому, кто, внимательно ознакомившись с моей статьей, вспомнит момент ее появления, вспомнит, что все газеты Европы находятся почти исключительно в руках евреев. Но тот, кто захочет искать причины этой беспощадной ненависти и травли в теоретическом или практическом несочувствии моим взглядам, моим работам по искусству, будет далек от истины. Появление этой статьи вызвало бурю негодования, которая обрушилась на ни в чем неповинного и едва понимавшего, в чем дело, Бренделя. Его стали преследовать и даже угрожали уничтожить его окончательно. Другим непосредственным результатом статьи оказалось то, что отныне даже те немногие лица, которые благодаря Листу сочувственно ко мне относились, приняли новую тактику, стали меня замалчивать, а затем перешли даже на враждебную по отношению ко мне позицию. Интересы собственной шкуры заставляли их выказывать отвращение по моему адресу.

Тем вернее и решительнее держал мою сторону Улиг: он не давал падать духом Бренделю и постоянно помогал его газете своими писаниями, то серьезными, то остроумными и меткими. Он тотчас же избрал себе главного противника, завербованного Фердинандом Хиллером в Кёльне, господина Бишофа, который изобрел для меня и моих приверженцев прозвище «музыканты будущего», и пустился с этим господином в длинную, довольно забавную полемику. Так было положено основание проблемы «музыки будущего», проблемы, которая разрослась до степени европейского скандала. Лист первый с присущим ему добродушием принял прозвище «музыканта будущего» и с гордостью стал его носить. Конечно, заглавием своей книги «Произведение искусства будущего» я сам подал повод к насмешкам. Но оно стало форменным боевым

кличем лишь с той минуты, как «Еврейство в музыке» открыло все шлюзы ярости, излившейся на меня и моих друзей. Книга моя «Опера и драма» вышла в свет только во второй половине этого года. Поскольку она вообще могла обратить на себя внимание влиятельных музыкантов, то немало, разумеется, способствовала обрушившейся на меня всеобщей ненависти. Но с тех пор эти преследования стали носить скорее характер тайных козней и клеветы. Все движение было возведено в планомерную систему Мейербером, который был истинным мастером в такого рода делах. Он руководил интригами против меня вплоть до самой своей благополучной кончины.

263

Июль 1859 года. Швейцария. Улиг в Цюрихе

Уже в первые дни открытого негодования, которым разразилась пресса, Улиг познакомился с моей работой «Опера и драма». Я подарил ему оригинал рукописи, и так как он был в изящном красном переплете, то мне пришло в голову в виде посвящения перефразировать гётевское «Grau, mein Freund, ist alle Theorie»[7] на «Rot, mein Freund, ist meine Theorie»[8]. По этому поводу между мной и моим молодым другом, умевшим быстро и тонко откликаться на все, завязалась плодотворная для меня и в высшей степени приятная переписка.

В результате мне искренне захотелось повидаться с ним после двухлетней разлуки. Бедному скрипачу, только что назначенному камер-музыкантом, было крайне затруднительно принять мое приглашение. Однако он старался преодолеть все трудности и уведомил меня о своем приезде, назначив его на первые дни июля. Я решил выехать

---

[7] «Сера, мой друг, всякая теория» (*нем.*).

[8] «Красна, *мой* друг, *моя* теория» (*нем.*).

ему навстречу и дожидаться его в Роршахе на Боденском озере, а оттуда вместе с ним совершить прогулку по Швейцарии до Цюриха. Отправился я в путь по старому, привычному способу, пешком, сделав намеренно крюк через Тоггенбург. Оживленный и радостный добрался я до Сен-Галлена, где посетил Карла Риттера, жившего со времени отъезда Бюлова в полном уединении. Я догадывался о причине его отшельничества, хотя он мне и рассказывал о приятном знакомстве с неким сен-галленским музыкантом Грайтелем, который потом вскоре исчез с нашего горизонта. Несмотря на утомительное путешествие пешком, я все же не мог удержаться, чтобы не прочесть в высшей степени просвещенному и отзывчивому молодому другу еще никому не читанную, только что законченную поэму «Юный Зигфрид». Впечатление, какое я произвел на него, очень порадовало меня, и, будучи сам в прекрасном настроении духа, я убедил его нарушить свое странное затворничество и вместе со мной пойти навстречу Улигу, чтобы затем, общей компанией, перевалив через высокие Сэнтис, отправиться в Цюрих и основаться там надолго.

При первом же взгляде на моего гостя, как только он высадился в хорошо знакомой мне Роршахской гавани, я был охвачен серьезными опасениями за его здоровье. Заметно было его предрасположение к чахотке. Чтобы пощадить его, я хотел отказаться от предполагавшегося восхождения на горы. Но он с жаром стал настаивать на выполнении этого плана, уверяя, что моцион на свежем воздухе будет только отдыхом для него после изнурительного труда, связанного с ужасной должностью скрипача. Пройдя Аппенцелль, мы втроем пустились дальше, намереваясь совершить довольно тяжелый перевал через высокий Сэнтис. Первый раз в жизни случилось мне идти летом по далеко раскинувшемуся снежному полю. На дикой вершине в хижине пастуха-проводника устроили мы

привал и, подкрепившись крайне скудной едой, решили сделать остававшиеся нам несколько сот шагов по скалистому, крутому склону у самой вершины горы. Здесь Карл внезапно отказался следовать за нами. Чтобы заставить его стряхнуть с себя малодушие, я послал назад проводника, который чуть ли не насильно довел его до нас. Взбираясь вверх по отвесному каменному склону, я скоро заметил, что напрасно принуждал Карла участвовать в этом опасном восхождении на гору. Очевидно, головокружение совершенно лишало его сознания. Взгляд его был неподвижно устремлен в пространство: казалось, он ничего не видел. Нам пришлось окружить его и поддерживать при помощи наших палок. Каждую минуту можно было опасаться, что он упадет и скатится вниз. Когда мы добрались до вершины, он упал наземь, окончательно потеряв сознание, и я понял, какую ужасную ответственность взял на себя: ведь нам предстояло еще более рискованное путешествие назад. В ужасе забыл я о собственной опасности. В воображении я уже видел моего молодого друга, лежащего в пропасти с размозженной головой. Наконец мы благополучно спустились к хижине.

Так как мы с Улигом остались при своем решении совершить небезопасный, по мнению проводника, спуск с обрывистой, противоположной стороны горы, то под впечатлением только что испытанного неописуемого страха я стал убеждать молодого Риттера остаться на время в хижине, пока мы не пришлем ему нашего проводника. А потом он мог бы вместе с ним пуститься в совершенно безопасный обратный путь по той стороне, которой мы пришли. Мы расстались, так как он должен был вернуться в Сен-Галлен. Спустившись в красивую Тоггенбурскую долину, мы на другой день повернули к Рапперсвилю и к Цюрихскому озеру. Лишь по истечении нескольких дней могли мы успокоиться насчет Карла. Он благополучно

прибыл в Цюрих, где и оставался с нами некоторое время. Затем он уехал, быть может, для того чтобы не поддаться соблазну новой прогулки в горы, которую мы опять затевали. Потом я узнал, что он надолго поселился в Штутгарте. По-видимому, ему там хорошо жилось в обществе одного молодого актера, с которым он быстро подружился.

264

Я со своей стороны наслаждался теми сердечными отношениями, которые установились у меня с кротким и в то же время мужественным, чрезвычайно даровитым молодым дрезденским камер-музыкантом. Своей белокурой кудрявой головой и красивыми голубыми глазами он производил необыкновенное впечатление на мою жену. В доме нашем как будто поселился ангел. Мне его наружность и его судьба казались вдвойне интересными и трогательными, так как его поразительное сходство с находившимся тогда еще в живых моим старым покровителем, королем Фридрихом Августом Саксонским, по-видимому, подтверждало дошедшие до меня слухи, что Улиг его незаконный сын. Мне было интересно получить от него сведения о Дрездене, о театре, о тамошних музыкальных делах. Мои оперы, бывшие до тех пор славой этого театра, окончательно сошли с репертуара. Улиг дал мне недурной образчик отзывов обо мне моих бывших товарищей. Когда «Искусство и революция» и «Произведение искусства будущего» вышли в свет и подверглись критике, один из моих коллег сказал: «Ну, ему придется еще порядком подождать, пока он снова допишется до капельмейстерства». Для характеристики музыкальных успехов он рассказал мне интересный факт: оказывается, Райсигер, дирижировавший [Седьмой] A-dur'ной симфонией, которой недавно дирижировал и я, нашел следующий выход из затруднительного положения. Как известно,

Бетховен мощное заключительное развитие последней части ведет все время forte[9], доходя до sempre piu forte[10]. Райсигеру, дирижировавшему этой симфонией до меня, заблагорассудилось вести ее piano[11] и только к концу crescendo[12]. Я, конечно, немедленно изменил его указания и рекомендовал оркестру все время играть как можно сильнее. Теперь, когда дирижирование симфонией снова попало в руки моего предшественника, ему показалось неудобным восстановить это несчастное piano. Но нужно было спасти свой скомпрометированный авторитет, и вместо forte он велел играть mezzo forte[13].

Сильно опечалило меня известие о полном пренебрежении, в каком находились мои злосчастные оперы, издание которых было в руках придворного музыкального поставщика Мезера. Последний корчил из себя жертвенного агнца, попавшего впросак. Он жаловался, что вынужден расходовать деньги без малейшей прибыли. Тем не менее он тщательно оберегал от посторонних взоров свои счетные книги, утверждая, что спасает этим мою собственность, на которую иначе немедленно был бы наложен арест, как и на все мое остальное имущество. Более отрадны были сведения о «Лоэнгрине»: мой друг [Улиг] закончил клавираусцуг и уже занят был корректурой его.

265

Письма Улига. «Обращение к друзьям»

Вскоре Улиг глубоко заинтересовал меня сообщением о новом методе лечения водой, которым сам он страстно

[9] Музыкальный термин, означающий «громко» (*ит.*).

[10] Постоянно громко (*ит.*).

[11] Тихо (*ит.*).

[12] Постепенно усиливая звук (*ит.*).

[13] Не очень громко; средняя громкость (*ит.*).

увлекался. Он дал мне книгу о водолечении некоего Рауссе, доставившую мне своеобразное удовольствие радикализмом своих идей, имевших в себе что-то фейербаховское. Смелое отрицание медицинской науки со всеми ее шарлатанскими снадобьями, восхваление простейшего и естественного лечебного средства — правильного применения укрепляющей и освежающей воды, скоро приобрели во мне страстного приверженца. Книга утверждала, что лекарство может иметь влияние на организм лишь постольку, поскольку оно является ядом и, следовательно, не ассимилируется им. Указывались случаи, когда люди, организм которых был отравлен постоянным употреблением лекарств, вылечивались знаменитым Присницем. Он окончательно удалял содержавшийся в их организме яд, выгоняя его через поры наружу. Мне тотчас же пришли на память серные ванны, которые я против воли принимал прошлой весной. Этому лечению я приписывал, вероятно не без основания, мою непрекращающуюся сильную раздражительность. Теперь я только о том и думал, как бы освободить свой организм от последнего из принятых мною ядовитых веществ и от всех введенных в него раньше, надеясь при помощи лечения исключительно водой преобразовать себя в абсолютно здорового первобытного человека. Я с жаром отдался этой новой идее. Сам Улиг уверял, что, строго придерживаясь метода водолечения, он надеется вполне укрепить свое здоровье. И вера моя в этот метод возрастала с каждым днем.

В конце июня мы решили побродить по средней части Швейцарии. От Бруннена на Фирвальдштетском озере мы пошли через Бекенрид в Энгельберг и перевалили там через дикий Суренен-Эк, причем нам приходилось передвигаться с трудом, скользя по снегу. При переходе через одну горную речку Улиг нечаянно упал в воду. Я боялся, как бы он не поплатился простудой. Но он уверил меня,

что это была только холодная ванна, одна из тех, которые рекомендуются при водолечении. Необходимость высушить платье и белье нимало его не смутила: он преспокойно развесил их на солнце, а сам, раздетый, стал совершать весьма полезную, по его словам, прогулку на свежем воздухе. Тем временем мы беседовали с ним о важной проблеме построения тем у Бетховена. Чтобы хоть на мгновенье смутить его, я в шутку заявил, что вижу приближающегося к нам советника Каруса с компанией из Дрездена. Так, в самом веселом настроении, достигли мы долины Ройсс близ Аттингхаузена и до вечера успели еще прийти в Амштег, откуда на другое утро, несмотря на сильное утомление, отправились в Мадеранскую долину. Потом мы добрались до Хюфи-глетчера, откуда могли окинуть взором все окрестные горы вплоть до Тёди. Возвратившись в тот же день в Амштег, мы почувствовали себя совсем обессиленными. Мне удалось отговорить моего друга от его намерения на следующий день совершить прогулку в ущелье Клаузен в долине Шэхен, и мы спокойно отправились домой через Флюелен.

Молодой спутник мой, всегда спокойный и в высшей степени сдержанный, казалось, нисколько не был утомлен путешествием. В начале августа он решил вернуться в Дрезден, где рассчитывал получить от дирекции приглашение дирижировать в антрактах оркестром драматического театра. Дело это он намеревался организовать со свойственным ему художественно-артистическим вкусом и избавиться, таким образом, от утомительной и развращающей службы оперного скрипача. Однако, когда я провожал его к дилижансу, меня охватила страшная тоска. По-видимому, у него тоже внезапно сжалось сердце, когда мы посмотрели друг другу в глаза в последний раз.

Мы вели с ним оживленную переписку. Так как его письма были мне всегда приятны и интересны и долгое

время являлись почти единственной связью между мной и внешним миром, то я постоянно просил его писать мне как можно больше. Письма тогда еще оплачивались дорого, и наши объемистые послания были чувствительны для нашего кармана. Улигу пришла гениальная мысль воспользоваться для корреспонденции почтой, перевозившей посылки. Но так как с ней можно было отправлять только посылки значительные по весу, то Улиг своеобразно утилизировал имевшийся у него старый заслуженный экземпляр немецкого перевода «Фигаро» Бомарше. Он должен был служить балластом для наших писем и путешествовал с ними взад и вперед. Всякий раз, когда наши послания вырастали до необходимого размера, мы оповещали друг друга, что «Фигаро снова принесет сегодня вести».

Улигу очень понравилось «Обращение к моим друзьям», которое я написал сейчас же после нашей разлуки в виде предисловия к изданию моих трех оперных текстов «Летучий Голландец», «Тангейзер» и «Лоэнгрин». Гертель, взявшийся напечатать эту книгу за гонорар в размере 10 луидоров, неожиданно восстал против некоторых мест предисловия, которые оскорбляли его правоверный образ мыслей и уважение к государству. Я готов уже был передать книгу другому издателю. Но вскоре мы с Гертелем помирились, так как я согласился сделать некоторые незначительные изменения. Улиг много смеялся, когда я сообщил ему этот забавный эпизод.

266

Альбисбрунн

Этим обширным предисловием, занявшим у меня весь август, должны были, как я надеялся, раз навсегда закончиться мои выступления на литературном поприще.

Но когда я стал серьезно подумывать об обещанном для Веймара «Юном Зигфриде», меня сразу охватили тягостные сомнения, перешедшие в настоящее отвращение к этой работе. Я не мог отдать себе отчета в причинах своего душевного состояния и склонен был объяснить его исключительно болезнью. Вот почему я решил в один прекрасный день приступить к практическому осуществлению некогда с энтузиазмом воспринятой идеи водолечения и стал наводить справки о ближайших гидропатических заведениях. Была середина сентября, когда я заявил своей жене, что сегодня же отправляюсь в Альбисбрунн, находящийся в трех часах езды, где намерен пробыть до тех пор, пока не почувствую себя совершенно здоровым. Минну это сообщение чрезвычайно испугало. Она готова была усмотреть в этом новый с моей стороны предлог бежать из дому. Чтобы рассеять опасения жены, я попросил ее как можно уютнее обставить к моему возвращению нашу новую, очень маленькую, но хорошо расположенную квартиру. Последняя была нами снята в нижнем этаже так называемых «Передних домов Эшера» на Цельтвеге, после того как мы решили оставить прежнее помещение, неудобное для зимнего жилья, и переехать обратно в город. Нужно прибавить, что мой проект смутил не одну только жену: мысль о водолечении в такое позднее время года вызвала большое недоумение у всех окружающих вообще.

Тем не менее вскоре мне удалось найти товарища по несчастью в лице очень близкого когда-то к Шрёдер-Девриент Германа Мюллера, славного малого и общительного собеседника. В нем я обрел то, чего не мог найти в Гервеге. Мюллер служил раньше лейтенантом в саксонской гвардии, но затем вынужден был подать в отставку и, не имея никаких шансов устроиться в Германии, уехал в Швейцарию, чтобы там, на свободе и досуге, обдумать план своей будущей жизни и занятий. Не будучи,

собственно говоря, политическим эмигрантом, он все же в качестве опального патриота пользовался в Цюрихе известным уважением. Во время моего пребывания в Дрездене Мюллер поддерживал со мной оживленные отношения, а затем, очутившись в Швейцарии, стал часто бывать у нас в доме, пользуясь особенным расположением со стороны моей жены, как друг всей нашей семьи. Я без особого труда убедил его последовать за мной через несколько дней в Альбисбрунн, чтобы там основательно полечиться от донимавшей его болезни.

Решив непременно добиться положительных результатов от пребывания в Альбисбрунне, я постарался как можно уютнее устроиться в своей лечебнице, находившейся в заведовании некоего доктора Бруннера. Бруннер, или «водяной еврей», как его прозвала Минна, успевшая во время своих посещений искренне его возненавидеть, придерживался весьма шаблонных и поверхностных методов лечения. Рано утром, часов в 5, производились обертывания, имевшие целью вызвать испарину. Несколько часов спустя меня сажали в прохладную ванну. Под конец температура была доведена до четырех градусов тепла, после чего для согревания полагалась быстрая прогулка на свежем осеннем воздухе. В лечебнице соблюдалась «водяная диета», причем вино, кофе и чай были абсолютно запрещены. За столом приходилось сидеть в ужасном обществе неизлечимо больных субъектов, а по вечерам, чтобы как-нибудь убить томительные часы, оставалось лишь спасаться игрой в вист. Эта обстановка, которая ухудшалась полным устранением всякого умственного труда, постепенно увеличила напряжение и чрезмерное раздражение нервов. Вот какова была жизнь, которую я выдержал в течение девяти недель и которую я готов был продолжать до тех пор, пока не добьюсь ожидаемого радикального излечения. Кроме того, находя теперь вино

чрезвычайно вредным, я хотел ослабить действие зульцеровских попоек: я надеялся, что вызываемая обертываниями испарина сможет выделить из моего организма оставшиеся там неудобоваримые вещества. Фантазия моя в это время работала главным образом над одним вопросом: как должна быть устроена квартира, чтобы я мог свободно и охотно отдаваться художественному творчеству. Дело в том, что жизнь в убогих комнатах швейцарских пансионов с их твердой деревянной мебелью и общим мещанским убранством вызывала во мне по контрасту тоску по исключительно комфортабельной, уютной обстановке, тоску, которая отныне приобрела у меня характер настоящей страсти, с годами только все более и более усиливавшейся.

267

Альбисбрунн. Концепция «Нибелунгов»

В это время обозначилась возможность улучшения в ближайшем будущем моего материального благосостояния. На свое горе, Карл Риттер написал мне из Штутгарта о предпринятой им на собственный страх попытке водолечения, состоявшей в том, что он не прибегал к ваннам, а лишь принимал внутрь как можно больше воды. Но мне теперь стало известно, что чрезмерное употребление воды само по себе, без остального лечения, может оказаться весьма гибельным, и потому я потребовал от Карла, чтобы он подчинился правильному медицинскому режиму и немедленно приехал ко мне в Альбисбрунн, не малодушничая при мысли о неудобствах. Карл тотчас же послушался меня и, к моему радостному изумлению, прикатил через несколько дней в Альбисбрунн. К гидропатии он относился с прежним энтузиазмом, но в своем практическом применении она ему очень быстро опротивела. Карл резко восставал против холодного молока, находя его

неудобоваримым и утверждая, что с естественной точки зрения всякое молоко, подобно материнскому, следует пить непременно теплым. Обертывания и холодные ванны он находил чересчур возбуждающими. Вообще он решил создать себе — за спиной доктора — более приятный режим. В ближайшей деревне Карл нашел довольно скверную кондитерскую, в которой и начал покупать разные не допускавшиеся в лечебнице сладости. Если его случайно заставали за этим занятием, он искренне злился. Скоро он стал себя чувствовать очень стесненным, но из самолюбия не хотел положить конец тягостному для него положению. Здесь, в Альбисбрунне, до Карла дошла вдруг весть о смерти его богатого дяди, который отказал по крупной сумме каждому члену семьи Риттер. Извещая меня и сына об улучшении своих денежных дел, мать Карла прибавляла в письме, что со своей стороны она в состоянии регулярно высылать мне то пособие, которое мне ранее было обещано семьями Лоссо и Риттер. Таким образом я мог располагать, пока захочу, годовой рентой в 800 талеров.

Этот поворот судьбы внушил мне бодрость, радостное чувство. В душе моей созрело решение заняться обработкой первоначального проекта «Нибелунгов», совершенно не считаясь с вопросом, сумеют ли наши театры справиться с некоторыми отдельными частями моего произведения. Но прежде чем приступить к работе, мне необходимо было освободиться от обязательств перед дирекцией веймарского театра, от которой я уже получил в счет гонорара 200 талеров. Карл ликовал, что мог немедленно вручить мне эту сумму для расплаты с Веймаром. Отсылая деньги, я сердечно благодарил дирекцию за доброе ко мне отношение. Кроме того, я написал еще отдельно Листу, подробно изложив ему свой замысел и те внутренние побуждения, которыми я руководствовался.

Лист ответил мне выражением живейшей радости по поводу того, что мое теперешнее положение позволяет мне взяться за такую грандиозную работу, и находил, что сообщенный ему план хотя бы уже по своей необычайности вполне меня достоин. Теперь я действительно мог вздохнуть свободно: исчезла, наконец, мучившая меня мысль, что я обязан тотчас же написать «Юного Зигфрида» и отдать его для немедленной постановки на сцене театра — пусть даже лучшего немецкого театра, но не располагавшего для этого достаточно подготовленными силами. Эта мысль не давала мне раньше покоя, ибо все предприятие с «Юным Зигфридом» казалось мне теперь ложью по отношению к самому себе.

268

Ноябрь 1851 года

Дальнейшее пребывание в водолечебнице становилось все более и более мучительным. Я рвался к работе, но отдаться ей в Альбисбрунне было невозможно, и это обстоятельство приводило меня в сильнейшее нервное возбуждение. Одно лишь упрямство мешало мне сознаться, что лечение не достигло своей цели и, наоборот, оказало на меня резко отрицательное действие: радикальной секретации я так и не дождался, но зато исхудание наступило ужасающее. Я решил, что можно ограничиться этим результатом; и в конце ноября покинул Альбисбрунн. Через несколько дней моему примеру последовал Мюллер, а Карл, желая довести дело до конца, хотел пожить здесь до тех пор, пока лечение не окажет на него такого же прекрасного действия, какое, по моим уверениям, я испытал на себе. В Цюрихе меня обрадовала обстановка нашей новой, правда очень тесной, городской квартиры: большой, широкий диван, кое-где ковры на полу и несколько других

вещей, придававших комнатам уютный вид. Свой простой рабочий стол мягкого дерева я покрыл зеленым сукном, а на окнах развесил гардины из легкого шелка, что очень понравилось не только мне самому, но и всем окружающим. Этот стол, за которым я с тех пор постоянно работал, впоследствии перекочевал со мной в Париж, а оттуда перешел к старшей дочери Листа, Бландине Оливье, которая перевезла его в имение своего мужа Сан-Тропе, где, как я слышал, он продолжает находиться по сей день.

Я рад был видеть у себя цюрихских друзей, которым теперь, на новой квартире, гораздо удобнее было посещать меня. Долгое время, однако, я сильно изводил их своей страстной пропагандой «водяной диеты» и нападками на вино и другие возбуждающие напитки. Я создал себе из этого новую религию. Правда, Зульцер и Гервег, гордившийся своими сведениями по химии и физиологии, часто ставили меня в тупик указаниями на несостоятельность учения Раусса о ядовитых свойствах вина, но тогда я переходил на морально-эстетическую почву и доказывал, что опьянение вином представляет скверный и варварский суррогат того экстатического настроения, которое может быть достигнуто лишь при помощи любви. Я подчеркивал, что в вине, даже при отсутствии излишеств, мы ищем именно опьянения или, иными словами, экстатического подъема духовных сил. Но — продолжал я свою аргументацию — подобный подъем в его истинно облагораживающей форме способен испытать лишь тот, чьи душевные силы возбуждены настроением любви. Такая постановка вопроса приводила меня к критике современных сексуальных отношений между людьми, причем поводом для этой критики послужили мои наблюдения над разобщенностью между мужчинами и женщинами, которая с особой, грубой резкостью наблюдалась в Швейцарии.

В ответ на это Зульцер заявил, что он ничего не имеет против опьянения женщинами, но «где их взять, если не прибегать к воровству?». Гервег, наоборот, готов был во многом согласиться с моими парадоксами, но считал нужным отметить, что ко всему этому вино не имеет никакого отношения и само по себе является укрепляющим питательным средством, которое, как это доказывает Анакреон, отлично уживается с любовными экстазами.

Вскоре, однако, мои исключительные и упрямые экстравагантности начали внушать друзьям серьезные опасения: присмотревшись ко мне, они все больше убеждались в моем болезненном состоянии. И действительно, я был поразительно бледен, сильно исхудал, невероятно мало спал и обнаруживал во всем крайнюю возбужденность. Вскоре я и совсем лишился сна, но тем не менее уверял, что никогда еще не чувствовал себя так бодро и хорошо, как именно теперь. Несмотря на зимнюю стужу, я продолжал рано утром принимать холодные ванны и затем, чтобы согреться, отправлялся на прогулку, доставлявшую мучения моей жене, которая должна была с фонарем в руках освещать мне путь.

269

Второе декабря

Находясь в таком состоянии, я получил однажды печатный экземпляр «Оперы и драмы». Книга вызвала во мне какую-то почти болезненную радость, и я проглотил ее единым духом. Мое повышенное настроение было в значительной мере обусловлено сознанием, что я окончательно разделался с мучительной для меня карьерой капельмейстера и оперного композитора. Теперь даже Минна вынуждена была стать на мою точку зрения. Отныне никто не мог требовать от меня того, что еще два года

назад делало меня совершенно несчастным. Гарантированная мне семьей Риттеров поддержка, которая должна была обеспечить мое существование и дать мне возможность вполне располагать собой именно для свободного творчества, еще более усиливала во мне презрение ко всему, что мыслимо было достигнуть при настоящем положении вещей. Для меня было ясно, что работы, с планом которых я теперь носился, исключают всякую возможность войти в соприкосновение с современным художественно-артистическим миром. Но вместе с тем я отнюдь не думал, что мои писания не могут иметь практического значения. Я был убежден, что как в сфере искусства, так и во всей нашей социальной жизни вообще наступит скоро переворот огромной важности, который неминуемо создаст новые условия существования, вызовет новые потребности. Для удовлетворения этих потребностей мои работы, задуманные с таким безоглядным размахом, должны были, как я полагал, доставить надлежащий материал, и в самом скором времени установится новое отношение искусства к задачам общественной жизни.

Эти смелые ожидания, о которых я не мог, конечно, подробно распространяться перед своими друзьями, возникли у меня под влиянием анализа тогдашних европейских событий. Общая неудача, постигшая предыдущие политические движения, нисколько не сбила меня с толку. Наоборот, их бессилие объясняется только тем, что их идейная сущность не была понята с полной ясностью, не была выражена в определенном слове. Эту сущность я усматривал в социальном движении, которое, несмотря на политический разгром, нисколько не утратило своей энергии, а напротив, становилось все интенсивнее. Так, по крайней мере, я оценивал факты, которые наблюдал во время своего последнего пребывания в Париже. Мне

пришлось присутствовать там на собрании избирателей так называемой социал-демократической партии, которое произвело на меня сильное впечатление. Собрание происходило в большом, временно приспособленном для этой цели «Зале Братства», в предместье Сен-Дени, и присутствовало на нем до шести тысяч человек. Полное достоинства поведение публики, далекой от всяких внешних резкостей и выкриков, вызвало у меня очень лестное представление об этой новой партии: в ней чувствовалась сила, сосредоточенная и уверенная в себе. Речи главных ораторов, принадлежавших к крайнему левому крылу тогдашнего Национального собрания, поразили меня своим необычайным подъемом и сквозившей в каждом слове твердой убежденностью. К этой действительно крайней партии стали понемногу примыкать все, кого господствующая реакция толкала в сторону оппозиции. Элементы, которые прежде считались только либеральными, начали открыто высказываться за программу, выставленную социал-демократами. На основании этих фактов можно было думать, что новая партия получит, по крайней мере в Париже, сильный перевес на общих выборах и сыграет решающую роль при избрании нового президента республики. Как известно, мои предположения совпадали с надеждами всей Франции, и, таким образом, 1852 год должен был принести с собой коренной переворот. Так смотрела на дело и реакционная партия, испытывавшая величайший страх перед грядущими событиями. А бессмысленная жестокость, с какой в других европейских государствах подавлялся малейший общественный порыв, в свою очередь заставляла предполагать, что создавшееся положение не может рассчитывать на особую долговечность.

Всюду чувствовалось напряженное ожидание предстоящей в ближайшем году развязки. Со своим другом

Улигом я, наряду с обсуждением достоинств гидропатии, заводил разговор также и об этом важном моменте, который переживала тогда Европа. Улиг, приезжавший ко мне из Дрездена, от местных оркестровых репетиций, находил весьма мало обоснованными эти смелые надежды на радикальное изменение человеческих судеб. «Вы представить себе не можете, — уверял он меня, — как жалки люди!» Но все же в конце концов я настолько заразил его своей верой, что вместе со мной он стал смотреть на 1852 год как на момент, чреватый великими возможностями. В своей переписке, которую снова усердно сопровождал «Фигаро», мы несколько раз возвращались к этой теме, и, если нам приходилось отмечать с горечью какую-нибудь гнусность, я неизменно напоминал Улигу о сакраментальной дате, с которой у меня связывалось столько упований. При этом я держался того мнения, что мы некоторое время должны спокойно наблюдать ход долгожданного переворота, а затем, когда другие не будут больше знать, что делать, принять самим участие в движении.

Насколько серьезны были мои надежды, не берусь сказать. Во всяком случае мне скоро пришлось убедиться, что во всем этом очень крупную роль играла моя нервозность, которая усиливалась с каждым днем. Известие о государственном перевороте 2 декабря в Париже в первую минуту показалось мне совершенно невероятным. Но когда это известие подтвердилось, когда, по-видимому, надолго упрочилось то, что раньше казалось совершенно невозможным, я, словно от тайны, разгадка которой потеряла в моих глазах всякую ценность, равнодушно отказался от желания понять весь этот загадочный мир. В виде шутливой реминисценции наших прежних надежд я предложил Улигу считать 1852 год не наступившим и отныне датировать наши письма декабрем 1851 года. Декабрь затянулся у нас на очень долгий срок.

270

Везендонки

Вскоре мной овладело состояние крайней подавленности, вызванной, с одной стороны, разочарованием в исходе европейских событий, а с другой — вредным действием чрезмерного увлечения гидропатией. Для меня стало ясно, что в культурной жизни Европы снова воцаряются те отрезвляющие явления, исключающие всякие пылкие мечтания, от которых, казалось, раз навсегда избавили нас потрясения последних лет. Я предсказывал, что дела у нас примут такой жалкий оборот, что скоро готовы будут приветствовать, как возбуждающий элемент, какую-нибудь новую книгу Генриха Гейне. И как же я смеялся, когда через некоторое время «Романсеро» по-старому, как прежние сочинения Гейне, взбудоражило все наши журналы. Я принадлежу к числу немногих образованных немцев, ни разу не раскрывших этой книги, которая, впрочем, должна обладать многими достоинствами. Тем временем здоровье мое начинало внушать большие опасения, благодаря чему я вынужден был уделить ему серьезное внимание и радикально изменить свой прежний образ жизни. Впрочем, эта перемена совершалась постепенно, в известной мере вследствие особых настояний моих друзей.

Круг последних к наступлению зимы несколько расширился. Некоторое время здесь жил Карл Риттер, который удрал из Альбисбрунна через неделю после меня. Затем он переехал в Дрезден, не находя, очевидно, в Цюрихе простора для своих юношеских сил. Кроме того, встречи со мной искали недавно поселившиеся в Цюрихе супруги Везендонк. Она состоялась у Маршалля фон Биберштайна, которого я хорошо знал по дрезденской революции и который жил в той самой квартире в «Последних домах Эшера», которую я занимал в первый свой

приезд в Цюрих. Помню, в этот вечер я обнаружил свою крайнюю тогдашнюю возбужденность в особенно резкой форме. У меня завязался спор с одним из гостей, профессором Озенбрюком, и весь ужин я злил его страстными и упорно отстаиваемыми парадоксами. В конце концов я внушил этому человеку настолько сильное к себе отвращение, что после этого вечера он избегал всякой встречи со мной.

Знакомство с Везендонками открыло передо мной двери дома, выгодно отличавшегося от остальных цюрихских домов. Отто Везендонк, моложе меня на два-три года, нажил довольно крупное состояние благодаря участию в одном большом нью-йоркском предприятии. Во всех своих практических планах он всецело считался с желаниями своей молодой жены, с которой повенчался всего несколько лет назад. Оба супруга были уроженцами Нижне-Рейнской области, которая наложила на них свой милый отпечаток. Вынужденный по своим делам основаться в каком-нибудь европейском городе, Везендонк предпочел Цюрих Лиону главным образом из-за немецкого характера этой местности. В прошлую зиму супруги Везендонк присутствовали на вечере, на котором была исполнена под моим управлением симфония Бетховена. Успех этого концерта, заставивший о себе много говорить, вызвал у молодой четы желание заполучить меня в число своих знакомых.

271

Различные работы и посещение друзей

В эту зиму я тоже дал согласие дирижировать после Нового года тремя концертами, если мне предоставлено будет разучить с усиленным оркестром некоторые интересные вещи. Мне доставляла большую радость возможность

показать в хорошем исполнении бетховенскую музыку к «Эгмонту». Так как Гервегу очень хотелось послушать что-нибудь из моих произведений, то из любви к нему, как это было мной подчеркнуто, я решил сыграть увертюру к «Тангейзеру» и для этого случая составил особую программу, которая должна была облегчить понимание моей музыки. Очень удачно прошла увертюра «Кориолан», которую я тоже снабдил объяснительной программой. Все это было встречено моими знакомыми с большим сочувствием, и, увлеченный этим, я ради друзей уступил просьбам тогдашнего директора театра Лёве, желавшего поставить «Летучего Голландца». Согласившись на эту постановку, я тем самым обрек себя на крайне неприятные, хотя и временные сношения с театральной труппой. Известную роль в моем решении сыграли соображения гуманности: опера должна была пойти в бенефис молодого капельмейстера Шёнека, завоевавшего мою симпатию своим несомненным дирижерским талантом.

Эти театральные репетиции, от которых я уже совершенно отвык, стоили мне большого напряжения и значительно ухудшили состояние моего здоровья, и без того подорванного. Совершенно измучившись, я изменил своему резко отрицательному отношению к врачам: по настойчивой рекомендации Везендонка я доверился доктору Ран-Эшеру, который своим участием и способностью успокоительно действовать на нервы помог мне войти в нормальную колею.

Мне хотелось поправиться хотя бы настолько, чтобы иметь возможность приняться за окончание текста «Нибелунгов». Но я решил выждать весны, прежде чем собраться с духом для такой работы, а пока заняться некоторыми более мелкими вещами. Из них отмечу предназначавшееся для печати письмо к Листу об Обществе Гёте с изложением моих взглядов относительно

необходимости создать немецкий самобытный театр, а также послание к Францу Бренделю, где я останавливался на вопросе о направлении, которого должен бы держаться музыкальный журнал.

Припоминаю еще посещение Анри Вьётана, прибывшего в Цюрих в сопровождении Беллони с целью дать концерт. Как некогда в Париже, он доставил мне и моим друзьям искреннее удовольствие своей прекрасной игрой на скрипке. Ранней весной меня неожиданно посетил Герман Франк, которого я совершенно потерял из виду после бурных европейских событий. По поводу этих последних у нас возник очень интересный разговор, причем Франк с присущей ему спокойной манерой выразил свое удивление по поводу того, что я мог с такой страстностью впутаться в Дрезденское восстание. Видя мое полное недоумение, он объяснил, что допускал с моей стороны возможность увлечения чем угодно, но не безрассудного участия в происшествиях самого нелепого характера. Тут только я узнал, каков господствующий в Германии взгляд на эти события, искаженные молвой, и приложил все усилия, чтобы восстановить правду. Мне особенно удалось опровергнуть клевету на моего бедного друга Рёкеля, которого изображали каким-то трусливым негодяем, так что под конец нашей беседы и сам Франк, к моему искреннему удовлетворению, посмотрел на дело иначе и выразил мне полную признательность за мои сообщения. С самим Рёкелем, осужденным в виде «помилования» на бессрочную каторгу, я время от времени поддерживал переписку, проходившую в силу необходимости через руки тюремной администрации. Рёкель настолько твердо и бодро выносил свое заключение, что я готов был считать его счастливее себя с моей свободой, с моим безнадежным взглядом на все перипетии моей жизни.

272

«Валькирия». На глетчерах

Наконец наступил май. Я решил пожить в деревне, чтобы немного укрепить расшатанные нервы и приступить, наконец, к выполнению моих художественно-артистических планов. В имении Риндеркнехт, расположенном не очень высоко в горах, мы нашли сносное помещение и 22 мая отпраздновали 39-ю годовщину моего рождения деревенским обедом на свежем воздухе, с открытым видом на озеро и далекие Альпы. К сожалению, вскоре установилась на все почти лето дождливая погода, и мне стоило большого труда бороться с ее дурным действием на мое настроение. Тем не менее я принялся за работу.

Так как я начал осуществлять свой план с конца, то, двигаясь к началу, после «Смерти Зигфрида» и «Юного Зигфрида», я взялся за «Валькирию», чтобы затем дать в виде пролога «Золото Рейна». При таком методе работы я к последним числам июня закончил текст «Валькирии». Попутно я написал посвящение моей партитуры Листу, а также рифмованную отповедь невежественному критику «Летучего Голландца», печатавшему свои статьи в одной из швейцарских газет. Кроме того, здесь, в сельском уединении, мне пришлось столкнуться с чрезвычайно неприятным делом, касавшимся Георга Гервега. В один прекрасный день ко мне заявился некий господин Хауг, отрекомендовавшийся «римским генералом» времени Мадзини, и, сообщив о глубоком оскорблении, нанесенном одной семье «несчастным лириком», пытался склонить меня к своего рода заговору против Гервега, но получил решительный отказ. Гораздо приятнее было посещение старшей дочери моей почтенной приятельницы, Юлии Риттер. Она недавно вышла замуж за молодого дрезденского музыканта Куммера, который ввиду

расстроенного здоровья собирался лечиться у знаменитого гидропата, жившего в нескольких часах от Цюриха. Молодые люди обратились по этому поводу ко мне, и я воспользовался случаем, чтобы резко обрушиться на весь метод водолечения. Моих юных друзей, считавших меня ярым поклонником гидропатии, этот отзыв поверг в большое смущение. Музыканта мы предоставили своей судьбе и очень рады были затянувшемуся у нас пребыванию милой и симпатичной молодой приятельницы.

Вследствие не прекращавшихся холодов и дождей мы переехали в конце июня в город, где я решил выжидать настоящей летней погоды, чтобы затем предпринять прогулку пешком в Альпы. Своей работой я был вполне удовлетворен, а прогулка должна была оказать хорошее влияние на мое здоровье. Гервег обещал сопровождать меня, но его задержали какие-то неприятности. Поэтому в середине июля я пустился в дорогу один, условившись встретиться со своим спутником в Валлисе.

Я отправился из Альпнаха, находящегося на Фирвальдштетском озере, причем придерживался плана, отмечавшего особенные, мало посещаемые тропы бернского Оберланда. Свою задачу я выполнял очень основательно, так что в бернском Оберланде, например, я посетил тогда еще мало доступный Фаульхорн. Через долину Хасли я добрался до Гримзельского приюта. Там я у хозяина местной гостиницы, видного мужчины, спросил, как мне попасть на Зидельхорн. Он дал мне в качестве проводника одного из своих работников, грубого, с неприятным лицом человека, который повел меня по снежным полям не обычными зигзагами, а по прямой линии, вызвав этим подозрение, что он умышленно стремится поскорее утомить меня. На вершине Зидельхорна я имел возможность насладиться, с одной стороны, внутренним видом великанов Оберланда, обращенных к нам своими внешними

очертаниями, а с другой — внезапно открывающейся панорамой итальянских Альп с Монбланом и Монте-Розой. В подражание князю Пюклеру [другу Генриха Лаубе], взбиравшемуся на Сноудон, я не преминул захватить с собой небольшую бутылку шампанского. Но я не знал, за чье здоровье выпить его. Затем пришлось снова спускаться по снежным полям, по которым мой проводник, опираясь на альпийскую палку, скользил с ужасающей быстротой. Я же продвигался вперед с большей осторожностью и меньшей скоростью. К вечеру, совершенно утомленный, я достиг Обергештелена, где решил остановиться на два дня для отдыха и, согласно уговору, ждать Гервега.

На самом же деле я получил от него лишь письмо, которое грубо оторвало меня от мира альпийских впечатлений и заставило мысленно перенестись в ту неприятную обстановку, в которой находился теперь несчастный Гервег. Он особенно боялся, как бы меня не убедили доводы его противника и не вызвали у меня нелестного о нем мнения. Я вполне успокоил его на этот счет и советовал ему постараться догнать меня в Итальянской Швейцарии. Таким образом, мне снова пришлось отправиться одному в сопровождении неприятного проводника на Гризский глетчер, чтобы оттуда через ущелье пройти к южному склону Альп. При подъеме я имел случай наблюдать в высшей степени грустную картину: среди коров альпийских гор появилась копытная болезнь, и мимо меня тянулись длинной вереницей огромные стада, направлявшиеся для лечения в долину. Животные походили на скелеты и еле-еле волочили ноги. Порой казалось, что дивная природа, тучные пастбища с каким-то непостижимым злорадством смотрят на это печальное шествие. У подножия круто вздымающегося глетчера я пришел в такое подавленное состояние, почувствовал такую нервную усталость, что захотел вернуться обратно. Это решение вызвало

насмешки проводника, презиравшего меня за изнеженность. Проснувшаяся во мне злоба снова вселила в меня решимость, и я немедленно начал взбираться на отвесную ледяную стену с такой быстротой, что спутник едва поспевал за мной. Двухчасовая прогулка по хребту глетчера была сопряжена с такими трудностями, что даже у гримзельского работника появились некоторые опасения за себя. Незадолго до этого выпал снег, который прикрыл ледяные трещины и поэтому не давал возможности разглядеть опасные места. Проводнику приходилось осторожно идти вперед, чтобы тщательно исследовать дорогу. Наконец мы достигли котловины. Внизу лежала долина Формацца, к которой вел крутой спуск, покрытый снегом и льдом. Проводник снова начал свою рискованную игру и вместо того, чтобы спускаться серпантином, повел меня по прямой линии. Наконец, мы кое-как добрались до крутого обрыва, усеянного галькой. Двигаться дальше было, безусловно, опасно, и, указав на это проводнику, я заставил его вернуться со мной обратно к замеченной мной раньше более удобной тропинке. Проводник угрюмо подчинился, и вскоре мы выбрались из каменной пустыни.

Я очень обрадовался, когда нам стали снова попадаться признаки цивилизации. Первое пригодное для скота пастбище, которое мы встретили, называлось Беттель-Матт, а первый человек, с которым мы столкнулись, оказался охотником за сурками. Вскоре местность и совсем оживилась: низвергающаяся с высоты горная река Точе образует здесь в одном месте величественно красивый водопад, льющийся тремя широкими уступами. Постепенно, по мере нашего спуска, мох и лишайник сменялись луговыми травами, низкорослые деревья уступали место стройным соснам и елям, а вся долина принимала все более приветливый вид. Наконец мы очутились у цели нашего путешествия, а именно в деревне Поммат, которую итальянское

население называло Формацца. Здесь мне довелось съесть первый раз в жизни жаркое из сурка. Недолгий сон не мог, конечно, прогнать моей страшной усталости, но я все же рано утром следующего дня отправился в дальнейший путь, на этот раз уже один, так как проводника своего я, расплатившись, отправил домой. Что я действительно рисковал жизнью, связавшись с этим человеком, об этом я узнал лишь в ноябре того же года, когда вся Швейцария была взволнована известием о пожаре в гримзельской гостинице, подожженной не кем иным, как самим хозяином последней, желавшим добиться от общины возобновления арендного контракта на усадьбу. Когда преступление обнаружилось, виновник его утопился в ближайшем озере. Но работник, которого он подкупил для совершения поджога, был задержан и посажен в тюрьму. Оказалось, что это был тот самый парень, которого предупредительный хозяин дал мне в проводники на глетчер, где, как я теперь узнал, незадолго перед тем погибли два франкфуртских путешественника. Таким образом, я получил основание считать себя чудом спасенным от грозившей мне смертельной опасности.

273

Лаго-Маджоре. Лугано. Цюрихские друзья

Незабвенное впечатление произвело на меня странствование по долине, постепенно спускающейся все ниже и ниже. Особенно поразил меня вид южной растительности, открывшийся перед глазами, когда я спустился из тесного скалистого ущелья, в котором теснилась Точе. В горячий солнечный полдень я достиг Домодоссолы. Здесь я вспомнил милую, написанную с платеновским изяществом комедию неизвестного автора, на которую обратил внимание Эдуард Девриент. Действие этой комедии

разыгрывается среди тех самых впечатлений перехода из Северных Альп во внезапно открывающуюся Италию, которые теперь с необычайной силой захватили и меня самого. Памятен мне остался довольно простой, но славный, хорошо поданный обед в итальянском вкусе. Я слишком устал, чтобы в тот же день двинуться дальше. Но, сгорая от нетерпения добраться поскорей до берегов Лаго-Маджоре, я нанял лошадь, которая еще к вечеру должна была доставить меня в Бавено. Мною овладело истинное счастье. Покатив в своей повозке, я позволил себе довольно грубо отказать одному офицеру, просившему через кучера разрешения усесться рядом со мной. Я проезжал по прелестным местам, с удовольствием созерцая изящные фасады домов и симпатичные лица жителей. Помню, мне врезалась в память молодая мать с ребенком на руках, которая сидела за прялкой, напевая вполголоса. После захода солнца я успел еще взглянуть на грациозно подымающиеся из Лаго-Маджоре Борромейские острова. Мысль о предстоящем радовала меня настолько, что я не мог всю ночь заснуть.

Посещение островов на следующий день, действительно привело меня в невероятное восхищение. Я не мог постигнуть развернувшейся перед глазами красоты, я не знал, что мне с ней делать. Казалось, что я должен бежать отсюда, что мне здесь не место. С этим чувством я оставил острова, чтобы вверх по Лаго-Маджоре вернуться через Локарно и Беллинцону обратно на швейцарскую территорию. Затем я хотел отправиться в Лугано, где, согласно первому маршруту, думал пробыть несколько дольше. Там стояла нестерпимая, мучительная жара, и даже купание в озере не приносило ни малейшего облегчения. Комнату я снял в здании, похожем на палаццо, которое зимой служило местом заседаний правительства кантона

Тессин, а летом превращалось в гостиницу. Устроился я здесь довольно удобно, хотя и пришлось мириться с грязной мебелью, среди которой фигурировал «гамак» из «Облаков» Аристофана.

Но вскоре мной снова овладело прежнее состояние, от которого я так долго страдал. Как это бывало со мной всякий раз, когда я собирался устроить себе приятный отдых, меня начали сильно беспокоить перемежающиеся приступы нервной возбужденности и подавленности. В дорогу я захватил с собой книги, в частности Байрона, которым рассчитывал заполнить часы отдыха. К сожалению, чтобы находить удовольствие в чтении, я должен был делать над собой усилие, и чем дальше я просматривал «Дон Жуана», тем труднее становилась для меня эта задача. Через несколько дней я уже стал недоумевать, зачем, собственно, я приехал в Лугано. Но вдруг я получил уведомление от Гервега, что он собирается сюда с несколькими друзьями. Какой-то удивительный инстинкт побудил меня телеграфировать жене, чтобы немедленно приехала и она. Минна последовала моему приглашению и поздно ночью того же дня прибыла с готтардскими почтовыми. Ее усталость была так велика, что она сразу заснула в «гамаке» Аристофана и даже не слышала грозы, свирепствовавшей с небывалой силой. К утру явились и цюрихские друзья.

274

Доктор Вилле. «Тангейзер». Сношения с Берлином

Наиболее близким приятелем Гервега был доктор Франсуа Вилле, с которым я давно у него познакомился. В студенческие годы, как можно было судить по многочисленным рубцам на его лице, он много дрался на дуэлях. Вообще же его характерной чертой была склонность

к остроумным, метким замечаниям. Сравнительно недавно он поселился в Майлене на Цюрихском озере и очень просил меня и Гервега бывать у него почаще. Приезжая к Вилле, мы попадали в типичную гамбургскую семейную обстановку, созданную заботами его жены, дочери богатого пароходовладельца Слоумена. Еще будучи студентом, он имел случай обратить на себя внимание редактированием в Гамбурге политической газеты, доставившей ему обширные знакомства. У Вилле всегда было много тем для рассказов, и он считался душой общества. Теперь он, по-видимому, поставил себе задачей взяться за Гервега, чтобы вывести его из дурного настроения и нерешительности по отношению к предстоящей экскурсии в Альпийские горы. Сам же он собирался отправиться в обществе профессора Эйхельбергера пешком через Готтард. Эта затея сильно возмущала Гервега, который полагал, что пешком следует ходить лишь по таким местам, по которым нельзя ездить, а отнюдь не по образцовым дорогам.

После прогулки в окрестностях Лугано, доставившей мне возможность самому услышать характерный для итальянских церквей неприятный перезвон колоколов, я убедил общество последовать за мной на Борромейские острова, на которые мне хотелось еще раз посмотреть. Во время поездки на пароходе по Лаго-Маджоре мы встретили худощавого господина с длинными гусарскими усами. В шутку мы прозвали его генералом Гайнау и выражали ему ради забавы свое недоверие. Он оказался крайне добродушным ганноверским дворянином, который для своего удовольствия долгое время путешествовал по Италии и мог сообщить нам полезные сведения об итальянцах. Его рекомендации много помогли нам при посещении Борромейских островов. Здесь мои знакомые расстались со мной и с женой, чтобы ближайшим путем

отправиться обратно, тогда как мы собирались через Симплон и Валлис в Шамони.

Утомление, которым я до сих пор расплачивался за свою экскурсию, говорило за то, что я не скоро снова пущусь в такое же путешествие. Для меня было важно как следует осмотреть все достопримечательности Швейцарии. Вообще настроение мое с давних пор было таково, что я ждал значительных перемен только от новых внешних впечатлений. Поэтому я не хотел упустить Монблана. Для того чтобы узреть его, пришлось преодолеть большие трудности, к числу которых следует отнести и ночное прибытие в Мартиньи, где по случаю переполнения гостиниц нам всюду отказывали в ночлеге. Только воспользовавшись романом почтальона и горничной, мы неожиданно нашли приют на одну ночь в частной квартире, оставленной господами. В долине Шамони мы, как полагается, посетили так называемое «Ледяное море» и Флежер, откуда вид Монблана произвел на меня значительное впечатление. Однако подъем на эту вершину менее занимал мою фантазию, чем путешествие по перевалу Col des géants, так как восхождение на значительную высоту волновало меня не в такой степени, как продолжительное блуждание по гористой и пустынной местности. Я давно лелеял мечту еще раз испытать такое своеобразное ощущение. Спускаясь с Флежера, Минна упала и вывихнула себе ногу. Болезненные последствия этого падения заставили нас удержаться от всяких дальнейших предприятий такого рода, и мы вынуждены были ускорить наше возвращение через Женеву.

Из этого значительного и грандиозного путешествия, предпринятого почти исключительно для поправления здоровья, я вернулся со странным чувством неудовлетворенности. Во мне продолжала жить тоска по чему-то далекому, сыгравшая решающую роль в моей жизни

и придавшая ей новое направление. Дома я мог убедиться в том, что в судьбе моей готовится поворот к лучшему. Это были запросы и заказы различных немецких театров, желавших поставить «Тангейзера». Прежде всего об этом хлопотал придворный театр в Шверине. Младшая сестра Рёкеля, вышедшая замуж за известного мне с ранних лет артиста Морица, вернулась в Германию в качестве молодой певицы, получившей образование в Англии. Она так горячо рассказывала одному дельному человеку, служившему при театре, Штоксу, о впечатлении, какое произвел на нее в Веймаре «Тангейзер», что тот решил внимательно ознакомиться с оперой и побудить дирекцию подумать о ее постановке. За ним в короткий срок последовали театры Бреслае, Праги и Висбадена. В последнем подвизался в качестве капельмейстера друг моей юности Луис Шиндельмайссер. К ним вскоре присоединились и другие театры. Но особенно удивился я, получив через нового интенданта, господина фон Хюльзена, запрос Берлинского королевского театра. Я подумал, что тогдашняя принцесса Прусская, благодаря стараниям моего верного друга, госпожи Фромман, всегда расположенная ко мне, а теперь особенно заинтересованная недавней веймарской постановкой «Тангейзера», очевидно, посодействовала неожиданной предупредительности по моему адресу.

В то время как заказы маленьких театров очень обрадовали меня, заказ крупнейшей немецкой сцены сильно меня встревожил. В первых находились преданные мне и ревностные капельмейстеры, сами поднявшие вопрос о постановке оперы; в Берлине, напротив, дело обстояло иначе. Кроме давно известного, совершенно бесталанного и страшно тщеславного капельмейстера Тауберта, там состоял дирижером Генрих Дорн, с которым у меня с ранних лет и со времени Риги были связаны тяжелые воспоминания. Ни с одним из них я не чувствовал желания и не видел

возможности рассуждать о моем произведении. Зная их способности, а также недоброжелательное ко мне отношение, я имел полное основание сомневаться в успешном исполнении моей оперы под их руководством. Так как я сам, будучи эмигрантом, не мог поехать в Берлин, чтобы следить за постановкой, я тотчас же обратился к Листу за разрешением предложить его своим заместителем, своим alter ego, на что он охотно согласился. Когда я затем поставил условием приглашение Листа, то встретил со стороны берлинского главного интенданта возражение, что приглашение «веймарского» капельмейстера будет казаться грубым оскорблением прусских придворных капельмейстеров, и потому мне следует от этого требования отказаться. Возникли разнообразные попытки примирить обе стороны, окончившиеся тем, что вопрос о постановке «Тангейзера» в Берлине был надолго снят с очереди.

Несмотря на то что «Тангейзер» с возрастающей быстротой захватывал средние немецкие театры, мной овладело сильное беспокойство относительно духа представлений моей оперы, которого я никак не мог уловить с полной отчетливостью. Так как присутствие мое нигде не допускалось, я решил позаботиться о правильном понимании выдвинутой мной задачи, написав подробную статью, которая должна была служить руководством в постановке. За собственный счет я напечатал изящные оттиски этой довольно обширной работы, и каждому театру, заказавшему партитуру, я послал некоторое количество их с просьбой рекомендовать для руководства и сведения капельмейстеру, режиссеру и главным исполнителям. Мне никогда не приходилось слышать, чтобы кто-либо читал статью или следовал ей. Когда в 1864 году у меня благодаря усердной раздаче брошюры вышли все ее экземпляры, я, к большой своей радости, в архиве мюнхенского театра нашел в целости и сохранности некогда посланные мной

туда оттиски, что дало мне приятную возможность ознакомить с утерянной статьей баварского короля [Людвига II], пожелавшего ее иметь, некоторых друзей, да и самому обновить ее в памяти.

По странной превратности судьбы готовящаяся теперь на немецких театрах постановка оперы совпала с назревшим у меня решением приняться за работу, идея которой была внушена мне необходимостью вполне отрешиться от современных условий театральной жизни. Однако этот столь неожиданный переворот никоим образом не мог повлиять на характер моего труда. Сохраняя свой прежний план, я спокойно предоставил вещам идти своим чередом, нисколько не содействуя постановкам. Я отдал все на волю судьбы, и меня удивляло, когда до меня доходили слухи о большом успехе моих произведений. Однако это не заставило меня изменить мое суждение о нашем театре вообще и об опере в частности. Я оставался непоколебим в своем намерении написать «Нибелунгов» так, как если бы современный оперный театр совершенно не существовал, а необходимо должен был возникнуть тот идеальный театр, о котором я мечтал.

Так, еще в октябре и ноябре этого года я написал текст «Золота Рейна», чем закончил весь цикл задуманной мной саги о Нибелунгах. Но в то же время я переработал «Юного Зигфрида» и «Смерть Зигфрида», и они вошли в логичную связь с целым. Последняя вещь так значительно разрослась, что стала явным образом гармонировать с общим планом замысла. Сообразно с этим я дал ей новое название, соответствующее ее истинному отношению ко всей поэме. Я назвал ее «Сумерками богов». А «Юного Зигфрида», который больше не имел своей темой отдельного эпизода из жизни героя, но в рамках целого получил свое настоящее место рядом с другими главными фигурами, я назвал «Зигфридом».

275

Окончание текста «Нибелунгов»

Меня огорчала необходимость на долгое время оставить в неизвестности это обширное поэтическое произведение для тех, кто, несомненно, мог бы обнаружить интерес к нему. Так как театры неожиданным образом стали присылать мне причитающийся гонорар за «Тангейзера», то я ассигновал часть этих получений на то, чтобы известное количество красиво изданных экземпляров поэмы заказать для себя лично. Таких экземпляров я велел приготовить только 50. Но прежде, чем я покончил с этим в высшей степени приятным для меня занятием, мне пришлось перенести большое горе.

Конечно, среди окружающих я находил людей, сочувствующих окончанию крупной поэтической работы, хотя большинство знакомых считали все это химерой или даже заносчивым капризом. Действительно понимал ее и тепло относился к ней только Гервег, с которым я ее часто обсуждал и которому обыкновенно прочитывал готовые части. Зульцер был очень недоволен переделкой «Смерти Зигфрида», так как считал эту вещь удачной и оригинальной. Он полагал, что она лишилась этих качеств, если я счел правильным и целесообразным произвести в ней такие значительные изменения. Поэтому он выпросил себе на память рукопись первой редакции, которая иначе, наверное, потерялась бы.

Чтобы составить себе понятие о впечатлении, производимом поэмой при ознакомлении с ней в наивозможно быстрой последовательности, я решил через несколько дней, в середине декабря, по окончании работы посетить семейство Вилле в их поместье и прочесть там свое произведение перед небольшим обществом. Кроме Гервега, который поехал вместе со мной, присутствовали еще фрау

Вилле и ее сестра фрау фон Биссинг. Уже раньше при моих частных визитах в Мариафельд, лежавший в двух часах ходьбы, я развлекал обеих дам своеобразной игрой на рояле и приобрел в их лице почти фанатически преданную мне публику, к некоторому неудовольствию господина Вилле, который открыто признавался, что музыка вселяет в него ужас. Впрочем, в конце концов и он научился смотреть на эти вещи с комической точки зрения, со стороны их забавности. Так как я приехал под вечер, то мы сейчас же принялись за «Золото Рейна». Затем я нашел, что еще не поздно, и так как слушатели не боялись никакого напряжения, то до полуночи я успел прочесть «Валькирию». На следующее утро после завтрака наступила очередь «Зигфрида», а вечер я закончил «Сумерками богов». Я имел основание быть довольным произведенным мною впечатлением: дамы были так взволнованы, что отказывались от всякого разговора на эту тему. К сожалению, я почувствовал какой-то необъяснимый страх и волнение. Я не спал ночь и на другой день боязливо отклонял всякий разговор и удивил всех своим внезапным уходом. Только Гервег, сопровождавший меня домой, по-видимому, понял мое настроение и не нарушал молчания.

Особенное удовольствие я хотел доставить себе, познакомив с законченным произведением моего верного друга Улига в Дрездене, с которым я вел непрерывную переписку и который фаза за фазой следил за разработкой всего плана. Я не хотел посылать ему «Валькирии» до окончания «Золота Рейна». А затем он должен был получить все не иначе как в виде хорошо изданного экземпляра. С наступлением осени я, однако, имел основание, по письмам Улига, все более и более беспокоиться о его здоровье. Он жаловался на усиление подозрительных приступов кашля и на наступившую в конце концов полную потерю голоса. Сам он считал все это только слабостью, с которой

надеялся справиться, укрепив тело холодной водой и продолжительными прогулками пешком. Театральная служба скрипача была всему виной: после хорошей семичасовой прогулки по окрестностям он чувствует себя гораздо лучше. Правда, приступы кашля и охриплость не проходят, и ему очень трудно разговаривать даже с окружающими. Я не хотел пугать несчастного и постоянно надеялся, что его состояние побудит врача рекомендовать ему разумное лечение. Теперь, непрестанно выслушивая уверения относительно его преданности принципам водолечения, я не мог не воззвать к прекращению этой бессмыслицы и не посоветовать обратиться к разумному врачу, так как дело, очевидно, идет не об укреплении, а о сбережении сил. Тогда бедняга в высшей степени перепугался, так как из моих слов он увидал, что я питаю опасения, не болен ли он чахоткой в последней стадии. «Что будет с моей несчастной женой и детьми, если я действительно так плох?» — писал он мне. К сожалению, было уже поздно. Он писал мне из последних сил. Однажды старый друг мой, хормейстер Фишер, передал мне разные поручения от имени Улига: их с трудом можно было расслышать, приблизивши ухо к самому его рту. За этим со страшной быстротой последовало известие об его смерти. Он умер 3 января нового 1853 года. После Лерса это был второй из искренне преданных мне друзей, которых похищала чахотка. Красивый экземпляр «Кольца Нибелунга», предназначенный для него, оказался свободным. Я завещал его младшему его сыну, моему крестнику, которого он назвал Зигфридом. У его вдовы я выпросил теоретические сочинения, оставшиеся после него, и получил много значительных вещей, среди них ранее упомянутую статью о конструкции тем. Хотя издание этих работ требовало больших трудов, так как необходимы были тщательные поправки и переделки, я все-таки запросил

Гертеля в Лейпциге, предложит ли он вдове хороший гонорар за сборник статей Улига. Издатель ответил, что не возьмется за напечатание их даже даром, так как такие вещи не дают никакой прибыли. Уже тогда я имел случай убедиться, как ненавистен в известных кругах каждый музыкант, пылко ведущий за меня борьбу.

276

Смерть Улига. Февраль 1852 года. Чтение у доктора Вилле. Театр в Цюрихе

Известие о смерти Улига дало в руки друзьям моего дома большой козырь в вопросе о водолечении. Гервег внушил жене мысль подкреплять меня стаканом доброго вина после утомительных репетиций и концертов этой зимы. Постепенно я привык к употреблению слабо возбуждающего кофе и чая, и мои друзья с радостью увидали, что я снова стал человеком. Доктор Ран-Эшер сделался другом нашего дома. Он был нам всем приятен тем, что приносил с собой успокоение. В течение многих лет он отлично справлялся со всеми затруднениями, которые причиняло мое здоровье или, вернее, перенапряжение моих нервов. Он доказал разумность своего метода, когда в середине февраля я задумал в четыре вечера прочесть довольно обширному кружку слушателей мою тетралогию. После первого вечера я сильно простудился. На следующее утро я проснулся с катаральной охриплостью. Врачу я тотчас же заявил, что отмена чтения будет мне крайне неприятна. «Что делать, чтобы поскорей избавиться от хрипоты?» Он потребовал, чтобы я вел себя весь день как можно спокойнее. Вечером я могу отправиться на чтение, тепло закутавшись. Там я должен предварительно выпить две чашки слабого чая. Все остальное уладится само по себе. Но я легко могу заболеть более серьезно, если начну

горевать о неудаче моей затеи. Действительно, чтение этой вещи, исполненной больших страстей, сошло великолепно. На третий и четвертый вечер я продолжал его и чувствовал себя совершенно здоровым. Для этих собраний я нанял большой и элегантный зал в отеле Baur au Lac и с удивлением стал наблюдать, как с каждым вечером он наполнялся все более и более, хотя я пригласил только узкий круг знакомых, предоставив последним право привести тех, у кого они будут иметь основание предположить действительный интерес, а не простое любопытство. Впечатление получилось вполне благоприятное. Я добился признания серьезнейших членов университета и администрации, услышал много одобрительных отзывов об идее поэмы, так же как о связанных с ней художественно-артистических замыслах. Своеобразная сдержанная серьезность, с какою высказывались отдельные сочувственные суждения, возбудила во мне мысль использовать благоприятное настроение в целях тех высших тенденций, которые мной руководили.

При общераспространенном поверхностном воззрении на дело все находили нужным уговаривать меня вступить в отношения с театральным миром. Я задумался над тем, как можно было бы, следуя здравым принципам, наставить на добрый путь скромно оборудованный цюрихский театр, и довел до общего сведения свои соображения на этот счет в статье, озаглавленной «Театр в Цюрихе». Изданная приблизительно в количестве ста экземпляров, статья была распродана целиком. Но я никогда не слыхал, чтобы она произвела какое-либо действие. Только позднее, на одном из торжественных обедов Музыкального общества, когда раздались голоса относительно того, что мои мысли очень хороши, но, к сожалению, неосуществимы, досточтимый Отт-Имхоф заявил, что он отнюдь не может с этим согласиться. По его мнению, для выполнения моих

замыслов недостает лишь одного — моей готовности взять на себя руководство театром, так как он никому больше не может доверить выполнение моих идей. Но я был вынужден заявить, что не хочу иметь ничего общего с этим делом, и вопрос оказался исчерпанным. В глубине души я должен был сознаться, что не вправе претендовать на людей.

277

Музыкальное празднество

Тем временем интерес ко мне возрастал. Категорично отклоняя желание моих друзей увидеть мои главнейшие произведения на сцене, я согласился наконец составить подбор характернейших отрывков, которые можно было бы исполнять в концертах, как только мне будет оказана необходимая для этого поддержка. С этой целью была устроена подписка, давшая успешный результат: некоторые известные и состоятельные любители искусства вызвались покрыть все расходы. Я со своей стороны взялся за ангажемент необходимого мне оркестра. Пригласив отовсюду хороших музыкантов, я после бесконечных стараний мог надеяться, что собрал в достаточной степени удовлетворительный состав. Приглашенные музыканты должны были пробыть в Цюрихе целую неделю, от воскресенья до воскресенья. Половину этого времени они были заняты исключительно репетициями.

В среду вечером должен был состояться концерт, в пятницу и воскресенье повторение его. Эти дни приходились на 18, 20 и 22 мая, причем день 22 мая был днем моего сорокалетия. К моей радости, все предварительные распоряжения были в точности выполнены. Музыканты из Майнца, Висбадена, Франкфурта и Штутгарта, а также из Женевы, Лозанны, Базеля, Берна и других главных городов Швейцарии аккуратно явились в воскресенье днем.

Их тотчас же направляли в театр, где они должны были точно ознакомиться со своими местами по плану размещения оркестровых музыкантов, изобретенному мной еще в Дрездене и здесь великолепно подтвердившему свою пригодность, чтобы на другое утро без задержки и замешательства приступить к репетиции. Так как эти музыканты находились в моем распоряжении с утра до вечера, то в два с половиной дня, без особого напряжения, я разучил с ними целый ряд наиболее значительных отрывков из «Летучего Голландца», «Тангейзера» и «Лоэнгрина». С большим трудом пришлось мне набирать хор, который вышел очень недурным. Сольного пения не требовалось, за исключением баллады Сенты из «Голландца», которую с безупречной тщательностью исполнила жена капельмейстера Гейма, обладавшая хорошим, хотя и необработанным голосом. Собственно говоря, все предприятие носило не столько публичный, сколько патриархальный характер: мне хотелось удовлетворить искреннее желание широкого круга, показав по мере возможности основные особенности моей музыки. А так как и для этого требовалось знакомство с главными чертами моего поэтического творчества, то желавших присутствовать на моих концертах я пригласил на три вечера в зал Музыкального общества. Я хотел прочесть им тексты трех опер, отрывки которых им предстояло прослушать впоследствии. Это приглашение было встречено с большим сочувствием, и я должен признать, что моя публика явилась на исполнение характерных частей оперы более подготовленной, чем какая-либо иная. Концерты этих трех вечеров были для меня знаменательны в том отношении, что на них я сам в первый раз слушал исполнение отрывков «Лоэнгрина» и мог составить себе понятие о впечатлении, какое должна произвести комбинация инструментов в интродукции оперы. Между концертами состоялся парадный обед, первый

и единственный, устроенный в мою честь, если не считать позднейшего в Пеште. Меня в высшей степени тронула речь председателя Музыкального общества, господина Отт-Устери, человека чрезвычайно преклонного возраста. В ней он обратил внимание собранных из различных мест музыкантов на значение их встречи, на цель и результаты ее и высказал уверенность, что каждый из них, несомненно, унесет с собой убеждение, что он вступил в тесное и плодотворное соприкосновение с новым значительным явлением в области искусства.

278

Интерлакен. Приезд Листа в Цюрих

Волнение, вызванное этими концертами, расходясь все более широкими кругами, сообщилось всей Швейцарии. Издалека стали поступать требования и заявления о дальнейших повторениях. Меня уверяли, что я смело могу возобновить эти три концерта на следующей неделе, не опасаясь уменьшения наплыва слушателей. Во время прений по этому вопросу, когда я заявил о своем утомлении, равно как и о желании не отнимать у концертов их необычайного характера, не дать погаснуть всеобщему к ним интересу, я с радостью отметил осмысленную, вескую и энергичную поддержку, оказанную мне Хагенбухом. Праздник кончился, и гости разошлись в заранее установленное время.

Среди гостей я надеялся приветствовать и Листа. Перед этим, в марте, он организовал в Веймаре «Вагнеровскую неделю» из тех трех опер, отрывки которых я исполнял здесь. У него не оказалось свободного времени, чтобы приехать, взамен чего он обещал навестить меня в начале июля. Из моих немецких знакомых своевременно явились только верные дамы Жюли Куммер и Эмилия Риттер.

Так как обе они в начале июля отправились в Интерлакен, а я почувствовал большую необходимость в отдыхе, то в конце месяца мы с женой поехали туда отдохнуть и развлечься. Но постоянные дожди самым неприятным образом испортили наше пребывание там. Напротив, с первого июля, когда мы, полные отчаяния, собрались с нашими приятельницами вернуться в Цюрих, установилась великолепная летняя погода. Мы радостно приветствовали ее как предвестницу появления в Швейцарии Листа, причем последний по нашем возвращении в Цюрих тотчас приехал туда в самом лучшем настроении духа. Наступила одна из тех чудесных недель, когда каждый час является источником богатейших воспоминаний. Я снимал тогда просторную квартиру на втором этаже так называемых «Передних домов Эшера», где до того занимал тесное помещение в «партере». Госпожа Штокар-Эшер, совладелица дома, искренно преданная мне женщина, сама обладавшая некоторым художественным талантом (она была дилетанткой в акварельной живописи), приложила все усилия, чтобы как можно великолепнее отделать новое помещение.

Я дал полную волю своей склонности к приятному домашнему уюту. Оно пробудилось во мне после пребывания в водолечебнице и возросло до размеров страсти. Так как мое положение внезапно улучшилось благодаря заказам на мои оперы, которые росли, я так красиво отделал квартиру коврами и разной мебелью, что даже Лист поразился царящей в ней, как он выразился, «миниатюрной элегантностью». Теперь я впервые испытал удовольствие ближе познакомиться с композиторским талантом моего друга. Рядом со многими прогремевшими его вещами для фортепьяно мы с большим рвением проштудировали и некоторые из его только что оконченных симфонических

творений и прежде всего его симфонию «Фауст». Впечатление, произведенное ней на меня, я впоследствии имел случай подробно описать в одном опубликованном письме к Марии фон Витгенштейн. Я сильно и искренне радовался всему, что узнал о Листе, и радость эта действовала благотворным образом на меня самого. После долгого перерыва я носился с мыслью снова приняться за музыкальное творчество. Что могло быть для меня важнее и знаменательнее этого давно ожидаемого общения с другом, всецело охваченным творческой деятельностью и в то же время посвятившим себя изучению моих собственных работ, пропаганде их в обществе! Эти радостные дни с неизбежным наплывом друзей и знакомых были прерваны прогулкой по Фирвальдштетскому озеру в сопровождении одного лишь Гервега, во время которой Листу пришла в голову красивая мысль выпить со мной и Гервегом на брудершафт из трех источников Грютли. Но вскоре Лист уехал, условившись снова встретиться со мной осенью.

279

Факельное шествие

Если после его отъезда я чувствовал себя покинутым, то цюрихская общественная жизнь вскоре доставила мне до тех пор неиспытанное развлечение. Певческое общество присудило мне почетный диплом, и это чудо каллиграфии было готово и должно было быть вручено мне во время торжественного факельного шествия, к которому были привлечены все расположенные ко мне должностные и частные лица местного общества. И действительно, в один прекрасный летний вечер под шумные звуки музыки длинная лента факелоносцев развернулась по Цельтвегу, явив невиданную мной до сих пор картину. После пения была произнесена в мою честь торжественная

речь президента городского Певческого общества. Все это до такой степени подействовало на меня, что свойственный мне несокрушимый сангвинизм немедленно овладел моей фантазией: в ответной речи я открыто заявил, что не вижу препятствий, в силу которых именно Цюрих на частных бюргерских началах не мог бы оказать содействия, необходимого для осуществления моих задушевнейших планов, моих идеальных художественно-артистических стремлений. Кажется, это было понято как пожелание особого расцвета мужских певческих обществ, и все остались довольны моими смелыми обещаниями. Но и при этом qui pro quo настроение вечера и впечатление, произведенное им на меня, остались вполне благодушными и радостными.

Но во мне все еще прочно жила своеобразная боязнь и тревога, неоднократно овладевавшая мной перед возобновлением композиторской деятельности после долгого перерыва в музыкальном творчестве. Я чувствовал себя сильно потрясенным всем пережитым и содеянным. Постоянно возвращавшееся стремление к полному разрыву со всем, что лежало позади меня, стремление начать жизнь с чистого листа и найти идеальные условия для жизни, вновь беспокойно ожило во мне. Я воображал, что прежде чем приняться за такую колоссальную работу, как музыка «Нибелунгов», мне необходимо в последний раз попытаться устроить себе в совершенно новой обстановке существование более гармоничное, свободное от бесчисленных компромиссов текущего момента. Я стал мечтать о путешествии в Италию, насколько оно могло быть доступно для политического эмигранта. Необходимые для этого средства легко оказались в моем распоряжении благодаря участию постоянно и ревностно преданного мне друга Везендонка. Но так как я считал неподходящим предпринять это путешествие до наступления осенней

погоды и так как, кроме того, я должен был для укрепления нервов, которые помешали бы мне наслаждаться Италией, выдержать особое, предписанное врачом лечение, я и решил сначала посетить курорт Сен-Мориц в Энгадине. Туда я отправился во второй половине июля в сопровождении Гервега.

280

Гёте

Со мной часто случались странные вещи. Событие, которое в дневниках других лиц отмечается просто как посещение, как маленькое путешествие, получало у меня характер приключения. Так произошло и с этой поездкой, когда благодаря переполнению почтовой кареты продолжительный проливной дождь задержал нас в Куре. Мы были вынуждены проводить время в чрезвычайно неудобной гостинице за чтением: я принялся за «Западно-восточный диван» Гёте, к которому был подготовлен поэзией Даумера, главным образом его обработкой Гафиза. До сих пор не могу вспомнить многих изречений Гёте в комментариях к этой поэме без того, чтобы не связать их с неприятно затянувшимся перерывом нашего путешествия в Энгадин. В самом Сен-Морице нам повезло не лучше. Теперешнее комфортабельное лечебное здание курорта еще не существовало, и нам приходилось довольствоваться самым неблагоустроенным помещением.

Это было особенно неприятно по отношению к Гервегу, который попал сюда не ради лечебных целей, а исключительно ради желания развлечься. Но нас вскоре утешили живописные маршруты наших прогулок, которые от голых, покрытых одними пастбищами вершин крутыми склонами вели нас в итальянские долины. В более серьезное путешествие пустились мы тогда, когда завербовали в качестве проводника на Розегг-глетчер

школьного учителя из Самадена. При восхождении на единственную в своем роде грандиозную Бернину, по красоте своей превосходящую Монблан, мы с уверенностью могли рассчитывать на своеобразное удовольствие. Однако последнее было отравлено для моего друга чрезвычайным утомлением, сопряженным с подъемом и дальнейшим передвижением по удивительному глетчеру. Снова, на этот раз в усиленной степени, ощутил я то возвышенное чувство святости пустыни, тот невольно умиротворяющий покой, который вызывает во всяком пульсирующем человеческом организме замирание растительной жизни. После двухчасового углубления в ущелье глетчера мы перед трудным обратным путем подкрепились захваченной едой и шампанским, замороженным в ледяных скважинах. Обратный путь мне пришлось совершить два раза, потому что Герверга внезапно охватил страх, и я проделывал перед ним пробные спуски и подъемы, прежде чем он сам на них решался. На себе я убедился в крайне изнуряющем свойстве воздуха горных областей, когда мы в первой пастушьей хижине освежились найденным там великолепным молоком. Я выпил его столько без тяжелых для меня последствий, что мы не могли не удивиться этому. При употреблении укрепляющей железистой воды для питья и для ванн я чувствовал себя, как всегда при подобных попытках: мой темперамент, склонный к быстрым возбуждениям, обращал их скорее во вред, чем на пользу. Моим чтением в часы отдыха служило «Избирательное сродство» Гёте, которое я помнил лишь по первым юношеским впечатлениям. Я буквально проглотил всю книгу, от слова до слова. Она служила поводом к горячим прениям между мной и Гервегом, который, будучи знатоком нашей великой литературы, защищал от моих нападок тип Шарлотты. Моя страстность заставила меня призадуматься над тем, как странно складываются мои собственные отношения

к вещам. Несмотря на стукнувшие 40 лет, я должен был в глубине души согласиться, что с объективной точки зрения Гервег судит о произведении Гёте правильнее, чем я с постоянно угнетенным настроением моей души. Если Гервег когда-либо и переживал нечто подобное, то он находил поддержку в своей решительной супруге, в своих отношениях с ней, отвечающей ему величайшей преданностью. Так как время приближалось к концу, и я отлично видел, что нечего особенно надеяться на лечение, то в середине августа мы пустились в обратный путь и вернулись в Цюрих. Здесь я с нетерпением стал готовиться к путешествию по Италии.

281

Италия. Генуя. Специя. Музыкальное введение «Золота Рейна»

Наконец наступил сентябрь, особенно рекомендованный мне для посещения Италии. С экзальтированными представлениями относительно того, что меня ожидало и что должно было удовлетворить мои искания, отправился я в путь через Женеву. С экстренной почтой я через Мон-Сени добрался до Турина, пережив на пути удивительные приключения. Совершенно неудовлетворенный этим городом, я через два дня поспешил в Геную. Здесь предо мной открылся мир долгожданных чудес. Великолепное впечатление, вынесенное отсюда, до сих пор покрывает во мне тоску по остальной Италии. Несколько дней прошли в настоящем чаду. Но полное одиночество заставило меня снова почувствовать всю мою отчужденность от мира, всю невозможность для меня когда-нибудь сродниться с ним. Лишенный подготовки, я не был в состоянии регулярно наслаждаться осмотром художественных сокровищ: я отдавался только, так сказать, музыкальному ощущению новой стихии.

Прежде всего я хотел выискать место, благоприятное для долгого пребывания и спокойного наслаждения окружающим. Мои мысли все еще были направлены на отыскание прибежища, могущего обеспечить гармонию и покой для художественно-артистического творчества. Так как вскоре вследствие неосмотрительного употребления мороженого у меня началась дизентерия, то на смену первых порывов экзальтации пришла полная обессиливающая апатия. Желая спастись от чрезмерного шума гавани, около которой я жил, и отыскать для себя место более спокойное, я задумал совершить поездку в Специю, куда через неделю и отправился на пароходе. И эта поездка, продолжавшаяся всего только одну ночь, тотчас же неприятно осложнилась для меня благодаря сильному противному ветру. Моя дизентерия усилилась из-за морской болезни, и, совершенно истощенный, едва держась на ногах, я остановился в Специи в лучшей гостинице, которая, к ужасу моему, находилась на узкой и шумной улице. После ночи, проведенной без сна, в лихорадке, я на другой день принудил себя совершить пешком путешествие по холмистым окрестностям, поросшим кедровыми деревьями. Все показалось мне пустынным и обнаженным, и я не мог понять, зачем сюда забрел. Вернувшись после полудня, смертельно усталый, я растянулся на жесткой кровати в ожидании желанного сна.

Но он не приходил. Я впал в какое-то сомнамбулическое состояние: внезапно мне показалось, что я погружаюсь в быстро текущую воду. Ее журчанье представилось мне в виде музыкального аккорда Es-dur. Он неудержимо струился дальше и преломлялся в мелодические арпеджио, которые «бежали» со все возрастающей скоростью, но чистое трезвучие Es-dur не изменялось — его длительность, казалось, олицетворяла бесконечность того образа, в который я погружался. Пробудился я из своего полусна

с жутким ощущением, что волны замкнулись высоко надо мной. Мне пригрезилась увертюра «Золота Рейна», с которой я носился, не будучи в силах постигнуть ее вполне. Я сразу понял, какое все это имеет для меня значение: течение жизни может увлечь меня только изнутри, а не извне.

Немедленно решил я вернуться в Цюрих и приняться за композицию большого произведения. Я известил об этом жену телеграммой, прося приготовить рабочую комнату. В тот же вечер я сел в дилижанс, шедший вниз по Ривьере ди Леванте до Генуи. В течение всего следующего дня я имел возможность насладиться целым рядом приятных впечатлений. Особенно восхищали меня краски предметов, мелькавших перед глазами: красные скалы гор, синева неба и моря, светлая зелень пиний, ослепительная белизна проходящего мимо стада волов произвели на меня сильнейшее действие. Со вздохом сказал я себе: как печально, что я не могу пользоваться тем, что могло бы облагородить мои чувства! В Генуе я снова ощутил приятное возбуждение. Я подумал, не поддался ли я раньше глупой слабости, и потому решил выполнить свое первоначальное намерение. Я начал переговоры относительно случайно открывшейся возможности проехать до Ниццы вдоль прославленной Ривьеры ди Поненте. Но как только я снова обратился к первоначальному плану, мне стало ясно, что меня оживил и целительно ободрил не прилив радостного наслаждения Италией, а решение приняться за работу. Но когда я пытался его изменить, тотчас же наступало прежнее состояние со всеми симптомами дизентерии. Наконец я разобрался в самом себе, отказался от поездки в Ниццу и возвратился, не останавливаясь, ближайшим путем на Алессандрию и Навару, мимо равнодушно оставленных мной в стороне Борромейских островов, через Сен-Готард в Цюрих.

282

Лист и Вагнер в Базеле. Каролина Витгенштейн и ее дочь

По приезде я мечтал лишь об одном: взяться немедленно за свою большую работу. Однако в ближайшем будущем мне предстояло свидание с Листом в Базеле, и это на некоторое время должно было отвлечь меня от занятий. Чтобы рассеять плохое настроение и успокоить нервы, я несколько раз посетил жену в Бадене, куда она переехала с лечебной целью, так как было предположено, что мое пребывание в Италии затянется на продолжительное время. Так как я всегда поддавался настойчивым советам испытать тот или другой способ лечения, то я принял на курорте несколько горячих ванн, что очень неблагоприятно отразилось на моей расшатанной нервной системе.

Наконец наступил день, в который мы условились встретиться в Базеле. Лист только что кончил дирижировать оркестром на музыкальном празднестве в Карлсруэ, устроенном по приглашению герцога Баденского, чтобы представить на суд публики наши композиции в соответствующем их достоинству исполнении. Я сам еще не имел возможности вступить на территорию Германского Союза. Поэтому Лист избрал для нашего свидания ближайший к баденской границе город Базель, чтобы нескольким молодым друзьям моим, собравшимся в Карлсруэ, доставить возможность лично приветствовать меня. Я прибыл в условленное место. Вечером я сидел совершенно один в ресторане гостиницы Zu den drei Königen[14], как вдруг услышал донесшийся до меня из вестибюля мотив королевских фанфар из «Лоэнгрина», исполняемый небольшим, но сильным мужским хором. Двери раскрылись, и предо мной во главе с Листом предстала шумная толпа

[14] «У трех королей» (*нем.*).

моих молодых друзей. По окончании моего пребывания в Цюрихе и Сен-Галлене, омраченного разными неприятностями, я снова увиделся с Бюловом, а также с Иоахимом, Петером Корнелиусом, Рихардом Полем и Дионисом Пруккнером. Лист сообщил мне, что на следующий день в Базель приедет его подруга, княгиня Каролина фон Витгенштейн, с молодой дочерью Марией. Само собой разумеется, что радостное настроение нашей встречи, которая, как и все, что исходило от Листа, носила печать особой задушевности и благородства, в этот вечер приняло характер сумасбродного веселья. Среди общей суматохи я, однако, заметил отсутствие Поля, уже давно приобретшего известность своими статьями, подписанными псевдонимом Гоплит, как энергичный борец за наше общее дело. Я незаметно покинул всю компанию и нашел его в какой-то отдаленной комнате гостиницы в постели: он хотел лечь, чувствуя сильную головную боль. Выражение моего искреннего сожаления по этому поводу сразу вылечило его. Он вскочил с постели, уверяя меня, что головная боль совершенно прошла. Я поспешил помочь ему одеться, и мы присоединились к обществу в столовой. Остаток времени до полуночи прошел чрезвычайно весело.

283

Страсбург. Париж. Иоахим

Торжество наше достигло своей высшей точки, когда на другой день приехали дамы, сделавшиеся центром нашего внимания. Княгиня Каролина разделяла наши интересы и при живости темперамента и искреннем увлечении производила на нас, как и на всех, с кем ей приходилось встречаться в эти годы, обаятельное впечатление. С одинаковой чуткостью относясь к глубочайшим духовным проблемам, волновавшим нас, как и к самым

мелким случайностям личной жизни, она умела в каждом из нас вызвать проявления лучших порывов. Обращала на себя внимание мечтательным выражением своего лица и дочь княгини. Это была девушка, которой только что минуло пятнадцать лет, в первом расцвете сил. Она одевалась и держалась совершенно как ребенок, и я называл ее «дитя». Когда наши споры или радостные излияния клокотали шумным потоком, ее мечтательно темные глаза сохраняли прекрасное, глубокое, проникновенное выражение, и мы невольно чувствовали, что чистым умом своим она постигает сущность волнующих нас задач.

Будучи подвержен в то время слабости непосредственно знакомить людей с моими произведениями (что, кстати сказать, очень раздражало Гервега), я легко дал уговорить себя прочесть «Кольцо нибелунга». А так как время отъезда уже приближалось, я выбрал для этой цели из всего цикла «Зигфрида». Однако Лист должен был отправиться в Париж, чтобы повидать своих детей, и вся компания решила проводить его до Страсбурга. Я же последовал за ним в Париж, а княгиня с дочерью должны были вернуться из Страсбурга в Веймар. В оставшиеся немногие часы нашего совместного путешествия дамы просили прочесть им другие части «Кольца». Но этого нельзя было сделать из-за шума, который стоял кругом. В утро, когда был назначен отъезд, Лист пришел в мою комнату, когда я еще лежал в постели, и сообщил мне, что дамы решили поехать вместе с нами в Париж. С улыбкой на лице он сказал мне, что решение княгини вызвано настойчивыми просьбами Марии, которой хочется услышать «Нибелунгов» до конца. Мне очень понравилась благородная эксцентричность этого обстоятельства, столь неожиданно продлившего и изменившего план нашего путешествия.

К сожалению, мы должны были расстаться с младшими членами нашей компании. Особенно тепло и сердечно

я обнял Иоахима, который постоянно держался в стороне, с какой-то особенной скромностью, почти граничащей с покорной застенчивостью. Бюлов объяснил мне, что его грустно-сдержанное настроение по отношению ко мне объясняется тем смущением, которое вызвала в нем моя сенсационная статья о «Еврействе». Показывая ему одну из своих композиций, Иоахим с дружеским беспокойством спросил его, не произведет ли она на меня впечатление еврейской музыки. Эта трогательная черта чрезвычайно расположила меня к нему. С тех пор я его никогда больше не видел. С великим изумлением я услышал впоследствии, что Иоахим перешел в лагерь врагов моих и Листа, где занял прочное положение.

Всех возвращающихся в Германию молодых товарищей ждало по дороге в Баден веселое приключение: столкновение с полицией из-за нарушения общественной тишины и порядка. Они продефилировали по главным улицам этого городка, оглушительно трубя в фанфары из «Лоэнгрина», при всеобщем недоумении мирных обывателей.

284

Чтения

Наше совместное путешествие в Париж, равно как и пребывание там были богаты глубокими впечатлениями восторженной дружбы. Устроив с большим трудом наших дам в Hótel de Princes[15], Лист предложил мне совершить с ним прогулку по совершенно безлюдным в столь поздний час бульварам. Думаю, что ощущения наши были так же различны, как и наши воспоминания. Когда на следующее утро я вошел в комнату моих друзей, Лист с мягкой, ему одному свойственной улыбкой сообщил мне,

[15] «Принц» (*нем.*).

что княжна Мария чрезвычайно беспокоится относительно предстоящего нового чтения. Меня лично Париж интересовал очень мало. Княгиня считала нужным держаться в стороне. Лист был занят устройством личных дел. Поэтому, как это ни странно, прежде, чем показаться на улицах Парижа, мы провели все первое утро за чтением драм, которое начали в Базеле. В следующие дни мы продолжали чтение, пока не закончили все «Кольцо нибелунга».

Затем вступил в свои права Париж, и пока дамы были заняты музеями, я принужден был, терзаемый беспрерывными приступами головной боли, совершенно одинокий сидеть в своей комнате. Но Листу все-таки удалось уговорить меня принять участие в разных совместных развлечениях. Уже в первые дни нашего пребывания в Париже он купил ложу на «Роберта-Дьявола», желая показать нашим дамам знаменитую Парижскую оперу во всем ее блеске. Мне кажется, что отвратительное настроение, какое овладело мной, когда мы слушали музыку Мейербера, не могло не отразиться на расположении духа моих друзей. Но Лист имел в виду что-то особенное. Он просил меня приехать во фраке. Ему доставило удовольствие, что я исполнил его просьбу, а в антракте он пригласил меня прогуляться с ним по фойе. Было ясно, что юношеские воспоминания о приятных часах, здесь проведенных, невольно создавали в нем какую-то иллюзию: ему почему-то хотелось видеть публику фойе, гуляющую в антрактах печального спектакля. Утомленные вернулись мы к нашему обществу, не понимая, кому нужна была эта скучная прогулка.

Очень сильное впечатление, почти равное тому, какое я некогда испытал от передачи Девятой симфонии оркестром консерватории, произвел на меня квартет Морен-Шевийяр, члены которого пригласили меня и моего друга прослушать квартеты Es-dur и cis-moll Бетховена.

К моему радостному изумлению, я имел новый случай убедиться, как много можно сделать в искусстве осмысленной, прилежной работой. Благодаря ей французы извлекли на свет Божий бесконечные музыкальные богатства, мимо которых с таким тупым равнодушием проходили немецкие артисты. Должен признаться, что лишь в этот вечер я проник в сущность cis-moll'ного квартета: его мелодическая структура раскрылась предо мной теперь впервые. Если бы от тогдашнего моего пребывания в Париже я сохранил в памяти только одно воспоминание об этом вечере, то и в таком случае оно никогда не изгладилось бы из моей души.

285

Семейство Листа. Берлиоз. Жанен. M-me Калержи. Молодой Тышкевич. Медальон. Врач Линдеман

Однако отмечу еще и другие впечатления, которые представили для меня глубокий интерес. Однажды Лист пригласил меня на семейный вечер к своим детям, уединенно жившим в Париже под надзором воспитательницы. Впервые я видел своего друга, окруженного детьми, подростками-девушками и мальчиком-сыном, переходившим в возраст юноши. Казалось, он сам с недоумением относился к своим отцовским обязанностям, которые в течение долгих лет доставляли ему одни лишь заботы, не вознаграждая никакими радостными ощущениями. И здесь мне опять пришлось читать свои драмы, на этот раз последний акт — «Сумерки богов». Таким образом я довел до конца весь цикл.

Приехавший в гости Берлиоз очень мило и любезно подчинился тяжелой необходимости слушать чтение. У него мы провели следующее утро. Вместо музыки он угостил нас на прощание завтраком. Все партитуры его уже были упакованы, так как он собирался в концертное

турне по Германии. Однако Лист сел за рояль и сыграл отрывки из «Бенвенуто Челлини» нашего хозяина, а сам Берлиоз пел вокальную партию со свойственной ему сухой манерой. У него же я познакомился, не зная, впрочем, кто это, со знаменитым парижским фельетонистом Жюлем Жаненом, который обратил на себя мое внимание своим небрежным парижским жаргоном, совершенно не похожим на тот французский язык, на каком говорил я. Из его разговора я не мог понять ни единого слова. В нашу честь был дан обед и вечер у знаменитого фортепьянного фабриканта Эрара. На другом обеде, устроенном самим Листом в Пале-Рояле, я снова видел его детей, из которых младший сын Даниэль своей живостью и сходством с отцом внушил мне глубокую симпатию. Дочери его произвели на меня впечатление чрезвычайно застенчивых девушек. Упомяну еще и о вечере у madame Калержи, выдающейся женщины, с которой я не виделся со времени первой постановки «Тангейзера» в Дрездене. Когда за столом мне был задан генералом Кавеньяком вопрос о Луи-Наполеоне, я совершенно забыл об окружающей меня обстановке. В резких выражениях, с оттенком свойственной мне горечи, я сказал, что нельзя ждать великих подвигов от человека, которого не могла искренно полюбить ни одна женщина, чем вызвал замешательство в общем разговоре.

Когда Лист после обеда сыграл несколько вещей, молодая Мария Витгенштейн обратила внимание на овладевшую мной грустную сдержанность. У меня сильно болела голова, и, кроме того, я чувствовал себя внутренне чуждым обществу, среди которого мне приходилось вращаться. Меня тронуло ее внимание, ее симпатичная готовность развеселить меня. По истечении восьми дней, очень меня утомивших, мои друзья покинули Париж. Так как я окончательно был выбит из колеи, то решил

не уезжать, пока не обрету душевного спокойствия, необходимого для большой работы. Я пригласил жену в Париж, чтобы потом вместе с ней возвратиться в Цюрих. Мне хотелось показать ей город, в котором нам когда-то пришлось пережить столько тяжелых страданий. По ее прибытии Китц и Андерс стали аккуратно появляться у нас к обеду. Нас разыскал один молодой поляк, сын моего старого друга, графа Винцента Тышкевича, к которому я в дни моей юности питал восторженную привязанность и уважение. Этот молодой человек родился после моего знакомства с его отцом. Как многие современные молодые люди, он с увлечением изучал музыку. Одной своей оригинальной выходкой он возбудил всеобщее внимание парижан. Он затеял процесс с дирекцией Парижской оперы, требуя возвращения денег за билет на представление «Фрейшютца», на котором эта опера подверглась сокращениям и искажениям. Он услышал не то, чего ждал, зная партитуру вещи, и потому образ действий администрации считал простым грабежом. Он задумал основать журнал, чтобы обличать деятельность официальных музыкальных учреждений Парижа, являющуюся оскорблением вкуса публики.

Из круга знакомых Листа меня продолжал посещать молодой князь фон Сайн-Витгенштейн, искусный дилетант-скульптор, часто заставлявший меня позировать для медальона, который он с помощью Китца вылепил довольно удачно. Очень важна была для меня консультация с молодым врачом Линдеманом, другом Китца, который старался отговорить меня от гидротерапии в пользу теории ядов. Благодаря покровительству парижской аристократии ему удалось произвести в присутствии приглашенных врачей в одном из госпиталей целый ряд опытов над самим собой: он впрыскивал различные яды и точно

проверял их действие на организм. Он уверял, что меня нетрудно излечить окончательно, если экспериментальным путем удастся в точности установить, какая металлическая субстанция может повлиять на мои нервные токи. При острых страданиях он рекомендовал совершенно спокойно принимать лауданум. Во всех остальных случаях он считал наиболее подходящим лекарством валерьяновый корень.

286

Композиция «Золота Рейна». Инструментовка

Страшно утомленный, с чрезвычайно возбужденными нервами, я в конце октября покинул вместе с Минной Париж. С досадой и недоумением я спрашивал себя, ради чего я истратил столько денег. Однако, рассчитывая на то, что успех моих опер в Германии улучшит мое материальное положение, я возвратился в свою цюрихскую квартиру несколько успокоенный, с полной решимостью не покидать ее раньше, чем не будет закончена музыка хотя бы к некоторым частям моих драм на тему Нибелунгов. Тотчас же, в начале ноября, я взялся за работу, которую столько раз приходилось откладывать. С конца марта 1848 года протекли пять с половиной лет, в течение которых я не написал ни одного такта, и вот, когда мне вновь удалось обрести хорошее настроение для работы, я почувствовал, что блуждания души моей кончились и что наступило возрождение. Что касается техники композиции, то с первой же страницы я убедился, что не смогу оркестровую прелюдию, задуманную в Специи, задуманную в каком-то полузабытьи, записать на двух нотных станах, как я это делал раньше. Поэтому я решил взяться за большие партитурные листы. С тех пор я стал набрасывать карандашом только беглые заметки, а затем я приступал

к завершению партитуры. Такой способ работы сделался для меня впоследствии источником разных затруднений, так как довольно часто случалось, что я забывал содержание беглых набросков, и мне стоило больших трудов восстановить первоначальную музыкальную идею. Однако при написании «Золота Рейна» эта трудность не давала себя еще знать: 16 января 1854 года был готов композиционный эскиз всей вещи. В прологе, таким образом, был намечен главнейший тематический материал для всех четырех частей моего цикла.

Мои надежды на то, что работа принесет мне лучшее настроение и физическую бодрость, оправдались вполне. О внешних событиях в моей жизни за это время у меня сохранились самые смутные воспоминания. В первые месяцы нового года я дирижировал несколькими концертами. По желанию Зульцера я поставил в программу одного из них увертюру к «Ифигении в Авлиде», снабдив ее новым окончанием. Дело в том, что меня не удовлетворял конец увертюры, написанный раньше Моцартом, и в статье, помещенной в музыкальной газете Бренделя, я постарался объяснить мой взгляд на возникающую здесь музыкальную проблему. Все это не мешало мне, однако, работать над партитурой «Золота Рейна», которую я писал очень быстро, карандашом, на отдельных листках. 28 мая была закончена его инструментовка.

287

Музыкальное празднество в Сионе

В домашних делах моих за это время почти ничего не изменилось. То, что было добыто усилиями последних лет, осталось неприкосновенным. Только в денежных делах я стал опять испытывать некоторые затруднения, так как при устройстве квартиры и разных других материальных

расчетах я слишком понадеялся на рост доходов с постановки моих опер в различных городах. Но — увы! — большие театры, самые для меня выгодные, по-прежнему не проявляли никакого интереса к моим произведениям. Особенно меня огорчало то обстоятельство, что мне до сих пор не удавалось завязать прочных связей с Берлином и Веной. Все это действовало на мое настроение угнетающим образом, и весь год был преисполнен для меня тяжелых забот. Я искал забвения в усиленной работе и вместо того, чтобы заняться перепиской партитуры «Золота Рейна», принялся за композицию «Валькирии». К концу июля была закончена первая сиена. Но тут моя работа была прервана поездкой в Южную Швейцарию.

Швейцарское музыкальное общество пригласило меня взять на себя руководство Музыкальным фестивалем, который должен был состояться в этом году в Сионе. Я отклонил приглашение, но обещал, если художественно-артистическая сторона концертов будет стоять на должной высоте, приехать и продирижировать [Седьмой] A-dur-ной симфонией Бетховена. Вместе с тем я имел в виду посетить в Монтрё, у Женевского озера, Карла Риттера, незадолго перед тем поселившегося там со своей молодой женой. Здесь я провел около недели. С болью в сердце пришлось убедиться, что жизнь молодой четы не предвещает для нее прочного счастья в будущем. Оттуда я вместе с Карлом отправился в Валлийский кантон на Музыкальный фестиваль, о котором говорил выше. По дороге туда, в Мартиньи, к нам присоединился странный молодой человек, некто Роберт фон Горнштейн, который уже в прошлом году, во время моих больших симфонических концертов, был представлен мне в качестве юного энтузиаста и музыканта. Узнав о том, что я буду дирижировать Музыкальным фестивалем, он предпринял путешествие из Швабена в Валлийский кантон. Его присутствие было

нам приятно, особенно Риттеру, который имел теперь компаньона для всякого рода авантюр.

Приехав в Сион, я убедился, к великому огорчению и вопреки всем моим ожиданиям, что организация фестиваля плоха и что средства, затраченные на устройство концерта, ничтожны. От звучности небольшого оркестра, игравшего в маленькой церкви, которая служила вместе с тем и концертным залом, у меня сложилось отталкивающее впечатление. Возмущенный легкомыслием комитета, позволившего себе пригласить меня при таких условиях, я написал несколько слов руководителю фестиваля, музикдиректору Метфесселю из Берна. Я распрощался с ним без особых церемоний и, быстро собравшись в путь, взял место в отъезжавшем почтовом дилижансе, не известив даже об этом своих молодых друзей. Их неожиданное для меня поведение, которое дало мне материал для интересных психологических наблюдений, заставило меня поступить таким образом. Когда, расстроенный антихудожественными впечатлениями, какие я вынес из церкви, я пришел к обеду в гостиницу, мое дурное расположение духа вызвало у них мальчишеский хохот, носивший оттенок нахальства. Это веселое настроение явилось продолжением разговора, который они вели до меня. Мои замечания, даже вспышка гнева не могли заставить их перейти на более приличный тон. Пораженный этой выходкой, я покинул зал, быстро упаковал вещи и так секретно приготовился к отъезду, что они узнали о нем только спустя некоторое время.

Я отправился на несколько дней в Женеву и Лозанну, затем — по пути домой — заехал в Монтрё, где осталась молодая госпожа Риттер, чтобы еще раз с ней повидаться. Здесь я застал обоих молодых людей. Сконфуженные моим внезапным отъездом, они покинули злосчастное празднество и явились сюда, чтобы узнать что-либо обо мне. Ни единым словом я не упомянул об их невоспитанности.

А так как Карл сердечно просил меня погостить у него короткое время, и меня действительно интересовало художественное произведение, недавно им законченное, я остался в Монтрё на несколько дней. Риттер написал комедию «Алкивиад». Форма и замысел ее отличались необычайными тонкостью и живостью. Уже в Альбисбрунне Карл говорил мне о плане этой работы и показал изящный кинжал, на котором было выгравировано «Алки». Такой же кинжал, но с подписью «Виад», находился у молодого друга, актера, оставшегося в Штутгарте. Но Карл без символической помощи таких кинжалов нашел в молодом Горнштейне человека, который как бы дополнял его «алкивиадовскую» натуру. Весьма вероятно, что они хотели разыграть тогда в Сионе «алкивиадовскую» сцену «Перед Сократом». К счастью, комедия показала мне, что как драматург Карл выше самого себя, и я очень сожалею, что трудности постановки помешали появиться этой вещи на театральных подмостках. Горнштейн тоже вел себя с подкупающей скромностью. Я пешком проводил его из Веве в Лозанну, куда он направлялся. В своем дорожном костюме с ранцем через плечо он имел довольно смешной и трогательный вид.

288

Зелисберг. Первый акт «Валькирии». «Мир как воля и представление»

Минуя Берн и Люцерн, я проехал ближайшей дорогой в Зелисберг на Фирвальдштетском озере. Там находилась моя жена, лечившаяся альпийским молоком. Ее сердечные приступы, которые уже раньше давали себя знать, как я это в свое время заметил, стали учащаться, и ей было рекомендовано пребывание в Зелисберге для подкрепления сил. Терпеливо я сносил в продолжение нескольких

недель все неудобства жизни в швейцарском пансионе. К сожалению, жена часто раздражалась моим присутствием в пансионе, с порядком которого она вполне свыклась, так что я только вносил элемент беспокойства в ее уютный образ жизни. Но мне были полезны свежий воздух и ежедневные продолжительные прогулки по горным тропинкам. Мысленно я даже облюбовал уединенное местечко в горах, где мне хотелось бы построить для себя небольшой деревянный домик, чтобы иметь возможность спокойно работать.

В конце июля мы вернулись в Цюрих, где я снова занялся композицией «Валькирии». Наброски к первому акту были сделаны мною в августе. Так как в это время меня сильно угнетали материальные заботы, а с другой стороны, я очень нуждался в абсолютном покое, то я охотно согласился с желанием моей жены посетить своих родных в Дрездене и Цвиккау. Она уехала в начале сентября, и вскоре я получил письмо, в котором она сообщала о своем посещении Веймара, где была чрезвычайно любезно принята в Альтенбурге княгиней Витгенштейн. Там же она виделась с женой Рёкеля, которую с удивительным самоотвержением поддерживал его брат. Со свойственной ей энергией — это был прекрасный шаг с ее стороны — Минна решилась поехать оттуда в тюрьму Вальдхайм на свидание с Рёкелем, к которому вообще относилась в высшей степени отрицательно, чтобы лично ему передать известия о жене. Об этом она сообщила мне со странной иронией: Рёкеля она застала довольным и веселым, и, по-видимому, ему уже не так плохо живется.

Тем временем я всецело ушел в мою работу. 26 ноября я окончил переписку «Золота Рейна». В мирной тишине моего дома я познакомился с книгой, изучение которой имело для меня громадное значение. Я говорю о сочинении Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление».

289

В кругу идей Шопенгауэра

На эту книгу мое внимание обратил Гервег. При этом он рассказал мне следующие интересные подробности относительно нее. Сочинение это появилось в печати более тридцати лет назад и только недавно было странным образом вновь открыто. О книге он узнал из статьи Фрауенштэдта, в которой излагалась ее история. Я тотчас же почувствовал к ней глубокий интерес и принялся читать ее. Не раз я ощущал в себе потребность разобраться в важнейших вопросах философии. Уже в прежние годы, во время пребывания в Париже, меня толкнули на изучение философии разговоры с Лерсом, и я стал искать утоления жажды знаний в изучении работ Фейербаха, так как мне казалось, что они дадут мне то, чего я не мог найти в книгах Шеллинга и Гегеля, в лекциях лейпцигских профессоров, которые я слушал в дни моей юности. С первых страниц меня притягивала не столько своеобразная судьба книги, сколько ясность и мужская точность в изложении и анализе сложнейших метафизических проблем. Правда, меня заранее подкупила в пользу этого мыслителя статья одного английского критика, в которой тот чистосердечно признавался, что его смутное и недостаточно осмысленное преклонение перед немецкой философией обусловлено полной ее недоступностью, особенно у Гегеля. При изучении книги Шопенгауэра автор убедился, что причина заключалась не в его неспособности к философскому мышлению, а в преднамеренной запутанности изложения у германских философов вообще.

Как всякий человек, много размышлявший о сущности жизни, я прежде всего искал конечных выводов шопенгауэровской системы. Меня совершенно удовлетворяла его эстетика, в которой я особенно поражался

его глубокомысленным взглядам на музыку, но, как это поймет всякий, кому пришлось пережить то, что я тогда переживал, мне стало жутко, когда я выяснил себе, что нравственная философия Шопенгауэра сводится к умерщвлению воли жизни, в отрицании которой он видел единственный путь к истинному и полному преодолению ограниченности нашего индивидуального ощущения и восприятия мира. Тема эта выступила с полной ясностью для меня впервые. Тем, кто искал в философии теоретического обоснования для политической и социальной агитации на пользу «свободного индивидуума», она решительно ничего не давала, ибо Шопенгауэр искал особенных путей, ведущих к уничтожению самого инстинкта личности. Вот с чем я вначале не мог примириться: считая, что радостное эллинское миросозерцание, мечту о котором я вложил в свое произведение «Произведение искусства будущего», коренится во мне глубоко, я не решался сразу от него отделаться. Но Гервег одним верным замечанием рассеял мои сомнения на этот счет. Сознание призрачности мира явлений, так сказал он мне, составляет основную тему каждой трагедии и интуитивно присуще всякому великому поэту, великому человеку вообще. Я еще раз прочел поэму о Нибелунгах и, к своему изумлению, понял, что с этим мировоззрением, вызвавшим во мне такое смущение при чтении книги Шопенгауэра, я давно уже сжился в своем собственном творчестве. Только теперь я понял своего Вотана.

Потрясенный до глубины души, я снова принялся за основательное изучение книги Шопенгауэра. Прежде всего я решил уяснить себе содержание ее первой части, глубокую разработку учения об идеальности мира явлений, казавшегося до сих пор реально обоснованным в пространстве и времени, и мой первый шаг в этом направлении заключался в уяснении необычайной трудности

проблемы. Отныне я в течение многих лет не выпускал этой книги из рук, и уже летом следующего года я проштудировал ее в четвертый раз. Ее влияние на меня, все более и более усиливавшееся, было настолько велико, что в дальнейшем оно оказало самое решительное воздействие на все мое мировоззрение. Благодаря ей я стал сознательно относиться к тому, к чему прежде относился только сквозь призму чувства. Со мною случилось здесь то же самое, что случилось по отношению к музыке, когда благодаря импульсу, полученному от старого учителя Вайнлиха, я серьезно занялся контрапунктом. Все мои статьи, написанные впоследствии по тому или иному поводу, касавшиеся наиболее близких мне вопросов искусства, всегда носили печать влияния философии Шопенгауэра.

Теперь я возымел желание послать глубоко чтимому мыслителю экземпляр «Кольца нибелунга». На заглавном листе я сделал надпись «в знак преклонения» и не приложил никакого письма, отчасти из робости, которую я чувствовал при мысли, что предстану перед таким великим человеком, отчасти из смутного чувства, что если Шопенгауэр, прочитав мое произведение, сам не поймет, с кем имеет дело, то подробнейшее письмо не поможет ничем. Тем самым я отказывался от тщеславного желания получить в ответ ценное письмо от Шопенгауэра. Но впоследствии я узнал от Карла Риттера, а также и доктора Вилле, которые посетили Шопенгауэра во Франкфурте, что он очень благоприятно отзывался о моем произведении, признавая его значительность.

290

Концепция «Тристана и Изольды». «Парцифаль». «Тангейзер» в Берлине

Несмотря на изучение Шопенгауэра, я продолжал работать над партитурой «Валькирии». Я жил очень уединенно,

употребляя свободные часы на продолжительные прогулки по окрестностям города. Как это обыкновенно бывало со мной после продолжительных занятий музыкой, мной опять овладела жажда литературного творчества. Несомненно, что серьезное настроение, вызванное чтением Шопенгауэра и властно требовавшее экстатического выражения на бумаге, подсказало мне идею «Тристана и Изольды». Это была тема, с которой я хорошо ознакомился, изучая в Дрездене средневековую поэзию. Мысль о драматической обработке сюжета явилась у меня благодаря Карлу Риттеру, показавшему мне свои наброски на эту тему. Я указал молодому другу все недочеты его концепции. Риттер подчеркивал главным образом эффектные положения романа, меня же привлекала его глубоко трагическая основа, и мысленно я отбрасывал все случайные детали. Возвратившись однажды с прогулки, я набросал в сжатой форме содержание трех актов, намереваясь разработать его впоследствии в форме драмы. В последний акт я включил эпизод, который, однако, не был мной использован: в поисках Грааля Тристана посещает Парцифаль. Страдающий от раны, готовый умереть Тристан отождествляется в моем наброске с Амфортасом из романического повествования о Граале. На данном этапе я решил более не развертывать этой концепции, чтобы не нарушить хода моей большой музыкальной работы.

Тем временем с помощью друзей мне удалось несколько изменить к лучшему свои пошатнувшиеся материальные дела. Мои отношения с немецкими театрами стали опять приносить мне большие доходы. Минна побывала в Берлине и благодаря содействию нашей старой приятельницы, госпожи Фромман, добилась приема у фон Хюльзена, интенданта королевской оперы. После совершенно ненужных проволочек, продолжавшихся два года, я решил «Тангейзера» предоставить берлинскому

театру без всяких оговорок, так как успех его был раз навсегда упрочен благодаря многочисленным постановкам во всех остальных театрах Германии. Неудача в Берлине могла бы повредить не моему произведению, а только самой берлинской дирекции. В начале ноября Минна возвратилась из Берлина, и, выслушав все ее сообщения, я отдал берлинскую инсценировку «Тангейзера» на волю судеб, что доставило мне немало досадных минут, но зато открыло предо мной источник довольно значительных тантьем.

291

Эскиз «Валькирии». Увертюра «Фауста»

Вскоре цюрихское Музыкальное общество опять обратилось ко мне с просьбой принять участие в концертах этой зимы, и я дал свое согласие, прибавив, что жду серьезных шагов для проведения в жизнь тех планов, которые были предложены мной для улучшения состава оркестра. Дело в том, что я представил дирекции Общества два различных проекта для обоснования создания в Цюрихе хорошего оркестра. Теперь я разработал еще третью записку, в которой приводил точные данные относительно того, как на сравнительно небольшие средства можно содержать при театре хороший оркестр. Я заявил, что в последний раз выступаю на этих концертах, если Общество не согласится осуществить мои проекты, требующие, впрочем, не очень много денег.

Кроме того, я заинтересовался квартетным ансамблем, составленным из солистов оркестра. Они просили меня пройти с ними несколько рекомендованных мной квартетов. Прежде всего меня радовала возможность доставить этим людям при успехе, какой они имели у публики, хороший побочный заработок. Что касается

художественно-артистической стороны дела, то ансамбль налаживался с трудом. Было ясно, что для индивидуальной передачи отдельных партий мои указания относительно динамических оттенков не могут заменить того, что дает тонко развитый художественный вкус, диктующий технические детали игры. Однако я увлекся до того, что решился разучить с ними даже cis-moll-ный квартет Бетховена, на что мне пришлось затратить бесконечное количество репетиций и труда. К программе концерта я написал небольшое введение, разъясняющее содержание замечательного произведения Бетховена. Произвели ли мои слова и самое исполнение квартета какое-либо впечатление на слушателей, не знаю.

Если прибавлю, что 30 декабря того же года я закончил композиционный эскиз «Валькирии», то моя серьезная творческая деятельность за этот год будет обрисована с достаточной ясностью. Внешняя сторона жизни нисколько не отвлекала меня от серьезного труда.

В январе 1855 года я принялся за инструментовку «Валькирии». Однако мне пришлось на некоторое время прервать работу, чтобы заняться увертюрой к «Фаусту», написанной пятнадцать лет назад в Париже, так как мои цюрихские друзья, которым я рассказал о ней, возымели желание ее услышать. Это заставило меня внимательно пересмотреть свою композицию, которая когда-то ознаменовала собой глубокий поворот в моем музыкальном творчестве. Лист, недавно исполнивший ее в Веймаре, написал мне по ее поводу много приятного и выразил желание, чтобы я определеннее развил некоторые отдельные мысли, только намеченные в партитуре. Поэтому я принялся за новую обработку моего произведения и последовал в ней совету, продиктованному тонким музыкальным чутьем моего друга, как это показывает издание,

вышедшее у Гертеля. Я разучил увертюру с нашим оркестром, и, как мне казалось, она имела успех у публики. Только жена моя не верила, чтобы из этой вещи мог выйти какой-нибудь толк, и она просила меня не исполнять ее на моих концертах в Лондоне.

В это время я получил из-за границы неожиданное приглашение, больше никогда в такой форме не повторявшееся. Еще в январе лондонское Филармоническое общество запросило у меня, не соглашусь ли я дирижировать концертами, которые оно устраивает в текущем году. Пока я откладывал окончательный ответ, чтобы несколько подробнее ознакомиться с организацией Общества, ко мне в один прекрасный день явился член комитета Андерсон, специально приехавший из Лондона в Цюрих, чтобы добиться моего согласия. Мне предлагали в течение четырех месяцев дирижировать восемью концертами Филармонического общества, за что я должен был получить 200 фунтов стерлингов. Я не знал, на что решиться, так как с деловой точки зрения предложение Общества не было особенно для меня выгодным, а с другой стороны, дирижирование концертами, за исключением нескольких прекрасных вещей, поставленных в программу, мало меня привлекало. Но мысль о том, что после долгого перерыва я опять буду дирижировать большим, хорошим оркестром, и затем странный, почти загадочный факт, что на меня обратили внимание те музыкальные круги, которые, казалось, были бесконечно далеки от меня, настроили меня в пользу поездки. Я услышал в этом обстоятельстве таинственный призыв судьбы и в конце концов дал глуповато любезному английскому господину Андерсону свое согласие, после чего он, явно обрадованный, укутавшись в большую шубу, с собственником которой я познакомился впоследствии, уехал обратно в Лондон.

292

Приглашение в Лондон. «Тангейзер» в Цюрихе

Но прежде чем последовать за ним, я принужден был ликвидировать одно неприятное дело, которое я сам себе навязал по излишней доброте своей. Крайне назойливый директор, снявший в этом году цюрихский театр, добился от меня разрешения поставить «Тангейзера». Он сумел убедить меня, что было бы несправедливо отказать в разрешении, какое я даю всем театрам, только потому, что я сам живу в Цюрихе. К тому же в дело вмешалась моя жена. К ее заступничеству немедленно прибегли певцы, исполнявшие партии Тангейзера и Вольфрама. И действительно, она сумела вызвать во мне живое сочувствие к одному из артистов, пользовавшихся ее покровительством, бедному, загнанному тенору, до сих пор подвергавшемуся всевозможным притеснениям со стороны директора. Я несколько раз прошел с этими господами их роли, вследствие чего я должен был присутствовать на всех репетициях. Это повело к дальнейшим вмешательствам с моей стороны в театральные дела, вмешательствам, которые зашли так далеко, что вскоре я очутился у капельмейстерского пульта. Кончилось тем, что я сам дирижировал первым представлением оперы. От этого спектакля у меня особенно осталась в памяти исполнительница Елизаветы (служившая в театре на амплуа субреток), которая вела свою роль в лайковых перчатках с веером в руке. На сей раз с меня довольно было этого «удовольствия», и когда публика в заключение громко стала меня вызывать, я вышел и без обиняков объявил моим друзьям, что меня в первый и последний раз заманили в такое предприятие, что отныне я предоставляю им самим работать для своего театра, о прекрасных качествах которого они сегодня могли составить себе точное представление. Все были крайне

поражены моими словами. Подобную же речь я сказал и Музыкальному обществу, в котором незадолго перед отъездом я в последний раз дирижировал оркестром. К сожалению, на мои заявления смотрели как на причуды, и никто не старался поставить дело на должную высоту. Ближайшей зимой мне пришлось иметь серьезное, почти грубое объяснение, чтобы раз навсегда оградить себя от всякого посягательства на мою персону. Я оставил прежних цюрихских друзей — любителей искусства — в сильном недоумении, а сам 26 февраля отправился в Лондон.

293

Лондон. Фердинанд Прегер. Сэнтон и Людерс

Путь мой лежал через Париж. Я пробыл там несколько дней, в течение которых видел только Китца и его друга Линдемана. Последнего Китц считал лекарем-«чудодеем». Прибыв 2 марта в Лондон, я обратился к Фердинанду Прэгеру, другу юности Рёкеля, и от него получил необходимые для меня сведения. В лице Прэгера, который уже много лет назад водворился здесь на жительство в качестве преподавателя музыки, я встретил чрезвычайно добросердечного человека, несколько, впрочем, раздражительного для своей профессии. Переночевав у него, я на следующий день стал отыскивать себе при его содействии квартиру в Портленд-Террас в окрестностях Риджентс-парка, о котором у меня сохранилось приятное воспоминание еще со времени первого посещения Лондона. Я радовался возможности хорошо провести предстоящую весну вблизи парка, великолепные красные буки которого простирали свои широкие ветви далеко за его ограду. В Лондоне я пробыл четыре месяца, и мне казалось, что желанная весна никогда не наступит — так убийственно действовал на меня скверный климат и постоянные туманы. Все мои впечатления принимали здесь мрачный отпечаток.

Прэгер изъявил полную готовность сопровождать меня в моих «скитаниях по визитам». Мы посетили, между прочим, и Косту, дирижера Итальянской оперы, занимавшего в то время лидирующее место среди лондонских музыкантов, ибо он был одновременно и руководителем Общества духовной музыки, где почти еженедельно исполнялись Гендель и Мендельсон.

Прэгер повел меня к своему другу Сэнтону, первому скрипачу лондонского оркестра. С его стороны я встретил необыкновенно сердечный прием и от него же узнал странную историю, связанную с приглашением меня в Лондон. У Сэнтона, уроженца Южной Франции, человека с наивным, пылким темпераментом, был друг, с которым он жил вместе, — чистокровный немец из Гамбурга, по имени Людерс, сын одного тамошнего музыканта, несколько скучноватый на вид, но чрезвычайно симпатичный по характеру. Я был очень растроган, когда впоследствии узнал о случае, связавшем их навсегда неразрывной дружбой. Сэнтон, отправившийся в артистическое турне через Петербург в Гельсингфорс, остался случайно в чужом городе без гроша в кармане. Словно преследуемый злым гением, он не знал, как ему выбраться из этого положения. Вдруг на лестнице гостиницы преграждает ему путь необыкновенно простой и скромный сын гамбургского музыканта, который, узнав о его бедственном положении, предложил ему в виде простой услуги половину имеющихся у него наличных денег. С этого мгновения они стали неразлучными друзьями. Они вместе совершали артистические турне по Швеции и Дании. При необыкновенных обстоятельствах они вернулись через Гамбург в Гавр, Париж и Тулузу. Затем они отправились в Лондон. Здесь Сэнтон занял почетное место в оркестре, а Людерс кое-как перебивался скучными уроками

музыки. Когда я с ними познакомился, они жили очень дружно в прелестной квартире, нежно заботясь друг о друге, как любящие супруги. Этот Людерс прочел как-то мои книги об искусстве. Моя «Опера и драма» вызвала у него восклицание: «Donnerwetter![16] В этом что-то есть!» Это поразило Сэнтона, и когда в начале нового сезона прежний капельмейстер филармонических концертов, всесильный Коста, по неизвестным причинам поссорился с Обществом и заявил, что отказывается дирижировать оркестром, то Сэнтон, к которому обратился в этих затруднительных обстоятельствах за советом «Treasurer»[17] Общества Андерсон, по внушению Людерса рекомендовал пригласить меня. Как я после узнал, рекомендация эта не сразу вызвала сочувствие Общества. Только когда Сэнтон заявил, что сам видел меня дирижирующим в Дрездене, Андерсон решил съездить за мной в Цюрих, захватив при этом его шубу. Вот каким образом я очутился в Лондоне.

При своем пылком темпераменте Сэнтон слишком погорячился и поступил опрометчиво, так как Коста не считал серьезной свою размолвку с Филармоническим обществом, и приглашение меня в качестве дирижера очень неприятно поразило его. Будучи враждебно против меня настроен, он постоянно становился на пути моих начинаний как человек, стоявший во главе оркестра, в котором мы так нуждались для филармонических концертов. Его неприязнь отозвалась и на моем друге Сэнтоне, хотя этот последний и не отдавал себе ясного отчета в причинах такого к нему отношения.

---

[16] «Гром и молния!» — аналог «Чёрт побери!» (*нем.*), старинное немецкое ругательство.

[17] Казначей, заведующий кассой (*англ.*).

294

«Таймс». Концерты Филармонического общества

Враждебность Косты ко мне становилась все сильнее и заметнее, и я мог ожидать от него тысячи всевозможных неприятностей. Прежде всего музыкальный критик газеты «Таймс» Дэвисон отнесся ко мне отрицательно. На этом человеке я впервые с полной определенностью и ясностью мог убедиться в том, какое влияние оказала статья моя «Еврейство в музыке». К тому же Прэгер сообщил мне, что Дэвисон в качестве всесильного критика газеты привык ждать от каждого артиста, приезжающего в Англию по музыкальным делам, всевозможных знаков внимания. Этим требованиям должна была подчиниться и Женни Линд, что и отразилось весьма благоприятно на ее внешнем успехе. Только Зонтаг, графиня Росси, сочла себя вправе ими пренебречь.

Так как единственное, к чему я стремился, это быть в ладу с оркестром и, поставив его на должную высоту, достигнуть возможного совершенства исполнения, то меня неприятно поразило сообщение, что мне не дадут того количества репетиций, какое я считал необходимым проделать. Для каждого концерта, с двумя симфониями и другими пьесами, по экономному расчету Общества полагалось только по одной репетиции. Но я все еще надеялся, что впечатление от игры оркестра побудит заправил Общества к уступкам в мою пользу. Оказалось, однако, что сдвинуть этих людей с места невозможно. Вскоре принятые мной на себя обязательства стали для меня непосильным бременем. В первом концерте была исполнена «Героическая симфония» Бетховена, и успех мой был так велик, что комитет Общества, видимо, склонен был идти навстречу всем моим требованиям при устройстве нового музыкального вечера. Настаивали, чтобы я включил

в программу отрывки из моих произведений и Девятую симфонию Бетховена, согласившись в виде исключения предоставить мне две репетиции. В этом концерте все прошло довольно сносно.

Моему прологу к «Лоэнгрину» я предпослал в программе пояснение, из которого, подозрительно на меня покосившись, устроители концерта вычеркнули слова «Святой Грааль» и «Бог» под предлогом, что их нельзя употреблять в произведениях светского характера. Для хора [Девятой симфонии] я должен был ограничиться труппой Итальянской оперы, а для длинного речитатива — баритоном, который на репетиции приводил меня в отчаяние своей английской флегматичностью, отшлифованной итальянской вокальной школой. Из английского перевода текста я понял только hail thee joy [18] вместо Freude schöner Götterfunken.

Для успеха этого концерта, который сам по себе не оставлял желать ничего лучшего, Филармоническое общество сделало, кажется, все, что только было в его силах. Тем более мы были поражены, когда рецензент «Таймс» и к нему отнесся презрительно, стараясь умалить достоинство исполнения. Обратились к Прэгеру, чтобы с его помощью подвинуть меня хоть на какие-нибудь знаки внимания по отношению к могущественному критику. Добивались моего согласия встретиться с этим субъектом и любезно с ним поговорить на торжественном званом обеде у Андерсона. Прэгер достаточно знал меня, чтобы отнять у этих господ всякую надежду на какие-либо уступки с моей стороны. Званый обед не состоялся. С тех пор Общество, видя, что ничего не поделаешь с таким упрямым человеком, как я, стало искренне раскаиваться, что пригласило меня в Лондон.

---

[18] *Букв.* «Приветствуем радость» (*англ.*).

295

Королева Виктория. Принц Альберт

После второго концерта должен был наступить продолжительный перерыв по случаю празднования Пасхи. Я решил посоветоваться с моими друзьями, не разумнее ли будет совсем отказаться от дирижирования филармоническими концертами, которые признаны критикой глупыми и бесполезными, и спокойно возвратиться в Цюрих. Прэгер уверял меня, что такой шаг никоим образом не явится почетным выходом из моего положения, что на него посмотрят как на жалкое малодушие с моей стороны, что больше всего пострадают мои друзья. Это последнее обстоятельство имело решающее значение: я остался и продолжал, конечно, без всякой надежды на успех, двигать вперед музыкальную жизнь лондонского общества.

Только на седьмом концерте произошло одно событие, которое несколько ободрило меня. Королева, раз в году посещавшая концерты Общества, захотела присутствовать именно на этом вечере и выразила через своего супруга, принца Альберта, желание послушать увертюру к «Тангейзеру». В самом деле, вследствие прибытия королевской четы концерт носил особенно праздничный характер. Я имел удовольствие по личному желанию королевы Виктории представиться ей и вести с ней и ее супругом оживленную беседу. Зашла речь о постановке моих опер в лондонском театре. Принц Альберт заметил, что итальянские певцы не могли бы справиться с моей музыкой. Мне доставило большое удовольствие, когда королева в ответ на эти слова указала на то, что многие из итальянских певцов собственно немцы. От этой беседы у меня осталось крайне приятное впечатление. Она явилась как бы демонстрацией в мою пользу, хотя и не могла изменить

установившегося положения вещей. После нее, как и раньше, пресса продолжала утверждать, что все концерты, шедшие под моим управлением, терпели фиаско. И Фердинанд Хиллер получил полное право на одном из устраивавшихся в то время Рейнских музыкальных фестивалей во всеуслышание заявить, к сердечной радости своих друзей, что дело мое в Лондоне провалилось, что я могу считаться словно бы выгнанным оттуда.

Однако в конце последнего из поставленных под моим управлением восьми концертов я получил некоторое удовлетворение. На вечере произошла одна из тех редких сцен, которые остаются в памяти навсегда. Тщательно скрываемые до сих пор чувства музыкантов проявились чрезвычайно ярко. После первых же моих успехов эти люди ясно поняли следующее: чтобы быть на хорошем счету у всесильного, безответственно всем распоряжавшегося маэстро Косты и не подвергнуться увольнению, они ни в каком случае не должны высказывать открыто своих симпатий ко мне. Вот почему изъявления сочувствия, которые вначале выражались довольно ясно, потом совсем прекратились. Теперь долго сдерживаемые настроения вырвались наружу. Музыканты шумно окружили меня со всех сторон. В то же время публика, обыкновенно покидающая зал до окончания концерта, восторженно настроенная, стала собираться группами у эстрады. Мне пожимали руки, я слышал самые сердечные приветствия. Мои прощальные слова были заглушены добрыми пожеланиями музыкантов и слушателей.

296

Карл Клиндворт

Пребывание в Лондоне имело для меня еще то важное значение, что, благодаря ему я приобрел новые знакомства и связи. Сейчас же по моем прибытии меня посетил

аттестованный Листом как его выдающийся ученик молодой Карл Клиндворт, который остался верным и преданным мне другом на всю жизнь. Как ни был он молод, для него достаточно было короткого пребывания в Лондоне, чтобы оценить постановку музыкального дела в Англии вообще. Мнение это при всей его безнадежности я должен был признать вполне справедливым. Неспособный подделываться под тон всевозможных разночинцев английской музыкальной критики, слишком гордый, чтобы оказывать малейшие знаки внимания по отношению к влиятельным рецензентам, которые накинулись на него как на ученика Листа, он вскоре потерял всякую надежду занять подобающее ему место среди исполнителей. Он примирился с этим и стал пробиваться через пустыню английской музыкальной жизни исключительно уроками. Это был отличный музыкант и превосходный пианист. Ко мне он обратился по поводу партитуры «Золота Рейна». Он просил разрешения переложить ее для фортепьяно, имея в виду исполнение ее виртуозами-пианистами в концертах. К несчастью, он вскоре опасно заболел, и я надолго лишился его общества.

В то время как Прэгер и его жена при всем их ко мне расположении оставались вне узкого круга моих знакомств, дом Сэнтона и Людерса с его оригинальным укладом стал для меня вскоре совсем родным. Я был там своим человеком, ежедневно обедал у них, уступая их дружеской настойчивости. Здесь, в уютной обстановке, я обыкновенно отдыхал от лондонских неприятностей. Сюда заходил иногда и Прэгер. Часто бродили мы вечерами по серым, одетым густым туманом улицам города. Людерс пользовался случаем и угощал нас по дороге великолепным пуншем собственного изготовления, спасая наше здоровье и настроение от влияния лондонского климата. Однажды во время обычной прогулки мы едва не были сбиты с ног

огромной нахлынувшей на нас толпой народа, которая на время нас разъединила. Оказалось, что толпа бежала за императором Наполеоном, следовавшим от Сент-Джеймса к Ковент-Гардену. Это было в разгаре Крымской войны. Видя критическое положение союзников, Наполеон отправился в Лондон со своей супругой, чтобы посетить королеву Викторию. Лондонское население жадно глазело на него, проявляя такое же праздное любопытство, какое проявляет в подобных случаях толпа во всех странах мира. Я старался пробраться от Хеймаркета к Риджент-стрит. При переходе через улицу я был снова настигнут толпой. На меня налетел один из ярых любителей зрелищ и сильно ударил в бок, что, при очевидной невменяемости субъекта, ничуть меня не рассердило, а напротив, привело в самое веселое расположение духа.

297

Берлиоз

Плохие отношения, установившиеся из-за Косты между Сэнтоном и Андерсоном, вызвали серьезные осложнения, благодаря которым я вскоре совершенно утратил влияние на дела Общества. Они же явились причиной многих забавных происшествий. Этот самый Андерсон по протекции лейб-кучера королевы получил место директора королевского придворного оркестра и, несмотря на то, что был полным профаном в музыке, должен был дирижировать ежегодно устраивавшимся придворным концертом. Это был не концерт, а позор. Не умевший сдерживаться Сэнтон умирал со смеху. Об этом вечере рассказывали потом прямо анекдоты. Распространился, между прочим, слух, что миссис Андерсон, которую за ее колоссальный рост и богатырское сложение я прозвал Charlemagne, присвоила себе место и оклад придворного

трубача. Слушая эти и подобные им рассказы, я пришел к заключению, что мой жизнерадостный друг не устоит в открытой борьбе с кознями клики, с таким искусством умеющей втираться повсюду. Действительно, вскоре я был свидетелем финального поединка между Андерсоном и Сэнтоном, результатом которого явилось полное поражение последнего. Это подтвердило уже раньше сложившееся у меня убеждение, что в свободной Англии порядки ничуть не лучше, чем во всякой другой стране.

Наше маленькое общество несколько увеличилось с прибытием Берлиоза, который приглашен был в Лондон вновь основанным Новым филармоническим обществом дирижировать двумя концертами. Постоянным капельмейстером этого Общества был назначен, неизвестно за какие заслуги, не обыкновенно добросердечный, но до смешного неспособный человек, доктор Уайльд, толстощекий англичанин, получивший капельмейстерское образование у штутгартского дирижера Линдпайнтнера и постигший эту премудрость ровно настолько, чтобы невпопад отбивать такт и кое-как плестись за оркестром, игравшим, как ему заблагорассудится. Я слышал в его исполнении одну из бетховенских симфоний и был страшно удивлен, когда по окончании публика разразилась такими же оглушительными аплодисментами, какими она награждала меня, исполнявшего эту симфонию с величайшим тщанием и с неподдельным огнем. Чтобы хоть сколько-нибудь поднять эти концерты в художественно-артистическом отношении, как я уже сказал, пригласили дирижировать несколькими из них Берлиоза. Мне удалось слышать в его исполнении некоторые классические произведения, между прочим, одну моцартовскую симфонию. Я был поражен: он, который с таким подъемом дирижировал собственными произведениями,

здесь оказался далеко не на высоте своей задачи и ничем не отличался от самых заурядных капельмейстеров, отбивающих палочкой такт. Собственные же его творения, как, например, эффектные отрывки из симфонии «Ромео и Юлия», произвели на меня по-прежнему сильное впечатление. Но теперь мне стали виднее недостатки, которыми грешат даже величайшие произведения этого необыкновенного музыканта, недостатки, которых я не замечал прежде, в дни своего первого пребывания в Париже, когда к общему впечатлению грандиозности этого таланта во мне все же примешивался некий дискомфорт.

298

Мейербер

Я был очень взволнован встречей с Берлиозом на званых обедах у Сэнтона. Я увидел измученного, как бы чем-то подавленного, в то же время редко одаренного человека. Мое путешествие в Лондон было вызвано погоней за развлечением, жаждой внешнего возбуждения, и я невольно испытывал некоторое нравственное удовлетворение, видя Берлиоза, во много раз более заслуженного, чем я, прикатившего сюда исключительно ради ничтожного заработка, ради каких-то нескольких гиней. Он казался утомленным, на лице его лежал отпечаток безнадежности, и я чувствовал глубокое сострадание к этому человеку, на мой взгляд, далеко превосходившему по таланту всех своих соперников. Берлиоз был очень доволен той веселой непринужденностью, с какой я держался при встречах с ним. Этот замкнутый в себе, малоразговорчивый человек заметно оттаивал и оживлялся в хорошие часы наших бесед. Он рассказывал мне много забавного про Мейербера, о том, что трудно было противостоять его вкрадчивому, заискивающему обращению, той лести, с какой он подъезжал

к критикам в чаянье хвалебных рецензий. Первому представлению своего «Пророка» он предпослал обычный Diner de la veille[19]. Берлиоз под каким-то предлогом отказался от этого приглашения. Тогда Мейербер обратился к нему с нежными упреками, прося загладить глубокую обиду, какую он ему нанес своим отказом, «хорошенькой статьей» о его опере. Берлиоз ответил, что в парижской газете отзываться неодобрительно о Мейербере неловко.

Труднее было мне сговориться с Берлиозом по вопросам чисто художественным. Тут он являлся самоуверенным французом с устоявшимися собственными взглядами. Стоя на определенной точке зрения, он и не задавался вопросом, правильно ли понял идеи своего партнера. Так как я чувствовал себя достаточно уютно с моим собеседником, то, внезапно почувствовав легкость в общении на французском языке, к собственному огромному изумлению, пробовал высказать ему свои мысли о тайне «художественной концепции». При этом я старался объяснить свой взгляд на влияние внешних впечатлений на душу. Впечатления эти держат нас в плену, пока мы не освободимся от них движением внутренних сил, которые не порождаются никакими воздействиями извне. Внешние впечатления только пробуждают их из того глубокого дремотного состояния, в котором они находились. Не впечатления, а освобождение от них создает художественный образ. Берлиоз, выслушав меня, улыбнулся, как бы снисходительно соглашаясь со мной, и сказал: Nous appelons cela: digérer[20]. Я удивился той легкости, с какой он в одном слове выразил мысль, изложенную мной с таким трудом. Впрочем, меня немало удивило и внешнее поведение моего нового друга. Я пригласил его на свой

---

19 Ужин накануне вечером (*фр.*).

20 Мы называем это: переварить [пищу] (*фр.*).

последний концерт, а потом и на маленький прощальный обед, который я дал своим немногочисленным друзьям у себя на квартире. Берлиоз просидел у меня очень недолго и скоро удалился под предлогом нездоровья. Друзья мои не скрыли от меня, что он расстроен теми овациями, которые мне устроила публика при прощании.

299

Остальные мои знакомства в Лондоне не представляли особенного интереса. Меня порадовал только некий Эллертон, красивый, симпатичный господин, зять лорда Брума, поэт, большой любитель музыки и, к сожалению, композитор. Он представился мне на одном из филармонических концертов и не постеснялся, приветствуя приезд мой в Лондон, выразить надежду, что я положу предел преувеличенному обожанию Мендельсона. Это был единственный англичанин, который оказал нам особенный почет, угостив меня и моих ближайших друзей в Университетском клубе обедом, давшим полное представление о великолепии такого рода учреждений в Лондоне. После приятной беседы я узнал, однако, и слабые стороны английских пирушек. Моего хозяина, как будто это так и полагалось, увели домой под руки. Он еле держался на ногах и не мог идти один.

Оригинального человека встретил я в лице старомодного, но в высшей степени милого композитора Поттера. Мне пришлось дирижировать его симфонией, которая при крайне скромных размерах отличалась изящной контрапунктической работой и очень заинтересовала меня. Сам композитор, старенький, приветливый чудак, он относился ко мне с боязливой почтительностью. Я настоял на том, чтобы Andante его симфонии, действительно красивое и интересно написанное, было исполнено в надлежащем темпе. Он относился к своему произведению

с полным недоверием. Боясь навеять на публику скуку, он хотел, чтобы ее «отмахали» как-нибудь поскорее. Зато какой благодарной радостью сияло его лицо, когда я этим Andante, исполненным в моем темпе, доставил ему огромный успех и вызвал рукоплескания по его адресу.

Менее симпатичен был мне некий Макфаррен, надутый, меланхоличный шотландец, произведения которого, как уверял меня комитет Филармонического общества, очень ценились. Последний был, по-видимому, слишком горд, чтобы совещаться со мной по поводу предполагаемого исполнения одной из его симфоний. Мне было приятно, что симфония эта, которая совершенно мне не нравилась, была отставлена, а вместо нее была выбрана увертюра Steeple-Chase[21], чрезвычайно оригинальная вещь дико-страстного характера. Я провел ее с громадным наслаждением.

Знакомство с купцом Бенеке и его семейством — Везендонк дал мне рекомендацию, желая найти для меня «дом», куда можно пойти во всякое время, — связано было с большими неудобствами. Приходилось совершать далекое путешествие в Камбервель, чтобы изредка являться на приглашения и разделить общество людей, у которых останавливался Мендельсон во время своих приездов в Лондон. При мне они сейчас же заводили о нем речь, восторгались моим исполнением его вещей и сообщали мне черты «богато одаренной натуры» покойного. Говард, секретарь Филармонического общества, приятный, честных правил старик, один, как он полагал, из круга моих английских знакомых, старался доставить мне развлечение. С его дочерью я посетил несколько раз итальянскую оперу в театре Ковент-Гарден. Я слушал там «Фиделио»

---

[21] «Стипль-чез» — скачка по пересеченной местности. Название произошло от *англ.* Steeple — «колокольня».

в скверном исполнении на речитативный манер, с грубыми немцами и безголосыми итальянцами. Больше я не ходил в этот театр.

Когда, покидая Лондон, я пришел прощаться с Говардом, я был поражен, встретив там Мейербера. Он приехал хлопотать о постановке своей «Северной звезды». Увидев его, я мгновенно вспомнил, что Говард, которого я знал лишь как секретаря Филармонического общества, был также и музыкальным критиком Illustrated News[22]. Вот почему и заискивал перед ним великий оперный композитор! У Мейербера буквально подкосились ноги, когда он увидел меня. Это, в свою очередь, произвело на меня такое впечатление, что мы не сказали друг другу ни слова. Говард очень удивился. Он сообразил, что мы знакомы. Наконец, он спросил меня, знаю ли я Мейербера, в ответ на что я ему рекомендовал поговорить с Мейербером обо мне. Когда я однажды вечером снова встретился с Говардом, он стал меня уверять, что Мейербер отзывался обо мне с величайшим уважением. Тогда я посоветовал ему прочесть несколько номеров парижской Gazette musicale, в которой Фетис недавно предал гласности мнения обо мне господина Мейербера, выраженные в менее привлекательной форме. Говард покачал головой и сказал, что не понимает, «как это двое великих композиторов могли встретиться так странно».

300

Герман Франк

Приятной неожиданностью было для меня посещение старого друга Германа Франка, который жил тогда в Брайтоне и только на несколько дней приехал в Лондон. Мы много беседовали с ним, и я старался сделать все,

[22] «Иллюстрированных новостей» (*англ.*).

чтобы он получил правильное представление о моей особе, так как за последние годы, пока мы с ним не видались, он наслушался невероятных чудес обо мне от немецких музыкантов. Прежде всего он выразил удивление по поводу моего пребывания в Лондоне, где, как он думал, почва для проведения в жизнь моих идей была совсем неподходящей. Что он под этими идеями разумел, я так и не понял. Я просто рассказал ему о причинах, побудивших меня принять приглашение Филармонического общества, дирижирование концертами которого в текущем году я намеревался отклонить, чтобы немедленно вернуться в Цюрих к моим работам. Мой друг предполагал услышать от меня совсем другое: он думал, что я намереваюсь завоевать солидное положение в Лондоне и отсюда объявить истребительную войну всем немецким музыкантам вообще. Такие желания приписывались мне во всех музыкальных кругах Германии. Не могло быть ничего более удивительного, по его словам, чем это полное несовпадение того мнимого представления, какое имело обо мне большинство людей, с моей истинной сущностью, которую он только сейчас узнал.

В шутливой беседе мы вполне освоились друг с другом. Я радовался, видя, что, подобно мне, он оценил по достоинству приобретшие за последнее время известность произведения Шопенгауэра. Он отзывался о них с удивительной определенностью. Он предвидел или полное падение немецкого гения вместе со всеми его политическими теориями, или полное его возрождение, которое повлечет за собой правильную оценку Шопенгауэра. Франк покинул меня, чтобы пойти навстречу неотвратимой и непостижимо страшной судьбе. Несколько месяцев спустя по возвращении моем в Цюрих я узнал о его загадочной смерти. Он жил в Брайтоне, чтобы отдать на службу в английский флот своего сына, шестнадцатилетнего мальчика,

питавшего, как я заметил, к большому неудовольствию отца, особенно упорное пристрастие к морю. Утром того дня, на который назначено было отплытие корабля, на улице нашли отца выбросившимся из окна дома и разбившимся насмерть. Сын лежал мертвый, задушенный, как говорили, на своей постели. Матери давно уже не было в живых. Не осталось никого, кто мог бы пролить свет на это страшное происшествие, и, насколько мне известно, оно до сегодняшнего дня так и осталось невыясненным. По забывчивости Франк оставил у меня план Лондона. Я не мог вернуть его за незнанием его адреса. Этот план я храню и по сей день.

301

Земпер в Лондоне. Лондонские театры

Более веселые, хотя тоже не лишенные горечи воспоминания сохранились у меня о встречах с Земпером. Я нашел его в Лондоне, где он давно уже прочно основался со своей семьей. Тот самый человек, который в Дрездене казался мне вспыльчивым и раздражительным, теперь приятно удивил и тронул меня. Со спокойной, терпеливой покорностью он переносил тяжелую для него приостановку своей художественно-артистической деятельности. Столь необыкновенно одаренный человек умел приспосабливаться ко всевозможным житейским обстоятельствам и за неимением крупной работы довольствоваться сравнительно мелкой. В Англии ему нечего было и думать о получении заказа на большие архитектурные проекты. Но он возлагал некоторые надежды на принца Альберта, который ему покровительствовал. А пока, в ожидании будущих благ, он занимался составлением рисунков для комнатных орнаментов и драгоценной мебели. Эту работу он считал не менее важной, чем создание крупных архитектурных сооружений. Притом же она хорошо оплачивалась.

Мы стали часто встречаться с Земпером, иногда я проводил вечера у него в Кенсингтоне. Беседы наши, настроения, полные до странности серьезного юмора, переносили нас в старые хорошие времена и заставляли забывать о превратностях судьбы. Мои сообщения о Земпере по возвращении домой сделали свое дело. Они немало содействовали тому, что Зульцер принял на себя и довел до благополучного конца хлопоты по приглашению его в Цюрих для руководства работами воздвигаемого там Политехникума.

Несколько раз я посетил небезынтересные лондонские театры, из которых раз навсегда я исключил, конечно, оперные театры. Больше всего привлекал меня Театр Адельфи на Стрэнде, куда меня часто сопровождали Прэгер и Людерс. Там, под названием Christmas[23], давались инсценировки народных сказок. Особенно одно представление очень меня заинтересовало: оно состояло из остроумно соединенных между собой известнейших сказаний. Не было никаких перерывов в действиях, они разыгрывались как одно неразрывное целое. Началось с «Золотого гуся». Потом пошли «Три пожелания». Затем — «Красная Шапочка», где вместо волка фигурировал людоед, певший весьма забавные куплеты. В заключение была представлена «Золушка» с примесью разных других сюжетов. Со сценической и драматической точки зрения вещи эти были поставлены и разыграны превосходно. Они давали ясное представление о том, какого рода фантастическими зрелищами можно занять народ.

Гораздо менее наивной прелести нашел я в представлениях театра «Олимпик», где рядом с очень хорошими пикантными диалогическими сценками в стиле французского театра давалась волшебная сказка «Желтый карлик»,

[23] «Рождество» (*англ.*).

в которой главную роль обезьяны играл любимец публики, актер Робсон. Этого самого актера я видел потом в небольшой комедии «Гаррик одержимый», где он представпредставлял пьяного, которого принимают за Гаррика и насильно в этом виде заставляют исполнять роль Гамлета. Своей остроумной игрой он привел меня в величайшее изумление.

Маленький театр, расположенный в отдаленной части города, в Marylebone, старался привлечь публику пьесами Шекспира. Я присутствовал на представлении «Виндзорских проказниц» и был прямо поражен добросовестностью и аккуратностью исполнения. Даже представление «Ромео и Джульетты» на сцене Хеймаркет-театра, хотя труппа была там далеко не первоклассная, произвело на меня благоприятное впечатление: постановка была верна гарриковской традиции. Только одно курьезное недоразумение осталось у меня в памяти. После первого акта я высказал Людерсу удивление по поводу того, что роль Ромео поручили старому, шестидесятилетнему почтенному актеру. Давно ушедшую юность этот актер пробовал заменить слащавыми женственными манерами. Людерс пробежал глазами афишу и воскликнул: «Черт возьми, ведь это женщина!» Это была знаменитая в свое время американка мисс Кашмен.

На представление «Генриха VIII» [Шекспира] в Принцесс-театре, несмотря на все старания, я не достал места. Как раз эта вещь, необыкновенно тщательно и великолепно обставленная, давалась в духе нового реалистического направления и имела неслыханный успех.

302

В ближе меня касающейся музыкальной области я должен отметить несколько концертов Общества духовной музыки, на которых я присутствовал в просторном Эксетер-холле. Оратории, которые давались там почти

еженедельно, исполнялись с уверенностью, достигаемой лишь с помощью постоянных упражнений. Кроме того, я не мог отказать в своем одобрении хору в семьсот человек, который, особенно в генделевском «Мессии», поднимался иногда на значительную художественную высоту. Здесь я понял своеобразный дух местного культа музыки. Он находится в тесной связи с духом английского протестантизма. Вот почему оратория привлекает публику гораздо больше, чем опера. Публика идет на вечер оратории, как в церковь, с богослужебными целями. Как в церкви сидят с молитвенниками, так и здесь у слушателей в руках по клавираусцугу Генделя, который продается в кассе за один шиллинг в популярном издании. По клавиру усердно следят за исполнением. Последнее, мне кажется, делается из боязни пропустить какие-нибудь особенно важные моменты, например, вступление «Аллилуйя», когда все присутствующие должны подниматься со скамей. Этот акт вставания непроизвольно вызывался прежде энтузиазмом слушателей. Впоследствии он перешел в традицию. А теперь он совершается с неукоснительной пунктуальностью при каждом исполнении «Мессии».

Все эти воспоминания стушевываются перед главным воспоминанием о моем почти непрерывном нездоровье по милости лондонского климата, особенно ужасного, как известно всему миру, в это время года. Меня мучила постоянная простуда. По совету друзей я старался соблюдением строгой английской диеты настолько поддержать свой организм, чтобы он мог противостоять вредному влиянию воздуха. Впрочем, надо сознаться, что диета не принесла мне ни малейшего облегчения. К тому же я никак не мог достаточно натопить квартиру. От всего этого страдала работа, которую я взял с собой. Инструментовка «Валькирии», намеченная в целом, подвинулась вперед лишь на какую-нибудь сотню страниц. Меня стесняло

еще одно обстоятельство: набрасывая приходившие мне в голову музыкальные идеи, я не рассчитывал на долговременный перерыв, происшедший по милости моего настроения, перерыв, во время которого совершенно утратилась связь прежнего эскиза с общим планом произведения. Часто сидел я перед исписанными карандашом листами и глядел на собственные ноты, как на дикие, чуждые знаки, смысла которых я не мог разгадать. В полном отчаянии накинулся я тогда на Данте. В первый раз я понял его по-настоящему. В обстановке лондонского климата «Ад» получил для меня осязательную реальность.

Наконец пробил час освобождения от страданий, которые причинила мне поездка в Лондон. Она была предпринята с особым умыслом: не встретятся ли среди скитаний по белому свету какие-нибудь новые, освежающие душу впечатления. Но приятно было сознание, что, уезжая, я оставляю хорошую по себе память в сердцах искренно преданных мне новых друзей. С радостным чувством спешил я домой через Париж. Париж встретил меня во всем своем летнем великолепии. Снова я видел на улицах толпы людей, просто гуляющих, отнюдь не спешащих куда-то по своим делам. В Цюрих я прибыл 30 июня, имея в кармане тысячу франков прибыли.

303

Смерть собачки

Жена собралась ехать в Зелисберг близ Фирвальдштетского озера для лечения сывороткой. Я считал, что горный воздух будет полезен и для моего расстроенного здоровья, и мы решили отправиться туда вместе. Но нас задержала смертельная болезнь нашей собачки Пепса. Старость ее наступила на тринадцатом году. Она так ослабела, что мы не рисковали взять ее с собой в Зелисберг, так как перенести

трудности восхождения на горы она уже не могла. Через несколько дней у нее началась агония. Она теряла сознание, ее постоянно схватывали судороги. Придя в себя, она поднималась и забиралась в комнату жены, постоянно за ней ухаживавшей. Иногда она с трудом приплеталась к моему рабочему столу и падала без сил. Ветеринар заявил, что помочь ничем уже нельзя, и так как судороги становились все более и более мучительными, мне посоветовали прекратить страшную агонию и освободить животное от неимоверных страданий, дав ему немного синильной кислоты. Мы отсрочили наш отъезд. Вскоре я сам положил конец мучениям бедного существа, на спасение которого не было никаких надежд. Я нашел лодку и отправился к знакомому молодому врачу Обристу, который, как мне было известно, вместе с деревенской аптекой приобрел различные яды. Обрист дал мне смертельную дозу, и в чудесный летний вечер я вернулся домой. Применить это крайнее средство я решил лишь в том случае, если страдания несчастного животного станут слишком нестерпимыми. Ночь Пепс спал, как обычно, у меня на кровати, в корзине, откуда по утрам он вылезал и, царапаясь лапками, будил меня. Вдруг я проснулся от услышанных мною стонов: у Пепса начались мучительные судороги. Затем он бессильно опрокинулся и замолк. Это мгновенье показалось мне настолько важным, что я невольно взглянул на часы. Час и десять минут ночи 10 июля запечатлелись у меня в памяти как миг смерти маленького друга, безмерно меня любившего. На следующий день мы с горькими слезами похоронили его. Владелица нашей дачи, госпожа Штокар-Эшер, уступила в саду прелестное местечко, где мы и погребли Пепса с его корзиной и подушкой. Много лет спустя мне показали, где должна находиться его могила. Но когда я явился сюда, не заходя ни к кому из местных

обитателей, я нашел сад совершенно изменившимся: нельзя было найти никаких следов, по которым можно было бы отыскать Пепса.

304

Буддизм

Затем мы уехали в Зелисберг, на этот раз в сопровождении нового попугая, которого я купил в кройцбергерском зверинце для жены, взамен доброго Папо. Новый попугай также представлял славное, очень ученое существо, но я предоставил его всецело Минне. Я относился к нему ласково, но не приучал к дружбе со мной. К счастью, неизменно прекрасная погода очень благоприятствовала пребыванию в этом чудном, излюбленном нами месте. Все свои досуги, кроме времени, уделяемого на одинокие прогулки, я посвящал переписыванию начисто инструментованной части «Валькирии», после чего принимался за любимое чтение Шопенгауэра. Обрадовало меня также милое письмо Берлиоза, которым он снабдил присланный экземпляр своих Les soirées de l'orchestre[24]. Грубость вкуса, которая отталкивала в его композициях, давала себя чувствовать и в этой книге. Но я прочел ее с большим удовольствием.

В Зелисберге я снова встретился с молодым Робертом фон Горнштейном. Он держал себя с большим тактом и вообще производил изысканно интеллигентное впечатление. Меня особенно интересовало его быстрое и, по-видимому, успешное изучение Шопенгауэра. Горнштейн сообщил мне, что намерен некоторое время прожить в Цюрихе, куда, сверх того, решил переехать на зиму и Карл Риттер со своей молодой женой.

---

[24] «Вечера с оркестром» (*фр.*).

В середине августа мы вернулись в Цюрих, где, поддерживая отношения с прежними знакомыми, я спокойно принялся за окончание инструментовки «Валькирии». Извне доходили вести о непрерывном успехе «Тангейзера», получавшего все более и более широкое распространение. В последнее время к этой опере присоединился «Лоэнгрин», постановка которого дала вначале неопределенные результаты. Франц Дингельштедт, тогдашний интендант Мюнхенского Придворного театра, взялся за пропаганду «Тангейзера» в пределах своей власти, что при влиянии Лахнера было не особенно легко. Попытка сошла довольно удачно, хотя, по словам Дингельштедта, не настолько, чтобы в точности выполнить обещания относительно гонорара. Но денежные дела мои, находившиеся в введении аккуратнейшего Зульцера, обстояли настолько благополучно, что я мог беззаботно отдаться своей работе.

Наступление более суровой погоды принесло мне, однако, новые страдания. Вследствие дурного действия лондонского климата у меня стали зимой появляться частые приступы рожи. И стоило допустить малейшую ошибку в диете либо подвергнуться ничтожной простуде, как болезнь неизменно давала о себе знать. Особенно мучительной являлась необходимость всякий раз прерывать работу, ибо самое большее, что я мог делать в дни болезни, было чтение. Из прочитанных тогда книг больше всего заинтересовала меня «Введение в историю буддизма». Отсюда я взял сюжет для драматической поэмы, который долго жил в моей душе, в самых общих очертаниях. Я надеялся, что когда-нибудь он отольется в законченную форму. Своему будущему произведению я дал название «Победители», и основывалось оно на простой легенде о принятии чандалки в возвышенный нищенский орден Сакхья-Муни после того, как она показала свою одухотворенную и просветленную страданием любовь к главному ученику Будды

Ананде. Кроме глубокомысленной красоты простого сюжета, на мой выбор оказало влияние своеобразное его отношение к занимавшим меня с тех пор музыкальным идеям. Перед духовным взором Будды жизнь встречающихся ему существ во всех их прежних рождениях раскрыта с такой же ясностью, как их настоящее. Простая легенда получает свое значение благодаря тому, что прошлая жизнь страдающих действующих лиц привходит, как нечто непосредственно современное, в новую фазу их бытия. Я сразу понял, каким образом можно передать музыкальный мотив двойной жизни, и вот это именно и побудило меня с особой любовью остановиться на мысли о создании «Победителей».

305

«Победители». Готфрид Келлер

Таким образом, кроме «Нибелунгов», все еще рисовавшихся мне в колоссальных размерах, я запечатлел в фантазии два новых сюжета: «Победителей» и «Тристана», которые живейшим образом меня занимали. Чем больше я проникался этими планами, тем сильнее становилось мое нетерпение, когда приходилось прерывать работу из-за отвратительных приступов болезни. К этому времени Лист, которого я ждал к себе летом, сообщил, что скоро приедет. Я вынужден был просить его не делать этого, ибо не имел уверенности, что не буду прикован к постели в те немногие дни, которые он мог бы мне уделить. Так я провел всю зиму, переходя от спокойного и продуктивного самоотречения к капризной раздражительности, причинявшей страдание моим друзьям.

Тем не менее я был рад, что Карл Риттер, поселившись в Цюрихе, мог стать ко мне несколько ближе. Своим вторичным выбором Цюриха, хотя бы для зимнего пребывания,

он выказал по отношению ко мне благотворную привязанность, устранившую кое-какие дурные впечатления с нашего пути. Горнштейн в свою очередь выполнил свое намерение [приехать в Цюрих]. Но общение с ним вскоре прервалось. Он был так «нервозен», что не мог больше прикасаться к клавишам. Он боялся сойти с ума по примеру своей матери, которая умерла, будучи душевно больной. Это до некоторой степени привлекало к нему внимание. Но, с другой стороны, при всех своих умственных качествах он отличался такой дряблостью характера, что вскоре пришлось совершенно махнуть на него рукой. Вот почему мы не особенно сокрушались по поводу его внезапного отъезда из Цюриха.

С некоторого времени круг моих знакомых обогатился новым человеком в лице Готфрида Келлера. Уроженец Цюриха, он создал себе своей литературной деятельностью хорошее имя в Германии и теперь вернулся на родину. Соотечественники встретили его с большими надеждами. Зульцер уже раньше указал мне с большим одобрением, но без преувеличенных похвал на несколько работ Келлера, в особенности на его крупный роман «Зеленый Генрих». Я был изумлен, встретив беспомощного и хрупкого человека, при первом знакомстве с которым у всех невольно возникало чувство опасения за его будущее. Оказалось, что это было больное место Келлера. Все его работы, которые, несомненно, говорили об оригинальном даровании, при ближайшем рассмотрении представлялись лишь обещающими намеками на будущее художественно-артистическое развитие. Ждали нового произведения, в котором определилось бы его истинное призвание. Вот почему и случилось, что мои встречи с Келлером сводились к постоянным расспросам о том, что он собирается написать в ближайшем будущем. На это он обыкновенно отвечал изложением

своих, бесспорно, весьма зрелых планов, которые, однако, при дальнейшем знакомстве с ними оказывались лишенными какой бы то ни было устойчивости. Со временем догадались пристроить Келлера из патриотических соображений на государственную службу, где он выказал себя прямодушным и дельным человеком. Писательская его деятельность с тех пор прекратилась, по-видимому, навсегда.

306

Земпер в Цюрихе

К сожалению, не так хорошо сложились дела моего старого друга Гервега. Долгое время я думал, что и на его предыдущие работы можно смотреть как на введение к действительно значительному художественному творчеству. Гервег и сам не отрицал, что настоящих его произведений приходится ждать в будущем. Он располагал всеми материалами для крупного поэтического произведения, «идей» у него было много. Ему недоставало только «рамы», в которую он мог бы все это вместить. Этой «рамы», притом самой подходящей, Гервег ждал поминутно. Мне эти ожидания показались чересчур долгими, и я решил со своей стороны предложить ему соответствующий план. Очевидно, Гервег хотел написать большую эпическую поэму, изложить все свои взгляды на жизнь. Сам он указывал на «счастье» Данте, по-видимому, тоже желая найти нечто вроде пути, через ад и чистилище ведущего в рай.

Это навело меня на мысль предложить ему в качестве «рамы» для поэмы миф о метемпсихозе в том виде, как он дошел до нас через Платона и браманизм и занял определенное место в нашем классическом образовании. Гервег нашел, что эта идея недурна, и я сделал попытку несколько обстоятельнее наметить своему другу форму его будущего произведения. Поэма должна была, по моему плану,

состоять из трех частей, каждая из которых подразделялась на три песни. В первом акте главные герои фигурируют на своей азиатской родине, во втором они должны были явиться перед нами возродившимися в греко-римском мире, в третьем — действующими лицами в обстановке средневековой и современной жизни. Все это очень понравилось Гервегу, и он полагал, что из предложенной концепции может выйти толк. Другого мнения держался несколько грубоватый доктор Вилле, в семье которого мы часто бывали. Вилле говорил, что мы слишком многого ждем от Гервега. Это просто хороший шваб, который благодаря еврейскому нимбу, в который он попал из-за жены, прославлен и оценен выше своих способностей. Под конец я молча пожимал плечами, выслушивая эти безнадежные и безрадостные отзывы, ибо я и сам видел, что с каждым годом бедный Гервег становится все более и более бездеятельным, все больше и больше опускается.

Большое оживление внес в нашу жизнь переезд в Цюрих Земпера. Власти обратились ко мне с просьбой уговорить его принять место преподавателя в здешнем Политехникуме. Земпер немедленно приехал в Цюрих, желая осмотреться на месте и сообразить, насколько выгодно для него это предложение. Город произвел на него хорошее впечатление. На прогулках его радовал вид естественно растущих деревьев, на которых можно еще иногда найти гусениц, и в конце концов он решил устроиться здесь окончательно. Благодаря этому обстоятельству Земпер вместе с семьей надолго примкнул к кругу моих знакомых. Конечно, он не мог особенно рассчитывать на крупные строительные заказы и считал себя отныне обреченным на преподавательскую деятельность. Но вскоре его привлекла большая художественно-литературная работа, которую, преодолев некоторые помехи и перемену первоначального издателя, он выпустил в свет под названием

«Стиль». Я часто заставал его за рисунками для книги, которые с большим старанием он сам же потом гравировал на камне. Земпер необычайно привязался к ней. Под конец он стал утверждать, что его совершенно не тянет строить большие, неуклюжие дома. Его интересуют только детали.

307

Окончание партитуры «Валькирии»

Согласно своему заявлению, я окончательно вышел из Музыкального общества и с тех пор более не выступал в Цюрихе перед публикой. Вначале не хотели верить, что мое решение серьезно, и мне пришлось категорическим образом его подтвердить. При этом я поставил на вид те вялость и равнодушие, с какими Общество отнеслось к моим предложениям составить сносный оркестр. В виде извинения мне указывали, что у публики, интересующейся музыкой, нашлось бы достаточно средств, но что каждый обыватель в отдельности не решается первым подписать определенную сумму, ибо это могло бы вызвать со стороны прочих сограждан тягостное внимание к его денежным делам. Мой старый друг Отт-Имхоф заявил мне, что его нисколько не затруднило бы вносить ежегодно на это дело по десять тысяч франков, если бы его не останавливали опасения вроде только что упомянутых. Сейчас же, говорил он, неминуемо поднимутся расспросы, отчего это господин Отт-Имхоф распоряжается так своими капиталами. Вообще, его поступок вызвал бы такую сенсацию, что от него легко могли бы потребовать отчета относительно общего состояния его имущества. Мне невольно пришло на память восклицание Гёте в начале его «первого швейцарского письма»! Но как бы то ни было, отныне музыкальная деятельность моя в Цюрихе кончилась раз навсегда.

Но у меня на дому время от времени происходили музыкальные вечера. Клавираусцуги «Золота Рейна», а также нескольких актов «Валькирии», подготовленные Клиндвортом, лежали в чистеньких и великолепных списках. Сперва Баумгартнер пытался преодолеть невероятно трудную аранжировку. Впоследствии большую способность к исполнению некоторых частей клавираусцуга выказал музыкант Теодор Кирхнер, который, поселившись в Винтертуре, часто приезжал в Цюрих. При моей попытке исполнить некоторые вокальные сцены я обратился за содействием к супруге директора Певческого общества Гейма, с которой, как и с ее мужем, я поддерживал дружеские отношения. Она обладала прекрасным голосом, отличавшимся задушевностью тона, и на больших концертах 1853 года выступала в качестве единственной солистки. Но госпожа Гейм была совершенно немузыкальна, и мне стоило большого труда добиться, чтобы она верно брала ноты, а главное — держала такт. Тем не менее мы добились кое-каких результатов и изредка доставляли знакомым возможность предвкушать музыку «Нибелунгов».

Однако и здесь я должен был соблюдать большую осторожность: малейшее волнение вызывало у меня приступы рожи. Однажды вечером мы собрались небольшим обществом у Карла Риттера. Я предложил прочесть вслух «Золотой горшок» Гофмана. Во время чтения я не заметил, что в комнате становилось все прохладнее. Не успел я кончить, как присутствующие, к ужасу своему, увидели, что у меня покраснел и распух нос. Сразу у меня наступили сильные боли, и я вынужден был отправиться сейчас же домой. Среди таких мучительных настроений текст «Тристана» намечался у меня все яснее и яснее. В дни выздоровления, наоборот, я усердно, но с трудом занимался партитурой «Валькирии», которая к марту этого года (1856) была совершенно закончена. Но эта усиленная работа,

равно как и постоянные приступы болезни, привели меня в состояние крайней раздражительности.

Помню, как скверно я принял наших друзей, Везендонков, когда они вечером явились поздравить меня с окончанием партитуры. Я с такой едкостью стал говорить о людях, выказывающих такого рода интерес к моим творениям, что бедные визитеры вдруг поднялись в совершенном смущении и ушли домой. Чтобы загладить нанесенную обиду, мне пришлось потратить много усилий на долгие, неприятные объяснения, успешности которых помогла своим примиряющим вмешательством Минна. В данном случае она проявила себя с очень выгодной стороны. Между Везендонками и Минной установилась взаимная симпатия. Этому содействовала купленная Везендонками и принесенная нам взамен Пепса собачка, чрезвычайно милое, ласковое и послушное животное, к которому жена особенно сильно привязалась. Я тоже очень хорошо к ней относился, но выбор имени предоставил жене. В пандан Пепсу Минна придумала ей кличку Фипс, которую я вполне одобрил. Фипс оставался главным образом другом жены. При всей моей готовности отвечать на чужие чувства, особенно на чувства животных, такие отношения, какие существовали между Пепсом, Папо и мной, уже никогда больше не повторялись в моей жизни.

308

Тихачек

В конце мая, ко дню моего рождения, приехал из Дрездена мой старый друг Тихачек, который сохранил ко мне былую привязанность и восторженную преданность, насколько это вообще было доступно такому некультурному человеку, как он. Проснувшись утром в день своего рождения, я был очень тронут звуками любимого мной

Адажио бетховенского квартета e-moll. Оказалось, что жена пригласила музыкантов, пользовавшихся моим покровительством, а они с большой чуткостью выбрали эту вещь — когда-то я отозвался о ней с чрезвычайной теплотой. Вечером Тихачек много пел из «Лоэнгрина», вызвав всеобщее искреннее изумление: блеск его голоса все еще сохранился. Настойчивости Тихачека удалось преодолеть нерешительность дрезденского интендантства и добиться возобновления моих опер, шедших с большим успехом, при полных сборах.

Во время поездки с нашим гостем в Бруннен, находящийся на Фирвальдштетском озере, я слегка простудился, благодаря чему подвергся тринадцатому приступу рожи. Мои страдания были на этот раз тем сильнее, что, не желая своим быстрым возвращением омрачить радости гостя, я продолжал принимать участие в прогулке. Положение мое ухудшалось сильным холодом в комнатах, которых нельзя было протопить из-за отчаянных южных ветров, свирепствовавших в Бруннене. В Цюрихе Тихачек оставил меня на одре болезни.

Я решил сейчас же по выздоровлении переменить климат, ибо мне казалось, что при цюрихском воздухе мои ужасные страдания становятся особенно нестерпимыми. Свой выбор я остановил на Женевском озере. Мне хотелось найти удобное помещение в деревне поблизости от Женевы и там провести курс лечения, предписанный цюрихским врачом. И вот в начале июня я в сопровождении Фипса, которому предстояло разделить со мной деревенское одиночество, направился в Женеву. Собака причинила мне много хлопот, ибо посреди дороги мне вдруг не позволили держать ее при себе в вагоне, и я даже готов был изменить весь свой маршрут. Огромной энергии, потраченной на осуществление того, чего мне хотелось, я обязан моим лечением в Женеве. Иначе моя жизнь, вероятно, приняла бы совсем другое направление.

309

В Женеве я остановился в издавна знакомом мне отеле «de l'écu Genéve», с которым у меня были связаны кое-какие старые воспоминания. За медицинским советом я обратился к доктору Кунде, который направил меня, по климатическим соображениям, в местечко Морне на Мон-Салеве, указав один из тамошних пансионов. Приехав туда, я прежде всего решил устроить себе уединенное жилище и стал убеждать хозяйку пансиона предоставить мне изолированно стоявший в саду павильон, где имелась одна только большая гостиная. Хозяйка долго не соглашалась, ибо остальные пансионеры, с которыми я не хотел вступать в общение, были возмущены, узнав, что их собираются лишить помещения, предназначенного для общего времяпрепровождения. В конце концов мне удалось добиться своего. Но я должен был обещать, что по воскресным дням буду освобождать свою комнату. В эти дни туда вносили ряд скамеек и устраивали по утрам богослужение, которое у кальвинистов-пансионеров длилось довольно долго. Вообще жизнь здесь мне очень нравилась, и в первое же воскресенье я честно сдержал обещание и отправился в Женеву читать газеты. Но на следующий день хозяйка сообщила, что вынуждена отказать мне от квартиры, ибо ее жильцы продолжают возмущаться, что в комнате моей можно молиться по воскресеньям, но нельзя развлекаться в течение всей недели. Пришлось искать помещение, и с этой целью я обратился к ближайшему соседу.

Это был некий доктор Вайян, устроивший в Морне водолечебницу. Вначале я имел в виду принимать здесь теплые серные ванны, прописанные цюрихским врачом. Но в лечебнице таких ванн не оказалось. А так как доктор Вайян произвел на меня очень приятное впечатление,

я решил рассказать ему о своей болезни. Когда я сообщил ему о горячих серных ваннах и вонючей минеральной воде, которую мне советовали пить, он засмеялся и проговорил: «Monsieur, vous n'êtes que nerveux[25]. Все это вызовет у вас еще большее возбуждение, вам нужен покой. Если вы доверитесь мне, через два месяца обещаю вам полное выздоровление. Рожа больше не вернется». Свое слово Вайян сдержал.

Благодаря этому превосходному врачу я усвоил иной взгляд на гидропатию, отрешившись от всего, что внушили мне «водяной еврей» из Альбисбрунна и подобные ему грубые дилетанты. Когда-то Вайян считался в Париже знаменитым врачом, у него лечились Лабланш и Россини. Потом в жизни его наступил перелом, вызванный параличом ног, который упорно не поддавался лечению. Промучившись четыре года, потеряв всю практику и совершенно обеднев, он случайно напал на заурядного шлезвигского гидропата, доктора Присница, которому удалось вылечить его вполне. После этого Вайян усвоил благодетельный метод Присница. Будучи образованным врачом с широким кругозором, он сумел избавить этот метод от нелепостей его изобретателя. Затем, желая применить его на практике, он устроил в Мёдоне водолечебницу, куда надеялся привлечь прежних парижских пациентов. Но найти сочувствие у последних ему не удалось, и обыкновенно на приглашения своего бывшего врача они отвечали запросами, можно ли у него в санатории по вечерам танцевать. Одним словом, в Мёдоне он не мог устроиться. Этому обстоятельству я обязан тем, что застал его в Женеве. Я решил серьезно испробовать на себе метод его лечения. Вайян, между прочим, отличался от других уже тем, что в свою лечебницу принимал очень

25 «Месье, вы так нервозны» (*фр.*).

ограниченное число пациентов: по его мнению, врач может поручиться за правильное применение и успешность своего метода только в том случае, если изо дня в день в состоянии тщательнейшим образом наблюдать своих пациентов. Достоинство его метода, оказавшего на меня замечательно благотворное влияние, заключалось в успокаивающем действии, которое достигалось применением умеренно-холодной воды.

310

Кроме того, Вайян старательно заботился об удовлетворении всех моих потребностей, особенно поскольку дело касалось покоя и одиночества. Так, например, я был освобожден от тягостных общих завтраков и получил разрешение готовить себе чай с тем условием, чтобы никто из пансионеров об этом не знал. И вот под покровом тайны я, сидя у себя в комнате, отдавался непривычному наслаждению прямо-таки до излишества: после утомительной процедуры утреннего лечения я долго пил свой чай, часа два подряд, читая при этом романы Вальтера Скотта. В Женеве я нашел очень хорошие французские переводы этих романов в дешевом издании, и я кучами тащил их к себе в Морне. Подобное чтение как нельзя лучше подходило к моему тогдашнему образу жизни, из которого устранен был всякий серьезный умственный труд. Кроме того, я имел случай убедиться, что Шопенгауэр был вполне прав в своей высокой оценке Вальтера Скотта, до тех пор рисовавшегося мне в очень неопределенном свете. На прогулки я брал с собой из-за удобства формата маленький томик Байрона, надеясь почитать его где-нибудь на горе с видом на Монблан. Вскоре я оставил Байрона в покое, заметив, что обыкновенно я не вынимал его из кармана.

Единственная работа, которую я себе разрешал, заключалась в начертании планов собственного дома,

архитектурный рисунок которого я разработал с величайшей детальностью. К этим смелым мыслям я пришел благодаря переговорам с Гертелями относительно продажи «Нибелунгов». Я запросил за четыре оперы сорок тысяч франков — половину они должны были внести к тому времени, когда я приступлю к постройке дома. Вначале издатели были настроены настолько благожелательно, что соглашались принять мои условия и облегчить мне осуществление задуманного предприятия. Вскоре, однако, Гертели изменили свое первоначальное намерение и начали иначе смотреть на выгодность предложенной им сделки. Я так и не смог выяснить, чем был вызван этот поворот в их взглядах. Возможно, конечно, что, ознакомившись ближе с моим произведением, Гертели нашли его неисполнимым на сцене. Но, с другой стороны, легко допустить, что на них оказали влияние резкие нападки со стороны тех, кто вообще пытался мешать моим начинаниям. Как бы то ни было, я убедился, что мои надежды раздобыть капитал для постройки собственного дома снова рухнули. Тем не менее мои архитектурные работы продолжали двигаться вперед, и отныне я поставил себе целью достать средства для их осуществления.

311

Лозанна. Сестра Клара. Композиции «Зигфрида»

В середине августа истекли те два месяца, которые я должен был пробыть у Вайяна, и 15 числа я покинул его лечебницу, принесшую мне такую пользу. Прежде чем вернуться в Цюрих, я решил заехать к Карлу Риттеру, который на лето поселился с женой в очень скромном одиноком домике под Лозанной. Однажды они посетили меня в Морне, и я стал убеждать Карла провести здесь курс водолечения. Но после первого опыта он заявил, что даже

самые успокаивающие методы гидропатии действуют на него раздражающим образом. Если не считать этого разногласия, по многим другим вопросам мы пришли с Карлом к полному единомыслию, и к осени он обещал вернуться в Цюрих.

Затем я отправился домой в почтовой карете, а не по железной дороге, во избежание новых неприятностей с Фипсом. К моему приезду вернулась и Минна, лечившаяся в Зелисберге сывороткой. Дома я еще застал сестру Клару, которая одна из всех родственников навещала меня в моем швейцарском убежище. Мы вместе отправились в издавна любимый мною Бруннен на Фирвальдштетском озере, где мы имели возможность полюбоваться чудесным вечером, великолепным закатом солнца и другими красотами альпийского ландшафта. С наступлением ночи, когда над озером взошла полная луна, я, благодаря восторженному вниманию хозяина ныне очень посещаемой гостиницы полковника Ауф-дер-Мауера, стал предметом очень милой овации. К берегу реки, где стояла наша гостиница, на двух больших, освещенных пестрыми лампочками лодках подъехал брунненский духовой оркестр, состоявший из местных любителей. Не беспокоя себя излишним стремлением к сыгранности, музыканты с чисто швейцарской безыскусственностью громко и внятно сыграли несколько моих вещей. Затем последовали чья-то короткая приветственная речь, мой добродушный ответ и обмен сердечными рукопожатиями. В последующие годы я часто бывал в этих местах, и всякий раз кто-нибудь неизменно по-приятельски здоровался со мной, сопровождая рукопожатие приветственным возгласом. Я обыкновенно недоумевал, не понимая, что, собственно, нужно от меня этим людям. Но оказывалось, что я имею дело с одним из тех музыкантов, которые в тот славный вечер столь мило выразили мне свое расположение.

Сестра Клара довольно долго пробыла в Цюрихе и этим внесла оживление в нашу семейную жизнь. Из всех моих братьев и сестер Клара была единственной истинно музыкальной натурой, и я очень охотно проводил с ней время. Меня радовало, что благодаря ее присутствию быстро утихали те вспышки личного раздражения, к которым Минна постоянно давала повод своими резкостью, недоверчивостью и упрямством, обостренными сердечной болезнью. В октябре предполагался приезд Листа. На этот раз он должен был пробыть в Цюрихе более продолжительное время. Однако ожидать его показалось мне слишком утомительным, и я решил приступить к композиции «Зигфрида». 22 сентября я сделал общий набросок.

Но тут меня стало преследовать одно из главных несчастий моей жизни. Против нашего дома поселился жестяных дел мастер, по целым дням изводивший меня своим оглушительным стуком. Глубоко огорченный невозможностью создать себе изолированное, защищенное от всякого шума помещение, я решил отложить работу до тех пор, пока мне не удастся осуществить это свое давнишнее, непременное желание. Гнев на соседа дал мне в минуту вдохновения мотив для яростной выходки Зигфрида против «несносного кузнеца» Миме. Я немедленно сыграл Кларе в g-moll детски-сварливую, шумную тему и тут же с бешенством спел соответствующие слова. Все это вызвало у меня и у домашних взрыв веселого смеха, и я решил продолжать работу. Действительно, мне удалось написать значительную часть первой сцены, когда 13 октября получил сообщение о приезде Листа.

312

Недоразумение между Риттером и Листом

Он явился сперва один и тотчас же внес в мой дом большое оживление по части музыки. Он успел уже закончить

свои симфонии «Фауст» и «Данте» и сыграл мне их на рояле по партитуре. Его исполнение было поистине чудесно. Будучи уверен, что Лист достаточно убедился в огромном впечатлении, произведенном на меня обеими вещами, я счел себя вправе откровенно указать ему на промахи в конце дантовской композиции. Для меня самым убедительным свидетельством замечательной силы Листа в области поэтических концепций являлся первоначальный финал симфонии «Фауст», нежный и благоуханный, с последним всепобеждающим воспоминанием о Гретхен, чуждый всякого стремления насильственно привлечь внимание слушателя. Совершенно также, казалось мне, был первоначально задуман эпилог дантовской симфонии, в котором «Рай» благодаря нежному вступлению Magnifi cat был опять-таки намечен лишь мягким, кротким, уносящим аккордом. Тем сильнее был мой испуг, когда я увидел, что этот прекрасный замысел нарушен заключением, которое, как сказал мне Лист, должно было изображать Domenico. «Нет, нет! — воскликнул я. — Не нужно этого! Долой! Оставь державного Господа! Останемся при мягком, благородном аккорде вознесения!» «Ты прав, — ответил Лист, — я говорил то же самое, но княгиня настроила меня иначе. Теперь будет по-твоему!» Это было прекрасно. Но тем сильнее было мое огорчение впоследствии. Оказалось, что уцелел не только этот финал «Данте», но что изменению подвергся и столь понравившийся мне эпилог «Фауста»: в него были введены хоры, имевшие задачей придать ему более эффектный характер. Вот как складывались мои отношения к Листу и его приятельнице Каролине Витгенштейн.

В скором времени ожидался приезд самой княгини Витгенштейн и ее дочери Марии. Для их приема были сделаны все необходимые приготовления. Незадолго до этого в моем доме произошло неприятное столкновение

между Листом и Карлом Риттером. Листа, по-видимому, раздражала самая наружность Риттера, особенно же злила его манера Карла безапелляционно выражать свое несогласие с собеседником. Однажды вечером Лист импонирующим тоном заговорил о заслугах иезуитов и был неприятно задет бестактной улыбкой Карла по поводу его слов. За столом разговор коснулся французского императора Луи-Наполеона. Лист хотел заставить нас признать заслуги Наполеона, тогда как мы не склонны были лестно отзываться о французских делах. Желая представить в выгодном свете значение Франции для европейской культуры, Лист, между прочим, упомянул о Французской академии, что снова вызвало фатальную усмешку Карла. Это вывело Листа из себя, и у него вырвалась приблизительно следующая фраза: «Не признавать этого могут только павианы, а не люди». Я рассмеялся, улыбнулся и Карл, но на этот раз крайне смущенно: как я узнал потом от Бюлова, Риттера во время горячих юношеских споров иногда называли Павианом. Вскоре стало ясно, что Карл почувствовал себя жестоко оскорбленным словами, которые позволил себе произнести Herr Doktor, как величал он Листа. Он с негодованием покинул мой дом, чтобы долго не переступать его порога. Через несколько дней Карл прислал мне письмо, в котором ставил следующую альтернативу: либо Лист должен извиниться перед ним, либо, если это невозможно, я должен отказать Листу от дома. Вскоре, к великому своему огорчению, я получил письмо и от почтенной матери Риттера. Она упрекала меня за некорректное поведение по адресу ее сына. По ее словам, я должен был помочь Карлу добиться удовлетворения за неприятность, случившуюся в моем доме. Это на долгое время создало чрезвычайно мучительную натянутость в моих отношениях с близкой мне семьей Риттеров,

ибо я лишен был возможности представить ей весь этот инцидент в истинном его свете. Лист, когда узнал о происшедшей размолвке, был этим очень огорчен и с достойным уважения великодушием сделал первый шаг к примирению, отправившись с визитом к Карлу. Об инциденте не было сказано ни слова. Однако Риттер отдал визит не Листу, а приехавшей в это время княгине Витгенштейн. Делать было нечего. Риттер откололся от нашего общества и перенес свое зимнее пребывание из Цюриха в окрестности Лозанны. Здесь он оставался долгое время.

313

Принцесса Мария

Приезд княгини Каролины с дочерью Марией, основавших свою резиденцию в Hótel Baur, внес много жизни не только в мой скромный дом, но и в город Цюрих вообще. Своеобразное возбуждение, которое вызывала княгиня повсюду, где она ни появлялась, отразилось даже и на моей сестре Кларе, которая оставалась все время у меня. Цюрих внезапно превратился в мировой центр. Усилилось движение экипажей, везде происходили приемы, устраивались обеды, ужины. Откуда-то появилось много интересных людей, о существовании которых мы и не подозревали. Одного музыканта, Винтербергера, считавшего необходимым корчить из себя оригинала, привез еще Лист. А теперь новые интересы привлекли сюда из Винтертура известного шуманианца Кирхнера, который, в свою очередь, не упускал случая выказать себя с какой-нибудь эксцентричной стороны.

Особенно замечательно то, что княгиня сумела вытащить на свет сидевших по своим углам профессоров здешнего университета. То она вела беседы с каждым отдельно, то угощала ими en masse[26] нас всех. Когда во время

[26] В массе (*фр.*).

своих регулярных полуденных прогулок я заходил на минутку в Hótel Baur, я заставал ее обедающей en particulier[27] то с Земпером, то с профессором Кёхли, то с Молешоттом. Даже друг мой Зульцер при всей его странности и самобытности не избег общей участи и, как сам признавался, был до некоторой степени ошеломлен. В обществе княгини царили облегчающие сближение свобода и непринужденность. Особенно отличались уютной задушевностью те менее парадные вечера, когда знакомые собирались у меня, и княгиня с польским патриархальным радушием помогала моей жене хозяйничать за столом. Однажды после музыки около меня образовалась довольно живописная группа из наполовину сидевших на стульях и креслах, наполовину расположившихся на полу гостей, которым я должен был прочесть текст «Тристана и Изольды» и «Победителей».

Но венцом наших маленьких торжеств явился день 22 октября, день рождения Листа, который княгиня отпраздновала с великой помпой. На ее квартире было собрано все, что только мог дать Цюрих. Телеграф принес из Веймара стихотворение Гофмана фон Фаллерслебена, и по приглашению княгини Гервег торжественно прочел его удивительно изменившимся голосом. Затем под аккомпанемент Листа я исполнил вместе с госпожой Гейм первый акт и одну сцену из второго акта «Валькирии». Наше пение произвело хорошее впечатление. Об этом можно было судить по тому, что доктор Вилле шутя выразил желание послушать эти вещи в исполнении плохом: у него возникло опасение, не подкупила ли его в данном случае виртуозность певцов. Кроме того, на двух роялях было сыграно кое-что из симфонических произведений Листа. Во время парадного обеда возник спор о Генрихе Гейне,

[27] В частности (*фр.*).

по адресу которого Лист высказал много нелестных вещей. Возражая ему, госпожа Везендонк спросила, не думает ли он, что имя Гейне тем не менее будет записано в храме бессмертия? Лист быстро ответил: «Да, но грязью», — что, конечно, произвело некоторую сенсацию.

К сожалению, наше общество вскоре расстроилось из-за выступившей у Листа сыпи. В течение некоторого времени он был прикован к постели. Когда он оправился, мы снова засели за рояль с партитурами «Золота Рейна» и «Валькирии». Княжна Мария слушала внимательно и порой приходила на помощь другим, когда встречались трудные для понимания места.

314

Княгине Витгенштейн, по-видимому, очень хотелось выяснить истинный смысл «интриги» «Кольца нибелунга», а именно вопрос о судьбе богов. В один прекрасный день я был приглашен к ней en particulier, как цюрихский профессор: я должен был дать ей разъяснения по этому пункту. Я не мог не убедиться, что ей хотелось постичь именно нежнейшие и глубинные черты моего творчества. Но самое понимание носило у нее характер какой-то арифметики, какой-то математики. В конце концов оказалось, что я как будто давал истолкование вещи, основанной на интриге, во французском смысле этого слова. Живость характера сочеталась у нее с мягкостью и благожелательностью. Когда я однажды заметил ей, что если бы мне пришлось постоянно быть в ее обществе, ее экспансивность уже после первых четырех недель довела бы меня до самоубийства, она чистосердечно рассмеялась мне в ответ.

Глубокое огорчение причинила мне перемена, которая произошла с ее дочерью Марией. За три года, что я не видел ее, она совершенно завяла. Мария была в том возрасте, в котором я по-прежнему мог бы называть ее «дитя».

Однако какие-то тяжелые внутренние переживания прежде времени состарили ее. Только в иные минуты, когда что-нибудь захватывало ее, особенно во время вечерних приемов, она вновь показывала весь блеск, все обаяние своего характера. Помню один удачный вечер у Гервега. Лист играл на отвратительном, расстроенном рояле, приведшем его в такой же восторг, в какой приводили его ужасные сигары, которые он курил тогда с наслаждением, предпочитая более тонким сортам. Он дивно играл на рояле какую-то свою импровизацию: это было не чудо, а колдовство музыкального творчества. Но в эти дни, к большому моему ужасу, чрезмерная раздражительность, придирчивая резкость, как она сказалась в столкновении с Карлом Риттером, прорывалась у Листа несколько раз. Он резко говорил о Гёте, особенно в присутствии княгини. Обмен мнениями об Эгмонте, характер которого он ставил невысоко, потому что тот дал «обмануть» себя герцогу Альбе, чуть не вызвал между нами ссору. Зная, что не следует его раздражать, я сохранял полное спокойствие. Я считался больше с физиологическими особенностями его характера, с его настроением, чем с предметом спора. Никаких столкновений на этой почве между нами не произошло. Но я сохранил неясное предчувствие, что когда-нибудь дело дойдет до серьезного конфликта, и это будет ужасно. Это и заставляло меня сдерживаться, хотя моя вспыльчивость и нервность были достаточно хорошо известны моим друзьям.

315

Концерт в Сен-Галлене. 27 ноября 1856 года

После шестинедельного пребывания моих друзей в Цюрихе мы заехали на восемь дней в Сен-Галлен, куда нас пригласил молодой музикдиректор Шадровский для участия в концерте тамошнего общества.

Мы остановились в гостинице Zum Hecht[28], и княгиня распоряжалась в ней как хозяйка. Мне с женой она велела отвести комнату рядом с той, которую занимала сама, что, однако ж, имело в ту ночь весьма неприятные для нас последствия. Княгиня страдала тяжелыми нервными припадками, и чтобы рассеять ее мучительные галлюцинации, Марии приходилось читать ей вслух громким голосом всю ночь напролет. Такое чтение привело меня в страшное волнение, и я был глубоко возмущен непонятной для меня неделикатностью, какую княгиня проявляла в данном случае по отношению к соседям, нуждавшимся в покое. Ночью в два часа я встал с кровати, продолжительным звонком разбудил кельнера и потребовал, чтобы мне предоставили другой номер в противоположном конце гостиницы. Мы покинули нашу комнату: соседки заметили это, но ничем не отреагировали на наш переезд. Меня очень удивило, когда на следующее утро Мария, сохраняя невинное выражение, ни словом не упомянула о ночной кутерьме. Я узнал, что лица, окружающие княгиню, уже привыкли к подобного рода эксцессам с ее стороны.

Вскоре гостиница стала наполняться приглашенными. Приехали Гервег с женой, доктор Вилле с женой, Кирхнер и многие другие. В конце концов Zum Hecht не уступал Hótel Baur в смысле оживления и шума. Весь этот наплыв публики был вызван, как я уже говорил, приятными концертами сен-галленского Музыкального общества. Лист разучивал с оркестром две свои композиции: «Орфей» и «Прелюды», и его мастерство доставило мне истинное наслаждение. Несмотря на очень скромный состав исполнителей, он провел эти вещи прекрасно, с большим подъемом. Больше всего меня радовала его оркестровая

---

[28] «У Щуки» (*нем.*).

пьеса «Орфей», написанная с большой художественной законченностью. Еще прежде, прослушав ее впервые, я сразу решил отвести ей особенно почетное место среди композиций Листа. Публике же чрезвычайно понравились «Прелюды», большая часть которых была повторена.

Я дирижировал «Героической симфонией» Бетховена, и мне пришлось за это жестоко поплатиться, так как, по обыкновению, я простудился и потом сильно страдал от лихорадки. На Листа, мнение которого меня только и интересовало, моя передача Бетховена произвела очень глубокое впечатление. Он верно понял мой замысел. Чутко и проникновенно мы слушали то, что каждый из нас исполнял на этом концерте. Затем мы были приглашены на банкет, на котором ораторами из среды достопочтенных бюргеров Сен-Галлена было произнесено несколько очень красивых и серьезных речей. В них указывалось на то, какое значение для местной жизни имеет наш приезд. Один поэт прочел мне панегирик, и я с искренним волнением, серьезно ответил ему целой речью. Восторженное настроение Листа дошло до того, что он поднял бокал за образцовую постановку «Лоэнгрина» в Сен-Галленском театре, что не вызвало никаких возражений со стороны присутствующих. На следующий день, 24 ноября, мы все собрались на торжественном приеме у местного богатого купца Бурита, главного любителя музыки в Сен-Галлене. Конечно, Лист сыграл нам, между прочим, большую сонату B-dur Бетховена, после чего Кирхнер искренне, но в свойственном ему сухом тоне заявил, что все мы пережили нечто совершенно непостижимое: нельзя поверить, что услышанное действительно возможно. Это был день двадцатой годовщины моей свадьбы, и друзья мои устроили шествие, нечто вроде торжественного полонеза, по разным комнатам под звуки свадебной музыки из «Лоэнгрина».

Несмотря на все приятные стороны нашего пребывания в Сен-Галлене, меня все же стало тянуть домой, в мою уютную, спокойную квартиру. Но нездоровье княгини заставило Листа на несколько дней отложить свой отъезд в Германию, и я принужден был бесполезно терять время. Наконец 27 ноября я проводил моих гостей в Роршах, на пароход, где и распрощался с ними. С тех пор я больше не видел ни княгини, ни ее дочери, и думаю, что мне никогда уже не придется встретиться с ними.

316

Первый акт «Зигфрида»

Я покинул своих друзей не без опасений за их судьбу. Княгиня была серьезно больна, а Лист имел очень утомленный вид. Я советовал им поехать прямо в Веймар, отдохнуть и поправиться. К величайшему удивлению, я узнал, что из Сен-Галлена они на довольно продолжительное время отправились в Мюнхен, где их ждали новые художественно-артистические наслаждения и светские удовольствия. Я решил, что мои советы не могут оказать влияния на людей такого склада души. В свою цюрихскую квартиру я возвратился страшно усталый, страдая от бессонницы и холода, опасаясь, как бы мой образ жизни не вызвал нового припадка рожи. Но, к восторгу моему, я проснулся на следующий день совершенно здоровым, хваля превосходного врача Вайяна, искусство которого всегда вызывало горячую признательность с моей стороны. Вскоре я поправился настолько, что в начале декабря мог взяться за композицию «Валькирии».

Я вернулся к прежнему образу жизни, с внешней стороны ничем не ознаменованному: работа, продолжительные прогулки, чтение, по вечерам беседы с кем-либо из старых друзей. Отголоски ссоры с Риттером из-за столкновения

с Листом продолжали меня огорчать. Я совершенно потерял из виду моего молодого друга, к которому одно время чувствовал такую близость. Он покинул Цюрих зимой, даже не повидавшись со мной.

В течение января и февраля 1857 года я закончил партитуру первого акта «Зигфрида», во всех деталях, имея перед глазами простой набросок карандашом. Вслед за тем я приступил к инструментовке его, не прерывая лечения по рекомендованному Вайяном методу; в увлечении им я, по-видимому, зашел слишком далеко. Опасаясь нового припадка рожи, я старался оградить себя от болезни регулярно, каждые восемь дней, повторяемыми потогонными ваннами и холодными обтираниями по гидропатической системе. И это мне удалось. Но такое лечение настолько утомило меня физически, что я с тоской ждал возвращения более теплых дней, которые позволили бы мне ослабить режим, предписанный врачом.

Источником невероятных страданий сделались шум и музыка, доносившиеся из квартир моих соседей. Кроме кузнеца, которого я смертельно ненавидел — раз в неделю дело доходило у нас до самых решительных объяснений, — мне казалось, что вокруг моего дома практически все обзавелись роялями. К ним примешалась еще в конце концов и флейта, на которой по воскресным дням играл мой сосед, господин Штокар. Но я дал себе клятву продолжать писать свою музыку. И вот в один прекрасный день из Парижа, где они пробыли довольно долго, возвратились мои друзья Везендонки и раскрыли предо мной радостные перспективы.

Мои заветные мечты о подходящей для меня квартире оказались осуществимыми. Уже и раньше Везендонк имел намерение построить для меня небольшой домик на участке земли, выбранном мною же. Планы, разработанные с артистической законченностью, были переданы

на рассмотрение архитектору. Однако приобретение необходимого участка земли представляло значительные затруднения. На склоне холма, отделяющего общину Энге у Цюрихского озера от Зильталя, я давно уже, во время моих прогулок, заметил небольшой домик, который назывался «Дом Лафатера», так как он когда-то принадлежал знаменитому френологу и часто посещался им. Я просил моего друга Хагенбуха пустить в ход все дипломатические таланты и разузнать, каким образом можно было бы приобрести здесь за дешевую цену несколько акров земли. Но тут-то и возникли большие затруднения. Участок был связан с владениями разных собственников, и потому, чтобы приобрести его, пришлось бы войти в соглашение со многими лицами. Я рассказал об этом печальном обстоятельстве Везендонку и возбудил в нем желание купить этот большой участок и построить на нем виллу для своей семьи. Небольшой уголок предполагалось уделить мне. Оборудование виллы и постройка дома, который должен был отличаться удобством и изяществом, заняли у него все свободное время. Кроме того, он находил, что жизнь двух семейств в близком соседстве, на одном и том же дворе, может привести с течением времени к взаимным неудобствам.

Ему удалось отыскать очень скромный деревенский домик, отделенный от его виллы узкой проезжей дорогой. Я уже раньше обратил на него внимание. Везендонк решил его приобрести, и сообщение об этом обрадовало меня выше всякой меры. Тем больше испугался Везендонк, ведший переговоры относительно покупки земельного участка с необыкновенной осмотрительностью, когда узнал, что владелец его продал землю третьему лицу. К счастью, покупателем оказался какой-то психиатр, намеревавшийся рядом с виллой Везендонка построить дом

для умалишенных. Это известие внушило Везендонку такой ужас, что он решил во что бы то ни стало добиться покупки выбранного участка. В конце концов, после долгих досадных переговоров, участок перешел во владение моего друга. Я мог поселиться в домике, предназначенном для меня, с платой 800 франков в год — суммы, которую стоила мне квартира на Цельтвеге.

317

«Тангейзер» в Вене

Устройство домика, с начала весенних месяцев поглотившее все мое внимание, принесло мне немало неприятностей. Необходимо было поставить печи и вообще приспособить его для жизни зимой. Хотя владелец сделал со своей стороны все необходимое, все же оставалось достаточно поводов для хлопот, которые вследствие постоянных моих столкновений с женой и нашей материальной необеспеченности сделались источником непрекращающихся неприятностей. Но время от времени судьба баловала меня благоприятными известиями, которые у людей с сангвиническим темпераментом могли бы вызвать надежду на будущее. Несмотря на то что постановки «Тангейзера» в Берлине были плохи, они приносили хороший доход. В Вене тоже стали почему-то интересоваться моим произведением. Придворный театр по-прежнему ничего не хотел знать о «Тангейзере», и меня уверяли, что пока императорский двор будет находиться в Вене, не приходится и думать о постановках моих «крамольных» опер. Такое положение дел внушило Гофману, директору Театра в Йозефштадте, бывшего когда-то директором в Риге, смелость решиться со специально для этой цели приглашенной труппой поставить «Тангейзера» в большом загородном летнем театре в Лерхенфельде, им построенном. За каждый

спектакль, разрешенный мной, он предлагал тантьему в 100 франков. Когда Лист, которому я сообщил о планах Гофмана, выразил сомнение относительно солидности этого предприятия, я написал ему, что готов подражать Мирабо, который, не будучи выбран в собрание нотаблей своими согражданами, представился жителям города Марселя в качестве Marchand de drap[29]. Мое сравнение понравилось Листу, и «Тангейзер» благодаря стараниям директора летнего театра действительно был поставлен в резиденции австрийского императора. Об исполнении оперы мне рассказывали самые странные вещи. Зульцер, который проездом посетил Вену и побывал на представлении «Тангейзера», жаловался на темноту, царившую в зрительном зале и мешавшую читать либретто, а также и на то, что дождь просачивался сквозь крышу. Совершенно другое мнение я услышал несколько лет спустя от зятя вдовы композитора Герольда, [автора «Цампы»], который, совершая свадебное путешествие, посетил Вену и Лерхенфельдтский театр. Он уверял, что, несмотря на все недочеты, венская постановка стояла на большой художественной высоте и произвела на него гораздо более отрадное впечатление, чем несравненно менее удачное берлинское исполнение «Тангейзера», виденное им затем. Энергичная пропаганда «Тангейзера», которую предпринял бывший рижский директор, принесла мне за двадцать спектаклей 2000 франков. При таком неожиданном успехе, доказавшем с несомненной очевидностью, что я пользуюсь известной популярностью среди публики, был вполне извинителен оптимизм, с каким я возложил надежды на возможность извлечь из моего произведения хорошие доходы и в будущем.

[29] Продавец сукна (*фр.*).

318

Великая герцогиня Баденская

Несмотря на хлопоты, связанные с устройством домика и инструментовкой «Зигфрида», я вновь погрузился в изучение философии Шопенгауэра и с особенным увлечением читал романы Вальтера Скотта. Кроме того, я был серьезно занят изложением моих взглядов на композиции Листа. Для этой цели я избрал форму письма к Марии Витгенштейн. Статью я опубликовал в Музыкальной газете Бренделя.

Когда наконец приблизился день переезда в новое, как я тогда полагал — последнее, обиталище, я стал раздумывать о том, как упрочить свое материальное положение. Еще раз вступил я в переговоры с Гертелями по поводу издания «Кольца нибелунга». Но владельцы фирмы очень сухо и неохотно отвечали на мои предложения. Я излил свои жалобы в письме к Листу и высказал ему откровенно свое намерение довести до сведения Великого герцога Веймарского, который, по словам моего друга, продолжал считать себя покровителем всего моего предприятия с «Нибелунгами», о моих затруднениях с издателями. Я обращал его внимание на то, что музыкальная фирма, не обладающая значительными денежными средствами, вряд ли возьмет на себя печатание подобного рода произведения, и потому вполне естественно с моей стороны просить помощи у герцога, который считает для себя делом чести содействовать осуществлению моего замысла. Я мог ожидать, что он примет на себя заботу об устранении всех препятствий, связанных с такого рода работой. Мне хотелось, чтобы герцог откупил у меня вместо Гертеля мои партитуры и выплачивал гонорар по мере того, как я буду двигаться вперед. Таким образом, он сделался бы собственником «Нибелунгов» и впоследствии смог бы возвратить

затраченную сумму, переуступив свои права какому-либо издателю. Лист вполне понял меня, но не счел нужным рассеять мои надежды на Его Королевское Высочество.

Но зато мое внимание обратила на себя Великая герцогиня Баденская. Уже несколько лет назад герцог Баденский пригласил на пост директора придворного театра в Карлсруэ Эдуарда Девриента. Со времени моего отъезда из Дрездена я оставался с ним в постоянном, хотя и прерывавшемся иногда на долгое время общении. В одном из своих писем он с большой похвалой отозвался о моих работах «Произведение искусства будущего» и «Опера и драма». О театре в Карлсруэ он говорил как о театре, не обладающем необходимыми художественно-артистическими средствами для тщательной инсценировки моих опер. Но вдруг обстоятельства изменились в мою пользу после женитьбы герцога на дочери принцессы Прусской. Молодая герцогиня была знакома с моими произведениями благодаря моей старой приятельнице, Альвине Фромман и, заняв самостоятельное положение, стала настойчиво требовать исполнения моих опер на сцене местного театра. Они действительно были поставлены, и из рассказов Девриента я узнал, какой большой интерес герцогиня проявляла к моей музыке, присутствуя даже на репетициях. Все это произвело на меня очень отрадное впечатление. Без особого внешнего повода я написал благодарственное письмо герцогине и приложил к нему в качестве подношения для ее альбома «Прощание Вотана» из заключительной сцены «Валькирии».

319

«Приют»

Наступило 20 апреля, и волей-неволей я должен был покинуть свою квартиру на Цельтвеге, которая была уже сдана другому лицу. Но помещение мое далеко еще

не было готово. Посещая в суровую погоду небрежно отделанный рабочими домик, мы простудились. В отвратительнейшем настроении мы переселились на неделю в гостиницу, и я стал раздумывать о том, стоит ли вообще переезжать отсюда: мной внезапно овладело предчувствие, что и этот домик мне придется покинуть для дальнейших скитаний. Однако в конце апреля, невзирая ни на что, мы переехали из гостиницы. Было холодно и сыро, новые печи не прогревали комнат. Я и Минна расхворались и принуждены были лечь в постель. Но зато я получил очень сердечное письмо от госпожи Юлии Риттер, в котором она просила забыть о нашем взаимном отчуждении из-за резкой выходки ее сына. Это было добрым предзнаменованием.

Вскоре наступили прекрасные весенние дни. Утром в Страстную пятницу я в первый раз проснулся в новом домике, разбуженный ярким светом солнечных лучей. Садик весь расцвел, пели птицы. В первый раз я вышел на балкон, чтобы насладиться долгожданной тишиной, полной таинственного смысла. В таком настроении я вспомнил вдруг, что сегодня Страстная пятница, вспомнил, как сильно меня растрогали стихи Вольфрама в «Парсифале», посвященные этому дню. Со времени Мариенбада, где я впервые задумал «Мейстерзингеров» и «Лоэнгрина», я никогда больше не возвращался к этой теме. Теперь я почувствовал идеальное значение слов Вольфрама и, исходя от его мыслей о Страстной пятнице, быстро набросал план целой драмы, разбитой на три акта.

Несмотря на то что обустройство дома еще не было закончено, что оно по-прежнему поглощало все мое внимание, меня все же тянуло к работе. Опять я взялся за «Зигфрида» и приступил к композиции второго акта. Не зная, как назвать приют, мною теперь обретенный,

я, сделав удачное вступление ко второму акту «Зигфрида», в минуту хорошего настроения решил наименовать его соответственно работе: «Приют Фафнера». Я невольно рассмеялся. Однако я назвал свой домик просто «Приютом». Название это я поместил рядом с точной датой на последней странице моей работы.

320

Консул Феррейро

Крушение надежд на помощь Великого герцога Веймарского сильно расстроило меня: я видел перед собой тяжелые затруднения и совершенно не знал, как мне с ними справиться. С другой стороны, мне было сделано фантастическое предложение. В один прекрасный день ко мне явился какой-то господин, носивший фамилию Феррейра, и представился в качестве бразильского консула в Лейпциге. Целью его посещения было сообщение о том, что бразильский император питает особый интерес к моей музыке. Когда я стал выражать свои сомнения на этот счет, он сумел в очень приятной для меня форме разбить мое недоверие. Император, по его словам, любит все немецкое и очень желал бы видеть меня в Рио-де-Жанейро. Ему приятно было бы услышать мои оперы под личным моим управлением. Для этой цели необходимо перевести на итальянский язык мои тексты, так как там имеется лишь Итальянская опера, и это, по его мнению, не составит особых затруднений и послужит мне на пользу. Как это ни странно, но высказанные им соображения произвели на меня очень благоприятное впечатление и возбудили во мне желание написать музыкальную поэму на тему, проникнутую страстью, что вполне подходило бы к характеру итальянского языка. Опять в голове мелькнула мысль о «Тристане и Изольде»: она притягивала меня все сильнее

и сильнее. Чтобы выяснить, насколько правдивы рассказы господина Феррейры о великодушном расположении ко мне императора Бразилии, я переслал ему клавираусцуги моих трех первых опер в ценных переплетах и долго ждал особо приятных сюрпризов и щедрых подарков из Рио-де-Жанейро. Однако ни о господине Феррейре, ни об императоре Бразилии я больше ничего не слыхал.

Я узнал только, что и у Земпера были какие-то осложнения с этой тропической страной на почве архитектурных планов. Был объявлен конкурс для постройки оперного театра в Рио-де-Жанейро. Земпер заявил желание участвовать в нем и вычертил прекрасные планы здания, послужившие темой для очень оживленных разговоров. Этим проектом особенно заинтересовался доктор Вилле — проект театра для негритянской аудитории! — это представляло совершенно новую задачу для архитектора. Мне неизвестно, привели ли Земпера отношения с Бразилией к более удовлетворительным результатам, чем мои переговоры с Феррейрой. Во всяком случае, я знаю, что театра в Рио-де-Жанейро он не построил.

321

Мадам Поллерт. Эдуард Девриент

Вследствие сильной простуды я заболел тяжелой лихорадкой. В день рождения я вновь поднялся с постели. Когда я вечером вышел на балкон дома, я услышал где-то невдалеке, к моему изумлению, песню трех дочерей Рейна из последней сцены «Золота Рейна», доносившуюся из-за ограды сада. Это пела госпожа Поллерт — та самая, чья семейная драма помешала когда-то в Магдебурге возобновлению «Запрета любви», всячески и без того затрудненному. Со своими двумя дочерьми она появилась на цюрихском театральном горизонте и провела здесь всю

зиму. Госпожа Поллерт продолжала выступать в качестве певицы и сохранила свой прекрасный голос. Зная ее готовность подчиниться моим указаниям, я предложил ей разучить последний акт «Валькирии», а вместе с дочерьми — сцену дев Рейна из «Золота Рейна». В течение минувшей зимы мы дали нашим друзьям возможность прослушать отдельные отрывки. Сегодня, в день моего рождения, пение друзей глубоко растрогало меня, и я вдруг ощутил какое-то странное нежелание продолжать работу над «Нибелунгами». Меня страстно влекло к «Тристану», мне хотелось сейчас же начать его композицию. Я решил осуществить давнишнюю мечту — взяться за разработку новой темы, которая, как я полагал, только на короткое время отвлечет меня от сложной композиции «Нибелунгов». Но чтобы убедить самого себя, что я прервал работу не потому, что она надоела мне, я решил довести до конца только что начатый второй акт «Зигфрида». Я дописал его в самом лучшем настроении. Но в душе все яснее и яснее выступали образы «Тристана».

До известной степени определяющими мотивами при создании «Тристана» послужили чисто внешние условия, делавшие выполнение новой идеи и привлекательным, и выгодным для меня. Эти мотивы назрели вполне, когда Эдуард Девриент в начале июля посетил меня и остался у меня три дня. Он сообщил, что мое письмо произвело хорошее впечатление на герцогиню Баденскую. Мне казалось, что Девриент имел поручение войти со мной в переговоры относительно постановки какого-либо нового моего произведения. Я сказал ему, что готов прервать работу над «Нибелунгами» и взяться за произведение, по объему и сценическим требованиям предназначенное для постановки на подмостках современного театра, каков он есть.

Но я был бы несправедлив к самому себе, если бы утверждал, что только внешние поводы заставили меня

приняться за «Тристана». Во всяком случае, в настроении, с каким я несколько лет назад приступил к циклу «Нибелунгов», произошел значительный переворот. Тогда я только что закончил мои теоретические работы, в которых старался выяснить причины падения нашего официального искусства, особенно театра, и установить связь между этим явлением и общими культурными условиями современности. Тогда мне казалось невозможным взяться за композицию, которая была бы пригодна для постановки на сцене существующего театра. Только полное разочарование, охватившее меня впоследствии, как я на это уже указывал прежде, заставило меня приступить к разработке прежних художественно-артистических замыслов. Я неизменно считал, что постановка «Кольца нибелунга» может быть осуществлена лишь при соблюдении тех сложных требований, которые я наметил в предисловии к отдельному его изданию. Но все же успех моих старых опер настолько подействовал на мое настроение, что, доведя до середины большую композицию, я все серьезнее и серьезнее стал думать о возможности появления ее на сцене. До этого времени Лист своей верой в помощь герцога Веймарского поддерживал в моем сердце тайную надежду на осуществление моих планов. Но события последних дней показали мне, что эта надежда ни на чем не основана. В то же время во мне укреплялась уверенность, что новая опера в духе «Тангейзера» или «Лоэнгрина» встретила бы повсюду очень теплый прием. Вся концепция «Тристана» и разработка этой темы показывала, что я меньше всего думал о наших оперных театрах и их артистическом уровне. Но, ни на минуту не забывая о необходимости бороться за хлеб насущный, я поддался самообману, поверив, что перерыв в композиции «Нибелунгов» и разработка темы «Тристана» есть с моей стороны вполне разумный шаг, достойный практически мыслящего человека.

Девриент очень охотно выслушал мои практические соображения и спросил, на какой сцене я хотел бы поставить оперу. На это я ответил, что имею в виду только такой театр, в котором смогу принять участие в репетициях. Такой театр нашелся бы для меня в Бразилии или — так как территория Германского Союза для меня закрыта — в каком-нибудь городе недалеко от границы, везде, где имеется более или менее хорошо поставленная оперная сцена. Я наметил Страсбург. Но Девриент решительно высказался против такого решения. По его мнению, гораздо легче и с гораздо большим успехом можно будет осуществить постановку моей оперы в Карлсруэ. Я возразил только одно, что там я буду лишен возможности присутствовать во время разучивания произведения. Но именно относительно этого пункта Девриент уверил меня, что ввиду расположения ко мне герцога Баденского, готового принять энергичное участие в моих делах, я могу питать самые оптимистические надежды. Все это было очень приятно слышать. С большим интересом я узнал от Девриента о теноре Шнорре, который обладает прекрасным голосом и питает большие симпатии к моим произведениям.

В наилучшем настроении я старался выказать себя перед Девриентом особенно любезным хозяином. Однажды утром я пропел и прочитал ему все «Золото Рейна», по-видимому, очень ему понравившееся. Наполовину серьезно, наполовину шутя я сказал ему, что, набрасывая партии Миме, я надеялся, если мы только доживем до этого, увидеть его в данной роли. Заодно я решил воспользоваться пребыванием у меня Девриента и устроить ему вечер декламации. Я пригласил друзей, в том числе Земпера и Гервега. Девриент прочел Антония из «Юлия Цезаря» очень хорошо, и даже Гервег, который относился к такому чтению с априорной насмешкой, признал,

что законченность актерской техники должна была произвести впечатление на слушателей. За моим столом Девриент написал герцогу Баденскому о моих планах и о нашей встрече. Вскоре после его отъезда я получил очень для меня отрадное собственноручное письмо герцога, в котором он высказывал искреннюю признательность за присланный его супруге отрывок для ее альбома и вместе с тем вполне определенно выражал желание принять участие в моей судьбе и особенно оказать содействие в вопросе о разрешении мне вернуться в Германию.

С этих пор вопрос о разработке «Тристана» был решен для меня окончательно. Приезд Девриента и связанные с ним события надолго поддержали во мне хорошее настроение, благодаря чему я мог довести до конца партитуру второго акта «Зигфрида». Ежедневно в солнечные послеобеденные часы я гулял по уединенному Зильталю. Долго и внимательно я прислушивался к пению птиц, причем, к удивлению своему, узнал новые их породы, совершенно мне неизвестные. То, что я запомнил из их мотивов, я перенес в художественной обработке в лесную сцену «Зигфрида». В начале августа я закончил тщательно разработанный эскиз второго акта. Я радовался, что впоследствии, когда возьмусь за продолжение работы, мне придется начать с третьего акта, с пробуждения Брюнгильды. Мне казалось, что все проблематичное уже преодолено, что отныне мне предстоит испытывать одни только наслаждения.

322

«Тристан». Козима

Итак, твердо убежденный в целесообразном распределении своих творческих сил, я намеревался приступить к композиции «Тристана». Но как бы для того чтобы

испытать мое терпение, из Лондона приехал Фердинанд Прэгер! Это был прекрасный человек, и своим посещением, в сущности говоря, он доставлял мне истинную радость, так как я убедился в его испытанной и преданной дружбе. К сожалению, он внушил себе мысль, что страшно нервен, что судьба преследует его, а так как при самом добром желании я не находил никаких слов сочувствия, то жалобы его до известной степени стали меня тяготить. Я постарался развлечь его поездкой в Шаффхаузен, где впервые увидел знаменитый Рейнский водопад, произведший на меня довольно сильное впечатление.

Кроме того, Везендонки переехали наконец в свою виллу, отделанную парижскими штукатурами и обойщиками. Отныне я вступил в новую, не особенно значительную фазу знакомства с этой семьей, во многом изменившую внешний характер моей жизни. Благодаря близости наших домов отношения наши делались более и более тесными, уже по одному тому, что общение поддерживалось разными повседневными мелочами. Я стал замечать, что Везендонк — и он выражал это честно и откровенно — тяготился моим постоянным присутствием в его доме. В степени прогрева помещения, в освещении, в выборе времени обеда приходилось считаться со мной. А это, по его мнению, нарушало его хозяйские права. И вот после нескольких интимных разговоров между нами установилось полумолчаливое, полувыраженное дружеское соглашение, у посторонних возбуждавшее недоверие к характеру наших отношений. Мы оказывали друг другу особое внимание, что временами не могло не забавлять нас обоих: тайна нашего взаимного обращения была для нас ясна.

Благодаря случайному стечению обстоятельств сближение с моими соседями совпало с началом разработки «Тристана и Изольды». Вскоре в Цюрих прибыл Роберт Франц, произведший на меня хорошее впечатление своим

симпатичным характером. Его приезд рассеял мои опасения относительно серьезности того конфликта, который вызвало его выступление в защиту «Лоэнгрина». Оно привело к некоторым осложнениям, когда тесть его, Генрих, опубликовал обо мне отдельную брошюру. Мы музицировали вместе. Он аккомпанировал мне при исполнении некоторых его песен. Музыка «Нибелунгов» понравилась ему. Когда, однако же, собираясь провести несколько часов в его обществе, мы пригласили его на обед, он выразил желание, чтобы на этот раз у Везендонков не было никого — он боялся, что рядом со мной ему придется стушеваться, а ему хотелось сосредоточить на себе внимание хозяев. Мы много шутили по этому поводу, и я охотно подчинился его желанию: на некоторое время я был избавлен от необходимости поддерживать разговор с таким скупым на слова и сухим собеседником, как Франц. Он уехал от нас, и в дальнейшем я не имел о нем никаких вестей.

Когда я почти довел до конца первый акт текста «Тристана», в Цюрих приехала молодая чета, имевшая особые права на мое внимание. В начале сентября в гостинице Zum Raben[30] остановился Ганс фон Бюлов со своей молодой женой Козимой, дочерью Листа. Я пригласил их переселиться в мой маленький домик. Здесь они провели в качестве моих гостей — желание видеть меня главным образом и привело их в Цюрих — довольно продолжительное время.

Месяц сентябрь прошел очень оживленно. Я закончил текст «Тристана», и он тотчас же был переписан Гансом. Отдельные акты я читал своим друзьям. Затем я решил собрать их всех вместе и прочесть им вещь целиком. Это чтение произвело на них сильное впечатление. Госпожа

---

[30] «У ворона» (*нем.*).

Везендонк была особенно взволнована содержанием последнего акта. Я утешал ее, говоря, что нечего горевать, что серьезные драмы кончаются именно так, как у меня в «Тристане», в чем Козима совершенно согласилась со мной. В общем, мы музицировали много, ибо в Бюлове я нашел подходящего исполнителя для безумно трудных клавираусцугов моей партитуры «Нибелунгов». Даже в моих композиционных эскизах обоих актов «Зигфрида» Ганс сумел быстро разобраться: он играл, как по настоящему клавираусцугу. По обыкновению, я пел все партии. Иногда к нам присоединялись несколько слушателей, среди которых госпожа Вилле проявила наиболее чуткое понимание моей музыки. Козима слушала с поникшей головой, не давая ничем чувствовать свое присутствие. Если к ней обращались с настойчивым вопросом, она отвечала слезами.

В конце сентября мои молодые друзья покинули меня и переехали на место своего постоянного жительства, в Берлин. Там они хотели устроить свой семейный очаг.

323

Первый акт «Тристана»

Наше частое музицирование было своего рода реквиемом для моих «Нибелунгов», так как я окончательно отложил их в сторону. При дальнейших дружеских встречах я вынимал желтеющие листы, напоминавшие о прерванной работе. В первых числах октября я начал композицию «Тристана» и первый акт его закончил к Новому году. Уже раньше я инструментовал прелюдии. Во время работы над «Тристаном» меня охватило мечтательно жуткое настроение. Постоянные занятия, продолжительные прогулки, несмотря на холод и непогоду, чтение Кальдерона по вечерам — таково было распределение рабочего дня,

и я очень недружелюбно относился ко всему, что могло нарушить этот распорядок. Сношения с внешним миром ограничивались одними переговорами с нототорговцем Гертелем относительно издания «Тристана». Я написал ему, что в противоположность грандиозному «Кольцу нибелунга» я задумал более удобное для постановки произведение, требующее только двух-трех певцов. Гертель охотно пошел навстречу моему предложению, и я рискнул попросить у него 400 луидоров гонорара. В ответ на это я получил от него письмо, в котором он просил меня вскрыть прилагаемый конверт, содержащий его предложения, только в том случае, если я считаю возможным отказаться от моих требований гонорара, так как новое мое произведение он не находит легко исполнимым. В закрытом конверте я нашел проект договора. Он предлагал мне всего 100 луидоров, но обязывался через пять лет разделить со мной доходы с издания или откупить у меня мои права за дополнительный гонорар такой же величины. Я принужден был согласиться на его условия и занялся инструментовкой первого действия, чтобы иметь возможность немедленно поактно отдать партитуру в печать.

324

Келлер и Земпер. Лирический театр

Кроме того, меня в ноябре интересовал кризис на американском денежном рынке. В продолжение нескольких тревожных недель все состояние Везендонков висело на волоске. Вспоминаю, что мучительная неизвестность положения переносилась Везендонками в высшей степени мужественно. Но разговоры о возможной продаже усадьбы, дома, лошадей неизбежно придавали нашим вечерним собраниям унылый характер. Везендонк уехал, чтобы посоветоваться с различными иностранными банкирами.

Моя жизнь текла обычным порядком: по утрам я занимался «Тристаном», а по вечерам читал Кальдерона. С тех пор как я при помощи произведений Шака достаточно подготовился к пониманию испанской драматической литературы, он производил на меня глубокое, сильное впечатление.

Наконец, американский кризис прошел благополучно. Оказалось, что состояние Везендонков значительно увеличилось. Зимними вечерами я снова читал «Тристана» расширившемуся кругу друзей. Готфриду Келлеру нравилась сжатая форма произведения, в тесных рамках трех вполне законченных сцен. Но Земпер был недоволен: он ставил мне в упрек слишком серьезное ко всему отношение. По его мнению, сущность художественной трактовки подобного предмета состоит именно в некотором преломлении серьезного элемента: наслаждение выигрывает при этом в своей углубленности. Вот почему ему так нравился моцартовский «Дон Жуан»: трагические типы даны там в обстановке пестрого маскарада, где над всем господствует домино. Я соглашался, что было бы гораздо лучше, если бы на жизнь я смотрел серьезнее, а на искусство несколько легче. Но в данном случае все должно быть как раз наоборот. В результате каждый был чем-нибудь недоволен и неодобрительно качал головой. После того как я вчерне набросал первый акт и сам ближе ознакомился с характером моего музыкального произведения, я невольно посмеялся, вспомнив свое первоначальное намерение сделать из него род «итальянской оперы», и отсутствие известий из Бразилии перестало меня беспокоить.

В конце этого года я сосредоточил все свое внимание на опасностях, угрожавших моим операм в Париже. Оттуда прибыл один молодой автор, обратившийся ко мне с просьбой поручить ему перевод «Тангейзера» ввиду намерения директора Лирического театра, господина

Карвальо, поставить оперу в Париже. Известие это испугало меня, так как мои права собственности не были обеспечены во Франции и всякий мог распоряжаться ими по своему усмотрению. О том, как в этом Лирическом театре ставят оперы, я узнал из недавнего отчета о представлении веберовской «Эврианты». Ради каких-то целей ее подвергли возмутительной переработке, или, вернее сказать, искажению. Так как старшая дочь Листа Бландина недавно вышла замуж за известного адвоката Э. Оливье — обстоятельство, обеспечившее мне серьезную помощь в моем деле, — я немедленно принял решение съездить на неделю в Париж и лично убедиться в справедливости дошедшего до меня известия о постановке оперы и во всяком случае обеспечить себе законом предусмотренную полную неприкосновенность моих авторских прав во Франции. Я был в крайне удрученном настроении, чему более всего способствовало переутомление, вызванное продолжительными работами. Земпер был прав, упрекая меня в слишком серьезном отношении к делу, прав постольку, поскольку такое отношение требовало страшной затраты душевных сил. Свидетелем тогдашних моих переживаний, под влиянием которых мне опротивели все мирские заботы, является, насколько припоминаю, письмо мое к старому другу Альвине Фромман, писанное в канун 1858 года.

325

Поездка в Париж. Увертюра «Тангейзера»

К началу 1858 года я до такой степени ясно почувствовал потребность некоторого перерыва в работе, что одна мысль приняться сейчас же за инструментовку первого акта «Тристана и Изольды» привела меня в ужас. Я не думал еще о поездке в Париж. А в данных условиях жизни ничто не утешало меня больше: Цюрих, дом, друзья. Даже

казавшееся столь приятным близкое соседство семьи Везендонков только усиливало мое плохое самочувствие. Невыносимо тяжело было целые вечера напролет проводить в беседах и разговорах, в которых считал своей обязанностью принимать участие и мой добрый друг Отто Везендонк. Тревожные, мучительные предчувствия, что вскоре в доме все пойдет на иной лад, в большем соответствии с моими, чем с его вкусами, придавали его словам особенную напряженность. Он был похож на человека, который, считая, что им пренебрегают, накидывается на каждый начинающийся разговор и мгновенно тушит его. Скоро все мне стало в тягость.

Лишь один человек замечал мое настроение и обнаруживал некоторое понимание происходящего. Но при таких обстоятельствах участие его не могло меня утешить.

И вот среди жестокой зимы я решил предпринять поездку в Париж, несмотря на то что не располагал в данную минуту никакими деньгами и надо было прибегать к экстренным мерам. Тут проснулась давно дремавшая во мне мысль: уехать и более сюда не возвращаться. Страшно расстроенный, я прибыл 15 января в Страсбург и, не будучи в состоянии ехать дальше, написал Эдуарду Девриенту в Карлсруэ, прося его ходатайствовать перед Великим герцогом, чтобы на обратном пути из Парижа меня встретил в Келе и сопровождал в Карлсруэ его адъютант. Там я хотел познакомиться с певцами, которые должны были петь «Тристана». За дерзкое желание иметь в своем распоряжении герцогского адъютанта я получил от Эдуарда Девриента порядочную взбучку, из чего я увидел, как превратно была истолкована моя просьба. Он думал, что она была вызвана нелепой погоней за почестями, тогда как мной руководили иные побуждения: в качестве опального я не видел иного средства для осуществления в Карлсруэ

моих художественно-артистических целей. Я не мог не посмеяться над происшедшим недоразумением. В то же время меня сильно огорчила мелочность старого друга, ясно показавшая, на что я мог надеяться в будущем.

Желая дать отдых натянутым нервам, в сумерках пошел я бродить по улицам Страсбурга. Вдруг мой взор поразило слово «Тангейзер», стоявшее на театральной афише. Подойдя ближе, я увидел, что имелась в виду только увертюра, которая должна была исполняться перед началом какой-то французской пьесы. Я не мог понять, что это значит, и, конечно, взял билет в театр. Было совсем пусто. Тем полнее казался оркестр, который был размещен прекрасно. Под управлением своего капельмейстера он отлично исполнил мою увертюру. Так как я сидел очень близко в партере, то меня узнал литаврщик, принимавший в 1853 году участие в исполнении моей оперы в Цюрихе. С быстротой молнии весь оркестр облетело и достигло капельмейстера известие о моем присутствии в театре. Все пришло в движение. Немногочисленная публика, очевидно, собравшаяся ради французской комедии и нимало не склонная придавать значение увертюре, была крайне поражена, когда по окончании музыкального номера оркестр с дирижером во главе обратился в мою сторону, приветствуя меня восторженными аплодисментами. Я встал и сделал ответный поклон. С любопытством устремились на меня взоры присутствующих, когда после этой сцены я поднялся и направился к выходу, чтобы отыскать и достойным образом поблагодарить капельмейстера. Последний — страсбуржец, господин Хассельман — оказался очень добродушным, благожелательным человеком. Он проводил меня до моей гостиницы и рассказал, между прочим, об интересных обстоятельствах, которые вызвало явившееся для меня неожиданностью исполнение увертюры. Один богатый страсбуржец, большой

любитель музыки, которому жители Страсбурга обязаны сооружением их театра, отказал по завещанию значительный капитал на привлечение солидных сил для оркестра. Еженедельно, перед началом обычных спектаклей, он должен был в полном составе исполнять какое-нибудь серьезное инструментальное произведение. На очереди оказалась увертюра к «Тангейзеру». У меня осталось в памяти испытанное чувство зависти к Страсбургу, давшему миру гражданина, равного которому я не встретил ни в одном из тех городов, где мне приходилось бывать по музыкальным делам, не исключая и Цюриха.

326

Орсини. Оливье. Бландина

В то время как я с капельмейстером Хассельманом беседовал о страсбургских музыкальных делах, в Париже произошло покушение Орсини на императора. Уже на следующее утро, когда я был на пути из Страсбурга в Париж, дошли до меня неясные слухи об этом событии. Когда 16 числа я прибыл в Париж, кельнер отеля сообщил мне все подробности происшествия. Я счел этот случай злостной выходкой судьбы, специально направленной против меня. Казалось, что вот появится мой старый знакомый, агент Министерства внутренних дел, и принудит меня, как политического эмигранта, немедленно покинуть Париж. Я решил, что, поселившись в большом, около этого времени открытом Hótel du Louvre, я буду на лучшем счету у полиции. Вот почему я покинул маленький, темный отель на улице Рю-де-фий-Сен-Тома, где снял комнату в погоне за дешевизной. Собственно говоря, я имел намерение поселиться в давно известной мне гостинице на Рю-ле-Пеллетье. Как раз на этой улице было совершено покушение. Тут искали и задержали преступников.

Удивительно, я мог прибыть в Париж двумя днями раньше и остановиться в этом отеле!

Преклонившись перед спасшей меня неисповедимой судьбой, я стал разыскивать господина Оливье и его молодую жену. В лице первого я приобрел в высшей степени симпатичного и деятельного друга. Узнав о причинах моего приезда в Париж, он охотно предложил мне свои услуги. В один прекрасный день мы отправились к дружески расположенному и, по-видимому, весьма любезному нотариусу. Я передал Оливье с некоторыми оговорками мои авторские права и написал соответствующую доверенность. Хотя от меня и потребовали исполнения тысячи формальностей, но в общем ко мне отнеслись с большой предупредительностью, и благодаря содействию нового друга все обошлось вполне благополучно. Вскоре во Дворце Правосудия, в «Зале потерянных шагов», Оливье представил меня знаменитейшим адвокатам мира, которые прогуливались в мантиях и шапочках. Я разговорился с ними и настолько сошелся, что был вынужден обступившей меня толпе адвокатов объяснить сюжет «Тангейзера». Все это мне очень понравилось.

Не менее удовольствия доставили мне беседы с Оливье о его политических взглядах и общем направлении его мыслей. Он верил только в республику, которая, по его словам, должна снова и навсегда утвердиться после неизбежного свержения владычества Наполеона III. Он и его друзья отнюдь не заходили так далеко, чтобы призывать к революции, они готовились только к одному: не сделаться при неизбежном ее наступлении жертвой интриганов. Принципиально Оливье сочувствовал самым крайним выводам социализма. Он знал и уважал Прудона, но не как политика. Считал он прочным только то, что основано на началах политического переустройства. В области обычного

законодательства, где, в видах общественной пользы, введены некоторые важнейшие меры, ограничивающие злоупотребление частным правом, он уже и сейчас предвидел быстрый прогресс. Он ждал осуществления в недалеком будущем смелых планов равномерного распределения общественных богатств. К моему большому нравственному удовлетворению, я заметил, что сделал большие успехи в смысле совершенствования личного характера, так как мог выслушивать и обсуждать эти мысли и многие другие, не проявляя при этом того раздражения, какое охватывало меня прежде при подобных спорах.

В высшей степени благотворно было в этом случае влияние Бландины, кроткой, ясной и разумно-спокойной женщины, одаренной способностью быстро схватывать сущность вещей. Между нами установилась душевная близость. Мы понимали друг друга с первого слова, о чем бы ни шла речь: о предметах ли, о людях ли, с которыми приходили в соприкосновение.

Настало воскресенье. В этот день назначен был консерваторский концерт, на который друзья мои достали мне билет. До сих пор я бывал только на репетициях. Мне пришлось сидеть как раз в ложе вдовы композитора Герольда, очень симпатичной женщины, которая сейчас же отрекомендовалась мне в качестве горячей сторонницы моей музыки. Сама она, впрочем, почти не была с этой музыкой знакома. Но ей передался энтузиазм ее дочери и зятя, которые, как я уже упоминал раньше, слышали «Тангейзера» в Вене и Берлине во время свадебного путешествия. Все это было крайне приятно. Здесь мне удалось в первый раз слышать исполнение «Времен года» Гайдна, доставившее необыкновенное удовольствие публике. Она считала, очевидно, особенно оригинальными и восхитительными мелизматические каденции, столь несвойственные современной музыке и столь часто завершающие

музыкальные фразы у Гайдна. Конец дня я очень приятно провел в кругу семьи Герольда. Туда пришел поздно вечером один человек, появление которого было событием первостепенной важности. Это был тот самый господин Скюдо, о котором я потом узнал, что в качестве весьма видного музыкального сотрудника Revue des Deux Mondes он оказывал давление на другие журналы в самом неблагоприятном для меня смысле. Любезная хозяйка хотела воспользоваться случаем и, познакомив его со мной, расположить его в мою пользу. Я заявил, что на «салонном вечере» беседы о серьезных вещах неуместны и не достигают цели. Потом я узнал из достоверных источников, что основания, исходя из которых этот господин, не ознакомившись достаточно с предметом, позволяет себе писать против художника, не имеют ничего общего не только с какими бы то ни было убеждениями, но и с вопросом, нравится или не нравится критику данный автор. Радушная семья Герольда поплатилась за проявленное ней расположение ко мне. Скюдо в своем отчете о моих концертах осыпал ее градом насмешек, назвав, между прочим, семьей «ярых демократических принципов».

Здесь я разыскал моего лондонского друга Берлиоза и нашел его в довольно хорошем настроении. Я сообщил ему, что приехал в Париж на самое короткое время с целью немного рассеяться. Он был занят тогда композицией «Троянцев». Чтобы получить представление об этой опере, необходимо было ознакомиться со стихотворным ее текстом, им самим написанным. Он пожертвовал целым вечером, чтобы прочесть мне свое либретто. И самая концепция произведения, и его удивительно сухая и притом театрально аффектированная трактовка произвели на меня отрицательное впечатление. На основании текста я мог судить и о характере музыки, которая должна была его иллюстрировать. Можно себе представить мое отчаяние,

когда я узнал, что Берлиоз считает эту вещь своим капитальнейшим произведением и завершение ее — главной целью своей жизни.

327

Эрар. Инструментовка первого акта «Тристана»

Вместе с Оливье я был приглашен в семью Эрара, где встретил старого друга, вдову Спонтини. Мы провели чудесный вечер. Мне пришлось занимать присутствующих игрой на рояле. Слушатели мои утверждали, что очень хорошо поняли различные отрывки из моих опер, которыми я их угощал, и благодарили за огромное наслаждение. Во всяком случае в стенах этого роскошного салона никогда еще не было столь симпатичного музыкального вечера. Знакомство с любезной M-me Эрар и зятем ее Шеффером, который после смерти ее мужа вел все ее дела, оказалось для меня очень выгодным. Оно гарантировало мне обладание роялем знаменитейшей фабрики. Уже это одно сообщало огромный интерес моей поездке, предпринятой с весьма смутными целями. Перспектива получить инструмент радовала меня до такой степени, что, признав все прочие надежды химерическими, я склонен был в одном этом обстоятельстве видеть истинный смысл всей поездки.

В просветленном настроении я покинул 2 февраля Париж с намерением на обратном пути разыскать в Эперне старого друга Китца. В судьбе этого неудачника принял участие его случайный давнишний знакомый Поль Шандон. Он пригласил его к себе и доставил ему целый ряд портретных заказов. Сейчас же по моем прибытии я попал в гостеприимный дом Шандона, где должен был волей-неволей провести два дня. Здесь я встретил страстного ценителя моих опер, особенно «Риенци», на первом

представлении которого в Дрездене он в свое время присутствовал. Кроме того, я посетил знаменитые винные погреба, тянущиеся на протяжении нескольких миль по скалистой почве Шампани. Китца я застал за писанием портрета. На этот раз, по общему мнению, он должен был довести его до благополучного конца. Портрет сильно интересовал меня. Наконец мне удалось избавиться от никому не нужных бесед и вырваться из гостеприимного дома.

5 февраля я вернулся обратно в Цюрих, письменными приглашениями собрав в этот день у себя всех своих друзей. У меня была масса новых впечатлений, и мне хотелось поделиться ими со своими приятелями. Но лень было делать утомительные и подробные сообщения каждому в отдельности, и я пожелал сразу покончить со всем имевшимся у меня материалом. Среди гостей был и Земпер. Он несколько завидовал моей поездке в Париж и окончательно рассердился, выслушав мои веселые рассказы. При этом он назвал меня «бессовестным баловнем судьбы», очевидно считая огромнейшим несчастьем для себя то, что сам он был прикован к «Цюрихскому гнезду».

Как смеялся я над этой завистью! Мои дела медленно подвигались вперед. Хотя оперы мои давно уже были проданы, но от вырученного капитала оставались небольшие крохи. Так как единственным реальным результатом всех представлений была незначительная сумма денег, мне пришло в голову продать «Риенци» как наиболее пригодную для плохих театров оперу. Прежде, однако, чем предлагать ее, надо было хлопотать о возобновлении ее на сцене, чему сильно препятствовало недавнее покушение Орсини. Не желая ее ставить, дирекции театров ссылались на него. Тем временем я продолжал работать над инструментовкой первого акта «Тристана», отлично сознавая,

что вещь эта встретит тысячу препятствий политического и всякого иного характера. Таким образом, я трудился без определенной цели, почти без всяких надежд на успех.

328

Музыкальное празднество у Везендонков

В марте месяце M-me Везендонк объявила мне, что она хотела бы в день рождения мужа устроить у себя нечто вроде музыкального утра. На эту мысль навело ее музыкальное утро, устроенное зимой, в день ее собственного рождения, при дружеском содействии восьми цюрихских музыкантов. Гордостью виллы Везендонков была небольшая, элегантно отделанная, парижской штукатурной работы лестница, о которой я однажды сказал, что она могла бы пригодиться для музыкальных целей. Это было тогда испробовано в «малых формах». Теперь опыт следовало повторить в более грандиозном виде. Я вызвался сформировать приличный оркестр и исполнить отрывки бетховенских симфоний, преимущественно радостного, светлого характера. Необходимые приготовления к празднику потребовали много времени и не были окончены ко дню рождения. Так дотянули мы до Святой недели — концерт состоялся в один из последних дней марта месяца. Семейный праздник удался как нельзя лучше, оркестр, достаточно полный для бетховенской инструментовки, исполнил с большим успехом под моим управлением избранные и удачно скомбинированные отрывки симфоний. Гости помещались в расположенных поблизости комнатах. Своей необычайностью этот домашний концерт произвел на всех огромное впечатление. Перед началом молоденькая дочь хозяев поднесла мне прекрасную, слоновой кости с резьбой, сделанной по рисунку Земпера, дирижерскую палочку. Первый и единственный полученный

мной почетный подарок. При дирижировании не было, конечно, недостатка в цветах и всевозможной зелени. И когда, по личному моему желанию, мы закончили концерт не шумной, а наоборот, глубоко успокаивающей вещью, Адажио из Девятой симфонии, присутствующие должны были сознаться, что музыкальное утро явилось настоящим событием в жизни цюрихского общества. Друзья мои гордились музыкальным праздником — они были глубоко и радостно взволнованы. На меня же это торжество произвело тяжелое впечатление как напоминание о том, что все возможное в жизни уже достигнуто, что содержание ее уже исчерпано, что тетива лука напряжена до последней степени. Впоследствии жена доктора Вилле сообщила мне, что ее волновали подобные же ощущения.

3 апреля я послал в печать в Лейпциг рукопись партитуры первого акта «Тристана и Изольды». Карандашные наброски инструментовки вступления, обещанные госпоже Везендонк, я отправил последней, приложив к посылке письмецо, где серьезно и спокойно описал ей овладевшее мною тогда настроение. Минна стала подозрительно относиться к нашей соседке и все чаще жаловалась на то, что семья Везендонков не оказывает ей того внимания, на какое она вправе рассчитывать в качестве моей жены. Кроме того, она находила, что госпожа Везендонк, посещая наши собрания, явно показывала, что она находится в гостях у меня, а не у нее. Но открыто высказывать свои ревнивые подозрения Минна не решалась. В то утро, случайно остановившись в саду, она наткнулась на слугу, несшего мое послание, вскрыла его и прочла письмо. Так как она совершенно не в состоянии была понять моего настроения, то и придралась к пошлому, буквальному значению слов и на этом основании сочла себя вправе ворваться в мою

комнату и осыпать меня градом упреков по поводу сделанного ней ужасного открытия. Потом она созналась, что ее особенно разозлило полное спокойствие, невозмутимое равнодушие, с каким я отнесся к ее глупому поведению. Действительно, я не сказал ни слова, даже не изменил своей позы — я ждал, когда она направится к двери.

Сцена эта ясно доказала невозможность продолжать наши 8 лет тому назад возобновившиеся семейные отношения. Я понял, что сегодняшнее поведение жены будет иметь решающее влияние на дальнейшую мою жизнь. Твердым тоном я рекомендовал ей соблюсти спокойствие и воздержаться как от неверных суждений, так и от ложных поступков ввиду того значения, какое может иметь для нас сегодняшнее само по себе ничтожное происшествие. Она, казалось, кое-что поняла, обещала успокоиться и оставить свою глупую ревность. К несчастью, бедная жена сильно страдала от своей все усиливавшейся сердечной болезни, страшно влиявшей на ее настроение. Она все видела в мрачном свете, мучительное беспокойство, свойственное страдающим расширением сердца, не покидало ее. Но она надеялась через несколько дней вздохнуть свободнее, так как с добрыми, как она полагала, намерениями решила предостеречь соседку от могущей иметь опасные последствия дружбы со мной. Возвращаясь с прогулки, я встретил в коляске Везендонков. Я заметил расстроенный вид г-жи Везендонк и, напротив, странно улыбающееся, довольное выражение лица ее супруга. Что-то произошло. Свою жену я нашел значительно повеселевшей. Она дружески протянула мне руку и снова подарила меня своим расположением. На мои расспросы она ответила весьма определенно: как умная женщина она знает, что нужно делать в подобных случаях. Она поступила так, как считала необходимым. Я объяснил ей, что она первая и пострадает впоследствии. Пока же я рекомендовал ей подумать

об укреплении здоровья и с этой целью по прежде намеченному плану отправиться на курорт Брестенберг на Хальвильзее. Нам рассказывали об успешном лечении сердечных болезней тамошним врачом. Минна была вполне согласна с его методом. Через несколько дней, в течение которых я избегал осведомляться относительно того, что произошло в семье Везендонков, я проводил жену, захватившую с собой попугая, в красиво расположенный, довольно благоустроенный курорт в нескольких часах езды от нашего дома. В минуту прощания она поняла всю мучительную серьезность нашего положения. Мне нечем было утешить ее. Я обещал ей только приложить все усилия, чтобы устранить дурные последствия нарушенного ней слова.

329

Минна и Матильда Везендонк. Второй акт «Тристана»

Вернувшись домой, я увидел, что успела натворить Минна по отношению к нашей соседке. В своем грубом непонимании моих истинных, дружеских отношений к госпоже Везендонк, всегда проявлявшей теплые заботы о моем покое и благополучии, она зашла так далеко, что даже грозила сделать какие-то разоблачения ее мужу. Она глубоко оскорбила не знавшую за собой никакой вины молодую женщину. Последняя перенесла обиду на меня, не понимая, как это я оставлял жену в подобном неведении истинного положения вещей. В конце концов все кое-как уладилось благодаря разумному посредничеству нашего общего друга, жены д-ра Вилле. Мне удалось оправдаться в глазах г-жи Везендонк и снять с себя ответственность за поступки жены. Но мне все-таки было заявлено, что отныне оскорбленная женщина не может посещать мой дом и вообще поддерживать дальнейшее

знакомство с моей женой. Единственным ответом на это с моей стороны мог быть только отъезд из Цюриха. Но высказанное мной намерение не встретило сочувствия со стороны потерпевшей и было отвергнуто. Мои отношения с Везендонками были расстроены только отчасти. Испорченными окончательно их считать нельзя было, и я успокоился на мысли, что все со временем как-нибудь образуется. Больше всего я надеялся на улучшение здоровья жены, рассчитывая, что, немного поправившись, она сама поймет совершенные ней глупости и, разумным образом исправив их, сделает возможным возобновление наших отношений с расположенной к нам семьей.

Прошло некоторое время. Везендонки уехали на несколько недель в путешествие по Верхней Италии. Почти в уныние повергло меня прибытие долгожданного «Эрара»: только теперь я понял, каким инструментом, лишенным всякого тона, я пользовался до сих пор. Свой старый капельмейстерский рояль фирмы «Брейткопф и Гертель» я немедленно отправил вниз, в комнаты жены. Будучи чрезвычайно консервативной в своих вкусах, она уже давно выпросила его у меня. Впоследствии она увезла его с собой в Саксонию и, кажется, продала за 100 талеров. Новый рояль необыкновенно ласкал мой слух, я фантазировал на нем, и у меня невольно, сами собой вылились мягкие ночные голоса второго акта «Тристана». Вчерне я принялся набрасывать его в начале мая этого года.

330

Великий герцог Веймарский в Люцерне

Неожиданно работа моя была прервана приглашением Великого герцога Веймарского встретить его в Люцерне. Он должен был быть там проездом, возвращаясь из путешествия по Италии. Я исполнил его желание и удостоился

в одной из люцернских гостиниц, в комнате камергера фон Болье, которого я знал со времени моего бегства, длинной беседы с моим воображаемым покровителем. Из этой беседы я понял, что мои отношения с Великим герцогом Баденским по поводу постановки «Тристана» в Карлсруэ произвели впечатление на веймарский двор. Когда Карл Александр упомянул об этом обстоятельстве, видно было, что он живейшим образом заинтересован в том, чтобы «Нибелунги» были поставлены на сцене веймарского театра. Ему хотелось услышать от меня уверения, что я предназначаю эту оперу для Веймара. Мне ничего не стоило обещать ему это. В общем меня занимала особа Великого герцога, который, непринужденно развалившись на узком диване, благосклонно болтал со мной о разных вещах. Он тщательно выбирал в разговоре выражения и обороты, стараясь произвести выгодное впечатление своей образованностью. Удивительно, что его ничуть не шокировали довольно неуместные, высказанные необыкновенно сухим тоном замечания, которыми прерывал нашу беседу господин фон Болье. Между прочим, Великий герцог в изысканных выражениях захотел узнать мое «настоящее мнение» о композиторской деятельности Листа. На это камергер заметил, что сочинительство Листа не более как забава великого виртуоза. Я был крайне удивлен, не уловив ни малейшего признака неудовольствия на лице Великого герцога. Он равнодушно выслушал такой отзыв о друге, которого чтил высоко. Это выставляло в довольно странном свете дружескую верность герцога. Сам я изо всех сил старался поддерживать серьезный тон разговора.

На следующее утро я должен был еще раз посетить Великого герцога. Камергера не было, и это обстоятельство благотворно отразилось на его мнениях. Он громко говорил о том, что не может по достоинству оценить

советы и заслуги Листа, то одушевление, какое он вносит повсюду. Вообще он отзывался о Листе в самых теплых выражениях. Вскоре вышла к нам жена Великого герцога, и я был поражен ее ласковым, приветливым обращением. Оно было особенно ценно со стороны столь чинно державшей себя дамы и осталось у меня в памяти навсегда. На встречу со мной эти высокие особы смотрели как на довольно приятное дорожное приключение. Впрочем, с тех пор я никогда больше о них ничего не слыхал.

Когда я потом посетил в Веймаре Листа, незадолго перед его отъездом из этого города, он не мог уговорить герцога принять меня!

331

Карл Таузиг

Вскоре после моего возвращения из этой поездки явился ко мне с рекомендательным письмом от Листа Карл Таузиг. Ему было тогда 16 лет. Он был очень миловидной наружности и поражал преждевременной зрелостью и в смысле умственного развития, и в смысле манеры говорить. После публичного выступления в Вене в качестве пианиста его прозвали «будущим Листом». Таким он себя и держал. Курил он самые крепкие сигары, какие только можно было найти. Он внушал мне настоящий ужас. Однако меня радовало его решение провести некоторое время со мной, так как мне весьма импонировала его натура, странная смесь чего-то полудетского и большой рассудительности, даже некоторого лукавства. К тому же меня привлекали его удивительно зрелая фортепьянная игра и вообще быстрота его музыкальной чуткости. Он играл все с листа и, чтобы позабавить меня, иногда шалил и забавлялся своим искусством. Вскоре он совсем поселился вблизи меня, стал моим ежедневным гостем, завтракал,

обедал у меня и должен был сопровождать меня в моих регулярных прогулках по окрестностям. Впрочем, этим он скоро стал тяготиться. Он ездил со мной в Брестенберг к Минне. Но так как я повторял эти поездки почти регулярно каждую неделю, интересуясь результатами лечения, то и они скоро надоели ему, и он искал случая от них избавиться. Очевидно, ему не нравились ни Брестенберг, ни знакомство с Минной.

Однако он не мог избежать частых встреч с ней, так как в конце мая, беспокоясь о доме, она прервала курс лечения и на несколько дней приехала ко мне. По ее поведению я заметил, что она не придает никакого значения происшедшему перед ее отъездом домашнему инциденту, считая, что здесь была простая «любовная интрижка», которую она сумела ввести в должные границы. Так как она выражалась об этом с крайне неприятным легкомыслием, я вынужден был однажды вечером, как мне ни хотелось избавить ее от этих разговоров из уважения к ее болезненному состоянию, выяснить точно и определенно положение вещей и внушить ей, что последствия ее своеволия и ее глупого поведения по отношению к нашей соседке заставляют меня серьезнейшим образом сомневаться в прочности с таким трудом вновь возведенного здания нашей совместной жизни. Напуганный известным ей происшествием, я решил не соглашаться на возобновление прежних отношений и подготовить Минну к той мысли, что нам необходимо расстаться. Горькие истины, которые я высказал ей при этом, казалось, сильно ее потрясли. Особенно расстроило ее мое напоминание о том, что своими же руками она разрушила домашний быт, кое-как налаженный. Нежные, полные достоинства жалобы я услышал от нее в ответ. Первый и единственный раз в жизни проявила она кроткое смирение, поцеловав мне на прощание руку. Этот разговор с женой, затянувшийся

до поздней ночи, глубоко взволновал меня. Я был тронут, и во мне воскресла надежда на возможность большой и решительной перемены в характере бедной женщины. Я снова поверил в возможность упорядочения нашей жизни при данных условиях.

Все поддерживало во мне хорошее расположение духа: жена уехала завершить курс лечения обратно в Брестенберг, великолепная летняя погода благоприятствовала работе над вторым актом «Тристана», вечера с Таузигом развлекали меня. Отношения с соседями, которые не были настроены враждебно, вылились в форму, наиболее для меня подходящую и желанную. В настроении г-жи Везендонк, считавшей себя особенно оскорбленной, должна была произойти известная перемена. Всесильное время постепенно делало свое дело. Я рассчитывал, что, если жена по окончании лечения согласится уехать на некоторый срок к своим родственникам в Саксонию, все происшедшее будет предано забвению окончательно, и мало-помалу установятся безупречные дальнейшие отношения между нами и нашими соседями.

332

Эссер

Что еще сильно радовало мою душу, это ожидание одного интересного для меня визита и завязавшаяся переписка с двумя значительнейшими немецкими театрами. В июне явился берлинский театральный интендант для переговоров по поводу «Лоэнгрина». Успех, быстро завоеванный «Тангейзером» в Вене, оказался не безрезультатным: дирекция Придворного театра переменила позицию. Руководство технической стороной оперного дела было возложено с недавнего времени на капельмейстера Карла Экерта. В опере был превосходный состав певцов. Как раз

тогда интендантство нашло необходимым предпринять капитальную реставрацию театрального зала, повлекшую за собой приостановку спектаклей. Таким образом, у певцов и оркестра оказалось в распоряжении свободное время, благоприятное для изучения новой трудной оперы. Карл Экерт умело воспользовался счастливыми обстоятельствами и предложил дирекции поставить «Лоэнгрина». Тут-то и начались переговоры со мной. Я настаивал на сохранении «авторских прав», по образцу Берлина, но их мне не хотели гарантировать, как мне объяснили, потому что старое, небольшое по размерам здание театра получало крайне скудные доходы со спектаклей.

В один прекрасный день явился ко мне капельмейстер Эссер, специально присланный из Вены с повелением немедленно заключить со мной условия и от имени дирекции предложить 1000 гульденов за первые двадцать представлений «Лоэнгрина», обещая вторичную уплату такой же суммы. Своей искренностью и приветливым обращением честный музыкант очень скоро расположил меня к себе, и я без дальнейших размышлений подписал договор. Эссер добросовестно прошел со мной партитуру «Лоэнгрина», охотно приняв к сведению все мои замечания. Мы расстались, полные надежд на будущее. Он уехал в Вену, чтобы немедленно приняться за работу.

В хорошем настроении я к началу июля вчерне окончил второй акт «Тристана» и принялся за его основательную разработку. Но мне не удалось пойти дальше первой сцены, потому что с этого момента начались досадные продолжительные перерывы в моих занятиях. Опять приехал Тихачек и расположился в маленькой комнате для гостей, желая, как он говорил, немного отдохнуть от напряженной работы последнего времени. Он похвалялся, что ему удалось включить мои оперы в репертуар

Дрезденского театра, что он много содействовал победе, одержанной ими над местной публикой. В Дрездене должны были на днях давать «Лоэнгрина». Как ни отрадны были для меня такие известия, я не знал, как избавиться от этого милого человека. По счастью, я догадался направить его к Таузигу. Тот понял мое затруднительное положение и выручил меня из беды: он пригласил Тихачека к себе и почти целые дни занимал его игрой в карты.

Вскоре приехал молодой, столь прославленный тенор Ниман со своей невестой, известной актрисой Зеебах. Он поразил меня своим сверхчеловеческим ростом и показался мне созданным для роли «Зигфрида». Таким образом, у меня очутились одновременно в гостях два знаменитые тенора. Но ни один из них не хотел ничего спеть: они стеснялись друг друга. Относительно Нимана я был уверен, что голос его должен соответствовать его величественной внешности.

333

Пререкания с Минной

15 июля я поехал за женой в Брестенберг, так как она должна была снова водвориться в нашем доме. Воспользовавшись моим кратковременным отсутствием, слуга мой, хитрый саксонец, решил устроить торжество в честь возвращения хозяйки и соорудил триумфальные ворота. Это привело к серьезным недоразумениям: Минна сейчас же сообразила, что разукрашенная цветами арка бросится в глаза нашим соседям и достаточно ясно подчеркнет, что ее возвращение домой отнюдь не является для нее чем-то унизительным, что она не из милости принята мной обратно. Радостная и торжествующая, она настаивала, чтобы это сооружение не убиралось в продолжение нескольких дней.

В то же время меня посетили, согласно давнишнему обещанию, Бюловы. Как нарочно, Тихачек все откладывал и откладывал свой отъезд, и единственная маленькая комнатка для приезжих все время была занята, так что я вынужден был на несколько дней поселить своих друзей в гостинице. Эти последние бывали не только у меня, но и у Везендонков. Через них я вскоре узнал, какое впечатление произвела на молодую женщину, все еще находившуюся под действием прошлого оскорбления, триумфальная арка. Меня страшно поразило известие о такой чрезмерной чувствительности со стороны моей соседки; я видел, какую цепь недоразумений и путаниц создало усердие моего слуги, и оставил всякую надежду на мирное разрешение обостренного положения вещей. Несколько дней продолжался невыносимый хаос. Мне хотелось бежать отсюда, от всех людей. Мое ужасное состояние осложнялось тем, что я должен был принимать гостей за гостями.

Наконец уехал Тихачек, и я мог предоставить помещение Бюловам. Ради их приятного общества я и остался еще на некоторое время. Поистине они были посланы мне самим небом, как пароотводная труба для насыщенной вредными элементами атмосферы моего дома. Как раз в день переезда к нам Бюловов между мной и Минной произошла ужасная сцена, свидетелем которой был Ганс. Минне я объявил напрямик, как только мне сделалось известно положение вещей, что дальше мы здесь жить не будем, что я только откладываю свой решенный отъезд и остаюсь до тех пор, пока будут гостить у нас наши молодые друзья. На этот раз я признался ей, что мое отчаяние вызвано не только ее поведением.

Целый месяц мы провели вместе в «Убежище»: домик был назван мной так без всяких дурных предчувствий. Это было страшно мучительное время, так как опыт каждого нового дня убеждал меня все больше и больше

в правильности принятого решения совсем покинуть эти места. Молодые гости страдали не менее меня. Тяжелое нравственное состояние мое отражалось на всех, кто серьезно мне симпатизировал. В числе последних вскоре оказался Клиндворт. Он прибыл из Лондона точно для того, чтобы сделать более тягостным наше своеобразное совместное существование. Дом был полон гостей. За обеденным столом, прежде столь уютным, я видел робкие, озабоченные и испуганные лица моих друзей. Их принимала и угощала та, которая в скором времени должна была навсегда покинуть этот домашний очаг.

334

Август 1856 года

У меня было странное чувство: казалось, что должен появиться человек, который внесет свет и умиротворение или, по крайней мере, некоторый порядок в хаос наших взаимных отношений. Лист обещал приехать. К великому для него счастью, он стоял в стороне от всех дрязг и раздоров. Светский человек, обладавший так называемым личным апломбом в самой высокой степени, он казался малопригодным, малоспособным разумно уладить происходившие у нас недоразумения. Тем не менее я хотел дождаться встречи с ним и уже потом принять окончательное решение. Тщетно просили мы его ускорить приезд. Вместо этого через некоторое время я получил от него приглашение приехать на один месяц на Женевское озеро!

Последнее мужество покинуло меня. Совместная жизнь с друзьями обратилась теперь в самое безотрадное существование. С одной стороны, никто не понимал, как это я могу покинуть столь симпатичный домашний уют. С другой стороны, каждому было ясно, что оставаться здесь невозможно. Кое-как мы музицировали, крайне

рассеянно, без всякого одушевления. Как бы для того, чтобы довершить общую путаницу, подоспела еще одна неприятность: устраивался швейцарский певческий праздник. Меня осаждали всевозможными просьбами и требованиями. Я старался отказываться от всего, но это удавалось далеко не всегда. Так, между прочим, я не мог не принять господина Франца Лахнера, участвовавшего в этом празднестве в качестве гостя. Таузиг позабавил нас, пропев в высокой октаве специально для этого праздника сочиненную Лахнером в древнегерманском стиле военную песню, что было вполне по силам для его полудетского фальцета. Но даже его шалости не развлекали нас так, как прежде. При других обстоятельствах этот летний месяц мог бы считаться одним из самых оживленных месяцев моей жизни. Но все решительно усиливало мое угнетенное нравственное состояние. Графиня д'Агу, приехавшая повидаться со своей дочерью и зятем, присоединилась к нашему обществу. Чтобы окончательно переполнить наш дом, после долгих сборов и переговоров по этому поводу явился Карл Риттер, на этот раз подтвердивший мое мнение о нем как об интереснейшем, оригинальнейшем человеке.

Когда стало приближаться время отъезда моих гостей, я и сам начал готовиться к ликвидации домашних дел. Я сделал для этого все необходимое. Посетил Везендонков и в присутствии Бюлова простился с той женщиной, которая при усложняющейся путанице обстоятельств, по-видимому, упрекала себя за происшедшие раздоры, явившиеся причиной моего отъезда. Глубоко взволнованные, расстались со мной все мои друзья, я же находился в состоянии полнейшей апатии и едва мог отвечать на их трогательные выражения сочувствия.

16 августа покинули мой дом и Бюловы, Ганс — в слезах, Козима — в грустном молчании. С Минной мы уговорились,

что после моего отъезда она пробудет еще с неделю в Цюрихе, чтобы убрать дом и благоразумно распорядиться нашим маленьким имуществом. Я советовал ей поручить эти неприятные хлопоты другому, так как понимал, что при таких обстоятельствах все это ей будет очень тяжело. Она ответила отказом. Еще не хватало, чтобы в дополнение к нашему несчастью она дала расхитить наши вещи: порядок должен быть во всем! Как я потом узнал, Минна закончила все дела, касавшиеся ее отъезда и ликвидации хозяйства, к моему большому огорчению, с особенной торжественностью. В ежедневной газетке она поместила объявление, что по случаю дешево продаются хозяйственные вещи, необходимые в домашнем обиходе, и наделала этим много шуму. Сенсация получилась огромная. Стали распространяться всевозможные слухи, наш отъезд и те обстоятельства, которыми он вызван, обсуждали вкривь и вкось. Одним словом, получился целый скандал. Все это причинило потом и мне, и семье Везендонков ряд тяжелых огорчений и неприятностей.

335

На другой день после отъезда Бюловов — только пребывание этих друзей удерживало меня так долго на месте, — 17 августа на рассвете я поднялся с постели после проведенной без сна ночи и спустился вниз в столовую, где Минна уже ждала меня с завтраком: в 5 часов я должен был отправиться к поезду. Она была спокойна. Только когда мы ехали в экипаже на вокзал, она на минуту поддалась тяжелому настроению. Небо было ясное, безоблачное, стоял ликующий летний день. Я ни разу не оглянулся. Прощаясь с Минной, я не пролил ни одной слезы, что почти испугало меня самого. Напротив, когда тронулся паровоз, я испытал чувство облегчения, которое не мог от себя скрыть и которое все возрастало по мере

удаления от Цюриха. Было ясно, что бесполезные мучения последнего времени оказались совершенно непереносимыми, и моя энергия и ее назначение требовали настоятельно, чтобы я вырвался из ненормальных и мучительных условий.

Вечером того же дня я прибыл в Женеву. Там хотел я немного отдохнуть, собраться с силами, чтобы в более спокойном состоянии духа наметить план дальнейшей жизни. Так как я намеревался вторично предпринять поездку в Италию, то следовало выждать наступления ранней осени, чтобы не страдать от губительно действующей перемены климата. Я нанял комнату на целый месяц в «Доме Фази» и тешил себя мыслью, что поживу там некоторое время. О моих намерениях и дальнейших планах насчет поездки в Италию я написал Карлу Риттеру в Лозанну. К моему удивлению, я получил от него известие, что он тоже намеревается покинуть Лозанну и поехать в Италию один, так как жена его по семейным обстоятельствам должна провести зиму в Саксонии. Он предложил себя в спутники, что было очень кстати. В Венеции в это время очень сносный климат, в чем он убедился во время своей прошлогодней поездки по Италии. Поэтому я пришел к решению ускорить отъезд. Мне надо было решить проблемы с паспортом. Я ждал удостоверения от посольства в Берне, чтобы, все еще считаясь политическим эмигрантом, не опасаться ничего в Венеции, которая принадлежала Австрии, а не Германскому Союзу. Лист, к которому я обратился за сведениями по этому поводу, стал решительно отговаривать меня от поездки туда. Но справка, которую один из моих друзей в Берне взял от австрийского посла, оказалась крайне для меня благоприятной, и, пробыв неделю в Женеве и известив Карла Риттера, что я готов к отъезду, я отправился к нему в его своеобразную виллу близ Лозанны. Я лично пригласил его тронуться со мной в путь.

336

Венеция

Дорогой мы очень мало разговаривали и большей частью молча отдавались впечатлениям. Путь наш лежал через Симплон к Лаго Маджоре, где я вторично посетил от Бавено Борромейские острова. Здесь, на садовой террасе Изола Белла, я наслаждался в обществе моего совсем не надоедливого, скорее слишком молчаливого друга великолепным утром позднего лета. В первый раз я почувствовал себя вполне успокоенным и окрыленным надеждой на новое гармоническое будущее. До Милана мы продолжали путь через Сесто Календе в дилижансе. Карл едва позволил мне полюбоваться знаменитым собором — так сильно тянуло его поскорее в любимую им Венецию. Было приятно, что меня куда-то влекут. Когда 29 августа при закате солнца мы с полотна железной дороги увидели перед собой Венецию, как бы выплывающую из зеркальных вод, Карл в порыве энтузиазма высунулся из вагона и — при неосторожном движении — потерял шляпу. Не желая отстать от него, я нарочно бросил в окно и свою. Так, с непокрытыми головами, мы прибыли в Венецию и сейчас же наняли гондолу, чтобы прокатиться по Гранд-каналу до Пьяццетты близ Пьяцца Сан-Марко [площади Святого Марка].

Погода вдруг стала пасмурная. Самый внешний вид гондолы меня прямо испугал. Хотя я и много слышал об этих своеобразных, целиком выкрашенных в черный цвет экипажах, но вид их крайне неприятно поразил меня. Когда мне надо было войти под завешенную черным покрывалом крышу, я испытал чувство, похожее на испытанный мной когда-то страх перед холерой. Было такое ощущение, будто меня заставляют принять участие в перевозке

трупов, умерших от чумы. Карл уверял меня, что это испытывают все, но что к гондолам скоро привыкают. И вот началось длинное путешествие по многочисленным изгибам Гранд-канала. Новые впечатления не могли стряхнуть с меня грустного настроения. В то время как Карл, не замечая полуразвалившихся от времени зданий, обращал мое внимание лишь на Ка д'Оро Фанни Эльслер или другие знаменитые дворцы, мой унылый взгляд, наоборот, замечал только одни печальные руины. Наконец, я замолчал и, терпеливо покорившись своей участи, позволил высадить себя у всемирно известной Пьяццетты и показать себе Дворец дожей. Впрочем, я выговорил себе право восхищаться этим палаццо потом, когда я освобожусь от меланхолического настроения, в которое погрузился с момента прибытия в Венецию.

337

Палаццо Джустиниани. Князь Долгоруков

Переночевав в отеле Danieli, где мы нашли лишь мрачные комнатки, выходящие на узкие маленькие каналы, я стал искать на следующее утро помещение, где можно было бы расположиться надолго. Об одном из трех палаццо Джустиниани, находящемся недалеко от палаццо Фоскари, я слышал, что зимой, вследствие невыгодного положения, в нем мало или, вернее, почти совсем не живут иностранцы. Там я нашел необыкновенно высокие, значительной величины комнаты. Мне сообщили, что ни одна из них не занята. Я снял великолепную большую залу с прилегающей к ней просторной спальней и сейчас же велел перенести туда мой багаж. 30 августа вечером я сказал себе, что теперь я в Венеции.

При выборе помещения я руководствовался особыми соображениями: никто не должен был мешать моей работе.

Сейчас же я написал в Цюрих, чтобы мне прислали моего «Эрара» и мою постель, так как, проведя одну ночь в местных условиях, я успел познакомиться с тем, что такое венецианский холод. Вскоре стала раздражать меня стена моего большого зала, выкрашенная в серый цвет: она очень мало подходила к плафону, расписанному al fresco[31], как мне казалось, в хорошем вкусе. Я велел оклеить эту большую комнату обыкновенными гладкими темно-красными обоями. Это сопряжено было с некоторым для меня неудобством. Но когда все осталось позади, и я с балкона целыми часами все с большим и большим восхищением смотрел вниз, на великолепный канал, я сказал себе, что здесь хочу завершить «Тристана».

Я распорядился сделать еще одно изменение: я заказал темно-красные портьеры из дешевого ситца, чтобы задрапировать обыкновенные двери, которыми хозяин-венгр заменил в этом полуразрушенном дворце другие, старые — драгоценные, вероятно похищенные. Впрочем, хозяин позаботился о меблировке комнат, обставив их в несколько театральном вкусе. Нашлись позолоченные стулья, хотя и обтянутые простым плюшем. Но прекраснее всего оказалась резная позолоченная настольная подставка, выполненная из тонкой еловой древесины. Оставалось приобрести приличный красный ковер. Наконец прибыл мой «Эрар». Он был поставлен посредине большого зала, и отныне в прекрасной Венеции стали раздаваться звуки моей музыки.

Вскоре у меня началась уже знакомая с Генуи дизентерия, на несколько недель сделавшая меня неспособным к умственной работе. Я научился ценить по достоинству несравненную красоту Венеции и надеялся в наслаждении

---

[31] Аль фреско (*ит.* Fresco — *букв.* «свежий»).

ней почерпнуть новые силы для возобновляющейся художественно-артистической деятельности. Во время одной из моих первых прогулок по Riva[32] со мной заговорили два иностранца, представившихся мне графом Эдмундом Зичи и князем Долгоруковым. Оба неделю тому назад покинули Вену, где присутствовали на первых представлениях «Лоэнгрина». Относительно последнего они сообщили мне самые отрадные известия, и по их энтузиазму я мог судить о силе произведенного на них впечатления. Граф Зичи покинул вскоре Венецию, Долгоруков намеревался провести в ней всю зиму. Хотя я и старался избегать знакомств, но этот пятидесятилетний русский князь сумел расположить меня в свою пользу. У него было серьезное, очень выразительное лицо, между прочим, он гордился своим древним кавказским родом. В беседах он обнаруживал превосходное и разностороннее образование, тонкое знание света и, главное, понимание музыки, в которой он был хорошо, хотя и избирательно ориентирован. Его любовь к музыке походила на тщательно взлелеянную страсть. Я сейчас же заявил ему, что по милости плохого состояния моего здоровья я должен отказываться от всякого общества и нуждаюсь в полном покое. Так как мест для прогулок в Венеции очень мало, то мне было трудно совершенно избежать встреч с этим пришедшимся мне по душе иностранцем. Мы стали регулярно встречаться в гостинице «Сан-Марко», где я ежедневно обедал с Риттером. Князь жил в этом отеле, и я не мог запретить ему обедать там же. За все время моего пребывания в Венеции мы оставались с ним в дружеских отношениях, встречаясь почти ежедневно.

---

[32] «Набережная» (*ит.*).

338

Более затруднительно было мое положение, когда однажды вечером я возвратился в мою квартиру и мне сообщили о приезде в наш дворец Листа. Я бросился в указанную комнату и, к ужасу своему, увидел там пианиста Винтербергера, который представился моему хозяину в качестве друга моего и Листа и в суматохе был принят за последнего. С этим молодым человеком я познакомился на самом деле, когда он, находясь в числе лиц, сопровождавших Листа, надолго приехал в Цюрих. Он считался прекрасным органистом. Когда исполнялись вещи для двух роялей, он играл партию второго рояля. Кроме некоторых странностей поведения, я не находил в нем ничего особенного. Прежде всего, я был удивлен, что он выбрал мою квартиру для своего пребывания в Венеции. Он явился, чтобы возвестить приезд некой княгини Голицыной, для которой он должен устроить здесь зимнее помещение. Так как он никого не знает, в Вене же ему сообщили, что я в Венеции, то естественно, что он явился в мой отель. Я заметил ему, что это вовсе не отель, и заявил, что если русская княгиня пожелает здесь расположиться, то я вынужден буду сейчас же отсюда уехать. Тогда он снова меня успокоил, сказав, что этой княгиней он хотел пустить пыль в глаза хозяину. На самом же деле она наняла себе квартиру в другом месте. Я снова спросил его, что он сам намерен делать именно в этом дворце, и обратил его внимание на то, что здесь очень дорого, что я трачу большие деньги на мою квартиру лишь потому, что хочу жить в уединении, без соседей и их фортепьянной игры. Он заверил меня, что не будет докучать своим присутствием, что останется только до тех пор, пока не отыщет для себя другой квартиры. Затем он прежде всего постарался подольститься к Карлу Риттеру. Последний помог

ему найти во дворце комнату, которая была настолько отделена от моего помещения, что никакой шум не мог до меня долететь. Поневоле я должен был примириться с присутствием этого гостя в одном дворце со мной. Прошло много времени, прежде чем я позволил Риттеру как-то раз вечером привести его ко мне.

Больше, чем ему, посчастливилось приобрести мое расположение одному венецианскому учителю музыки по имени Тессарин. Он был типичным венецианским красавцем, правда, странно заикался при разговоре. Страстный ценитель немецкой музыки, он хорошо был знаком как с новейшими произведениями Листа, так и с моими операми. Он называл себя в этом отношении «белым вороном» среди своих итальянских собратьев. Со мной ему удалось познакомиться через Риттера, который был занят в Венеции больше изучением людей, чем работой. Он нанял маленькую, в высшей степени скромную квартирку на Рива-дельи-Скьявони, всю на солнце, вследствие чего ему не надо было ее отапливать. Квартирка эта была ему нужна не столько для себя, сколько для его немногих дорожных вещей, так как самого его почти никогда не было дома. Днем он бродил, осматривая картинные галереи и музеи, ночи проводил в кафе на Пьяцца Сан-Марко, изучая венецианцев. Риттер остался единственным человеком, с которым я виделся регулярно каждый день. Всяких новых знакомств, всяких встреч я избегал. Лейб-медик княгини Голицыной, которая самолично вскоре прибыла в Венецию и, кажется, сняла для себя великолепный дом, сообщил мне о скором ее визите. Так как мне понадобились клавираусцуги «Тангейзера» и «Лоэнгрина» и мне сказали, что княгиня — единственное лицо во всей Венеции, которое ими обладает, я без церемоний попросил их у этой дамы, вовсе не думая лично ей представиться. Раз только я пригласил к себе одного иностранца: я встретил

его в Albergo San-Marco, и мне очень понравилось его лицо. Это был художник Раль из Вены. Для него, для князя Долгорукова и учителя музыки Тессарина я устроил как-то раз нечто вроде музыкального вечера, на котором сыграл некоторые из своих произведений. На этом вечере выступал и Винтербергер.

339

Жизнь в Венеции. Площадь Св. Марка

Этими немногими знакомствами и ограничивалась моя внешняя жизнь за те семь месяцев, которые я провел в Венеции. День мой был распределен с величайшей правильностью. Я работал до двух часов, потом садился в ожидавшую меня гондолу, чтобы проехать по мрачному Гранд-каналу вплоть до веселой Пьяццетты, необыкновенная прелесть которой каждый раз по-новому, особенно оживляющим образом действовала на мое настроение. Там я находил свой ресторан на Пьяцца Сан-Марко и затем, после обеда, один или с Карлом прогуливался вдоль Riva по направлению к Публичному саду, единственному саду, обсаженному в Венеции деревьями. С наступлением ночи я снова садился в гондолу и по вечно мрачному, в вечерние часы безмолвному каналу направлялся до того места, где с фасада старого палаццо Джустиниани глядело на меня освещенное лампой окно моей комнаты. Я еще работал некоторое время, а затем приходил ко мне Карл, прибытие которого аккуратно в 8 часов возвещалось плеском гондолы. За чаем мы болтали с ним несколько часов подряд.

Только изредка нарушал я такой порядок жизни посещением какого-нибудь театра. Предпочтение я отдавал драматическим спектаклям в театре Камплой, где очень хорошо исполнялись комические пьесы Гольдони. Опере я

уделял внимание только мимоходом, из любопытства. Всего чаще, в особенности, когда плохая погода препятствовала прогулке, мы посещали происходившие днем народные спектакли в театре Малибран. Вход туда стоил 6 крейцеров, и там собиралась превосходная публика (преимущественно без сюртуков), для которой разыгрывались пьесы из времен рыцарства. Здесь однажды, к моему великому изумлению и огромной радости, я увидел комедию-гротеск Le baruffe Chiozziote, которой в свое время восхищался Гёте. Она была разыграна с реализмом, какого я никогда больше не встречал.

В общем, быт Венеции, на котором лежала печать угнетенности и вырождения, представлял для меня мало интереса. Великолепные развалины удивительного города производили на иностранца впечатление какого-то курорта. Как это ни странно, именно немецкая военная музыка, хорошо поставленная в австрийской армии, познакомила со мной венецианскую публику. Капельмейстеры обоих расквартированных в Венеции австрийских полков вознамерились исполнить мои увертюры к «Риенци» и к «Тангейзеру» и просили меня присутствовать в казармах на репетициях оркестра. Здесь я встретил всех офицеров в полном составе, отнесшихся ко мне с большой почтительностью. Полковые оркестры играли, чередуясь, по вечерам посреди прекрасно освещенной Пьяцца Сан-Марко, которая по своим акустическим условиям замечательно подходила для такого рода концертов. Случалось, что в то время, как я обедал в ресторане, внезапно раздавались звуки моих увертюр. Когда, высунувшись из окна, я весь отдавался опьяняющим впечатлениям, я не знал, что производит на меня особенно сильное впечатление: великолепная, бесподобная освещенная площадь с волнующейся, как море, толпой гуляющих или музыка, уносящая ввысь все это преображенное буйство звуков.

Не хватало только одного, чего, казалось бы, так легко можно было ожидать от итальянской публики. Тысячная толпа теснилась около оркестра и слушала с величайшим вниманием музыку, но аплодисментов не раздавалось никаких: каждый знак громкого одобрения австрийской военной музыки был бы сочтен за измену отечеству. От натянутых отношений между итальянской публикой и чужестранцами страдала вся общественная жизнь Венеции. Особенно недружелюбно относилось население к австрийским офицерам, которые не могли слиться с местным обществом и не выходили из самых поверхностных его слоев. Не менее сдержанно, даже враждебно вело себя население по отношению к духовенству, большей частью итальянского происхождения. Я видел шедшую по Пьяцца Сан-Марко церковную процессию в торжественном праздничном облачении, которую народ провожал на всем пути нескрываемыми язвительными насмешками.

340

На большом канале. Гондольеры

В то время я был очень тяжел на подъем и неохотно изменял раз установленный порядок дня. Редко я сдавался на приглашения Риттера и отправлялся осматривать галерею или церковь, хотя при каждой такой прогулке с новой силой восхищался непередаваемо своеобразной архитектурой города и другими его красотами. Главное мое наслаждение составляли частые прогулки в гондоле на Лидо. Особенно прекрасно бывало возвращение домой при закате солнца. Не сравнимые ни с чем впечатления овладевали мной целиком. Еще в сентябре этого года, только что приехав в Венецию, мы наслаждались волшебным зрелищем кометы во всем ее блеске. Появление ее предвещало бедствия войны.

Это была настоящая идиллия, когда вечером лагуны оглашались пением хора Певческого общества, организованного одним венецианским чиновником Арсенала. Певцы исполняли большей частью трехголосные, естественно гармонизированные народные песни. Верхний голос не заходил за диапазон альта и не затрагивал диапазон сопрано, что сообщало всему хору совершенно особенную юношескую силу. По вечерам эти певцы разъезжали в освещенной огромной гондоле по всему Гранд-каналу, останавливались перед отдельными палаццо, исполняли за вознаграждение серенады и в сопровождении бесчисленного множества других гондол плыли дальше. Однажды бессонной ночью около трех часов утра захотелось мне выйти на балкон, и в первый раз я услышал прославленное пение гондольеров во всем его блеске. От Риальто, в четверти часа езды, раздался первый призыв, прозвучавший в беззвучной ночи как жалоба. Из дальнего простора с противоположной стороны послышался такой же отклик. Через довольно длинные промежутки повторялась унылая перекличка, настолько поразившая меня, что я не мог сразу запечатлеть в памяти совсем простых составных частей напева. Впоследствии я имел случай убедиться, что эти народные песни представляют огромный интерес с поэтической точки зрения.

Раз я возвращался домой поздно ночью по мрачному каналу. Вдруг на небе появилась луна. Одновременно с палаццо неописуемой красоты она осветила гондольера, медленно гребущего огромным веслом, сидящего на высокой кормовой части. Из его груди вырвался жалобный вопль, ничем почти не отличающийся от звериного воя. После протяжного «О!» вопль излился в чрезвычайно простом музыкальном восклицании «Venezia!». За ним последовал еще вопль, который не сохранился в моей памяти: слишком сильно было волнение, какое я тогда

испытал. Эти впечатления, это пение гондольеров — вот, на мой взгляд, характеристика Венеции. Они жили в моей душе вплоть до завершения второго акта «Тристана». Может быть, они и внушили мне намеченные тут же, в Венеции, длинно-протяжные жалобные напевы пастушьего рожка в начале третьего акта.

341

Болезнь

Однако мои настроения не так-то легко и скоро вылились в подходящую для них форму. Физические недомогания и вечные, никогда не покидавшие меня заботы материального характера часто и на продолжительное время отрывали меня от работы. Едва я кое-как устроился в своей выходившей на север, вполне доступной ветрам и почти совсем незащищенной от холода квартире, едва избавился от губительных последствий дизентерии и решил снова ухватиться за жестоко оборвавшуюся нить второго акта «Тристана», как вдруг вследствие резкой перемены климата и воздуха началось у меня исключительно «венецианское страдание»: образовались злокачественные фурункулы на ноге. Так как болезнь, вначале казавшаяся несерьезной, вскоре усилилась и причиняла мне большие мучения, я вынужден был обратиться к врачу, который лечил меня в продолжение почти четырех недель.

Поздней осенью, около конца ноября, покинул меня Риттер; он поехал повидаться со своими родными и друзьями в Дрезден и Берлин. Таким образом, во время длиннейшего периода моей болезни я оставался совершенно один на попечении слуг моего отеля. Работать я не мог и развлекался «Историей Венеции» графа Дарю, которую здесь, на месте, мне было крайне интересно прочесть. Эта книга заставила меня несколько изменить

предвзятое мнение о тираническом образе правления в древней Венеции. Печально известный Совет Десяти и государственная инквизиция представились мне теперь в несколько ином свете: в своеобразной жестокой наивности. Откровенное заявление, что тайна есть лучшая гарантия мощи государства, показалось мне специально приноровленным к тому, чтобы каждый член замечательной Республики считал себя заинтересованным в ее сохранении, что это было возведено в настоящую «республиканскую обязанность». Подлинное лицемерие было чуждо этому государственному устройству. Церковный элемент, как ни был он тесно связан с государством, никогда не оказывал в Венеции такого унизительно-развращающего влияния на характер граждан, как в других местностях Италии. Беспощадные соображения государственной пользы фиксировались в догмы, носившие античный языческий характер без мрачной окраски, и живо напоминали подобные же догмы афинян, которые, как сообщает Фукидид, излагались с величайшей откровенностью и признавались мудрыми и мужественными правилами нравственности.

Для нравственного своего подкрепления, как это со мной бывало уже не раз, я принялся за Шопенгауэра, который глубоко захватил меня с новой силой. В то же время я загорелся страстным желанием значительно расширить его систему, пользуясь его же материалами, заполнив некоторые важные пробелы.

342

Одиночество

Мое общение с друзьями, оставшимися за границей, было сведено к минимуму и носило в целом успокоительный характер. Только раз опечалило меня письмо

Везендонка, в котором он сообщал мне о смерти своего четырехлетнего сына Гвидо: мне стало казаться, что это я принес несчастье ребенку тем, что под каким-то выдуманным предлогом отказался быть его восприемником. Меня сильно поразила эта смерть, и так как мне нужен был покой, то в уме моем сейчас же сложился план съездить на короткое время за Альпы, чтобы провести сочельник с моими старыми друзьями. Эту мысль я сообщил госпоже Вилле и, к своему удивлению, получил не от нее самой, а от ее супруга в высшей степени неожиданное сообщение. Он писал мне о том, какое тяжелое впечатление произвел на всех мой внезапный отъезд из Цюриха, особенно образ действий моей жены, о том, что все это доставило Везендонкам массу неприятностей. Везендонк держал себя умно и тактично, и я счел это обстоятельство благоприятным признаком, открывавшим надежду на восстановление дружеских соседских отношений. Минна гостила в Дрездене у своих родственников. Я все время нежно о ней заботился, и, несколько успокоившись, она проявляла в письмах большую сдержанность и рассудительность. Таким образом она поддерживала во мне то впечатление, которое я вынес после трогательной ночной сцены. Я сам подал ей надежду на возможность возобновления наших отношений, но прибавил, что это случится тогда, когда у нас будет постоянное местожительство. Предполагал же я устроиться непременно в Германии, если возможно, в самом Дрездене.

Чтобы от этих проектов перейти к окончательному решению, я обратился, не теряя времени, к Люттихау, так как Минна, отыскавшая моего старого начальника, сообщила мне самые благоприятные впечатления относительно его гуманности и горячей привязанности ко мне. Я дошел до того, что написал ему сердечное письмо с подробным изложением дела. В ответ на это я получил

несколько сухих строк, написанных в деловом тоне: Люттихау сообщал мне, что в настоящее время не может быть и речи о моем возвращении в Саксонию. Это было хорошим уроком для меня. С другой стороны, я через венецианскую полицию узнал, что саксонский посланник усердно добивается моего изгнания из Венеции. Это ему не удалось, так как у меня имелся швейцарский паспорт, к которому австрийские власти отнеслись с должным уважением. Таким образом, вопрос о желанном для меня возвращении в Германию оставался открытым.

У меня оставалась единственная надежда на дружескую помощь Великого герцога Баденского. Эдуард Девриент, к которому я обратился за подробнейшими сведениями по поводу предполагавшегося первого представления «Тристана», сообщил мне, что герцог считает мое присутствие на этом представлении во всяком случае делом решенным. Девриент не знал только, как он думал поступить: намеревался ли он в случае, если бы его личные ходатайства перед королем Саксонии о разрешении мне приехать остались бесплодными, предпринять какой-нибудь самостоятельный, не согласный с желанием Союза шаг, или он имел в виду пустить в ход другие средства. Я пришел к заключению, что в настоящее время вряд ли могу рассчитывать получить разрешение на жительство в Германии.

343

Окончание инструментовки второго акта «Тристана»

В то же время я почти постоянно должен был думать о средствах к существованию, особенно с тех пор, как мы стали жить на два дома. По счастью, некоторые крупные театры упорно держались за мои оперы, и я еще мог ожидать от них гонораров; от предыдущих получек не оставалось у меня ни гроша. Наконец, за «Тангейзера»

взялся и Штутгартский Придворный театр. К нему я питал особое пристрастие, которое перенес и на Вену, где сначала давали «Лоэнгрина», а потом, после успеха последнего, принуждены были взяться за «Тангейзера». Мои переговоры с тогдашним директором К. Экертом привели нас к самым утешительным результатам.

Все это происходило в течение зимы, до самой весны 1859 года. В общем, я вел по-прежнему тихую и размеренную жизнь. В декабре окончательно прошла моя нога, и я мог возобновить ежедневные прогулки в гондоле на Пьяцетту и обратно, мог снова на продолжительное время отдаться музыкальной работе. В полном одиночестве провел я Рождество и канун Нового года. Только по ночам я часто бывал в огромном обществе — в моих сновидениях, которые отличались необыкновенной живостью.

В начале января 1859 года в обычный час вошел в мою комнату Карл Риттер. Он ездил куда-то по делам, касавшимся постановки написанной им пьесы. Это был недавно законченный им труд «Армида», свидетельствовавший о большом таланте молодого литератора. В то время как идея целого производила отпугивающее впечатление в смысле личной психологии автора и сообщала невыгодное представление об отдельных частностях, многое в нем, в особенности встреча Ринальдо с Армидой и бурное зарождение их любовной страсти, было изображено и задумано с истинным поэтическим жаром. Как во всех подобных работах, исполненных с дилетантской небрежностью, многое следовало изменить и исправить, чтобы драма могла произвести впечатление на сцене. Об этом Карл не хотел и слышать. Он говорил, что в просвещенном директоре штеттинского театра нашел покладистого человека, который не обратит внимания на недостатки его произведения, замеченные мной. Он в этом обманулся и вернулся обратно в Венецию, страстно желая пожить

просто на отдыхе, без определенной цели. Он мечтал, как о единственном, завидном счастье обойти Рим в одежде капуцина, поминутно осматривая все новые и новые сокровища искусства. О переделке «Армиды» он не хотел и слышать, говоря, что намерен приняться за обработку нового драматического материала, заимствованного из «Флорентийских хроник» Макиавелли. Никаких подробностей он не хотел мне сообщить из опасения, что я выскажусь против материала, представляющего лишь ряд ситуаций без всякой тенденции. Музыкальные работы он совершенно оставил в стороне, хотя вскоре после приезда в Венецию написал фантазию для фортепиано, показавшую его и с этой стороны в чрезвычайно выгодном свете.

Но тем более участия проявил Карл к разработке второго акта «Тристана», за которую я теперь принялся основательно. По вечерам я часто играл ему, Винтербергеру и Тессарину только что оконченные части, что всякий раз приводило нас в большое возбуждение. За время продолжительного перерыва в работе Гертель успел выпустить первую часть партитуры, а Бюлов аранжировал ее для фортепьяно. Таким образом, часть произведения лежала предо мной в совершенно готовом монументальном виде, между тем как относительно выполнения целого я еще находился в периоде творческого напряжения. В течение первых месяцев инструментовка этого акта, которую я посылал издателю по мере изготовления отдельными листами, значительно подвинулась вперед. А в конце марта я мог отправить в Лейпциг последний лист.

344

Отъезд из Венеции

Теперь явилась необходимость принять какое-нибудь решение относительно дальнейших планов жизни. Вставал вопрос, где я напишу третий акт оперы, ибо я решил

начать его там, где я мог бы надеяться довести беспрепятственно до конца всю работу. В Венеции рассчитывать на это было невозможно. Работа затянулась бы до самой середины лета, а состояние моего здоровья не позволяло мне проводить здесь летние месяцы: в эту пору венецианский климат был мне вреден. Отсутствие укрепляющих прогулок уже давало себя сильно чувствовать. Чтобы хоть раз набегаться вдоволь, я однажды среди зимы отправился по железной дороге в Витербо, намереваясь предпринять оттуда путешествие пешком на несколько миль внутрь страны, по направлению к горам. Но суровая погода помешала мне в моем предприятии. К этому присоединились еще и другие неблагоприятные обстоятельства, и в результате я вернулся в Венецию с впечатлениями, говорившими в ее пользу: она показалась мне спасением от уличной пыли и зрелища истязаемых лошадей.

Кроме того, дальнейшее пребывание в Венеции вообще стало зависеть не только от моей воли. Я был чрезвычайно вежливо вызван к полицейскому комиссару, в категорической форме заявившему мне, что со стороны саксонского посольства в Вене все время раздаются протесты против моего пребывания в одной из областей австрийских владений. В ответ на мое заявление, что я рассчитываю пробыть здесь только до весны, он посоветовал мне обратиться за разрешением к эрцгерцогу Максу, имевшему в то время свою резиденцию в Милане в качестве вице-короля. Я мог мотивировать свою просьбу состоянием своего здоровья, представив в подтверждение докторское свидетельство. Я так и сделал, и эрцгерцог сейчас же по телеграфу предписал венецианским властям оставить меня в покое. Было ясно, что усиленная бдительность по отношению к иностранцам объяснялась политическими условиями, вызывавшими сильное возбуждение в австрийской Италии. Вероятность войны с Пьемонтом и Францией становилась

все несомненнее, и в итальянском населении сказывались явные признаки большого брожения. Однажды, гуляя по Riva, мы с Тессарином попали в толпу иностранцев, с почтительным любопытством поджидавших появления эрцгерцога Максимилиана с супругой, на короткое время приехавших в Венецию. Я был предупрежден об этом сильным толчком моего венецианского пианиста, пытавшегося оттащить меня за руку прочь от этого места, чтобы, как он выразился, избегнуть необходимости поклониться эрцгерцогу. Заметив приближающуюся стройную, очень симпатичную фигуру молодого принца, я, смеясь, отпустил своего друга, а себе доставил искреннее удовольствие поклоном выразить любезному покровителю свою благодарность.

Однако скоро все стало принимать в Венеции более серьезный, гнетущий характер. Изо дня в день Riva до такой степени наводнялась высаживающимися воинскими отрядами, что гулять по ней не было больше никакой возможности. Офицеры производили на меня большей частью очень приятное впечатление, и милые немецкие звуки их простодушной болтовни действовали на мой слух как что-то родное. Но я не мог заставить себя отнестись с доверием к солдатам: в их физиономиях было что-то тупое и несвободное, свойственное некоторым из славянских племен, населяющих австрийскую монархию. Нельзя было отказать им в некоторой тяжеловесной силе. Но зато у них замечалось полное отсутствие той наивной интеллигентности, которая так приятно отличает итальянский народ. При всем желании я не мог бы радоваться победе той расы над этой. Физиономии этих солдат пришли мне снова на память, когда осенью того же года я видел в Париже избранные отряды французов, их Chasseurs de Vincennes и зуавов. При сравнении их с австрийскими

солдатами мне без помощи стратегических познаний стали вдруг понятны Мадджента и Сольферино.

Я узнал наконец, что Милан объявлен на осадном положении, что доступ в него почти закрыт для иностранцев. Так как я решил поселиться на лето в Швейцарии, на Фирвальдштетском озере, то это известие напомнило мне о необходимости ускорить отъезд, чтобы не быть отрезанным от своего прибежища неожиданностями военного времени. Я уложил вещи, отправил рояль через Сен-Готард, и мне надо было только проститься с немногими знакомыми. Риттер решил остаться в Италии и намеревался отправиться во Флоренцию и Рим, куда Винтербергер, с которым Карл был в большой дружбе, уже уехал. Винтербергер утверждал, что один из его братьев предоставил ему достаточные средства, он может насладиться путешествием по Италии, которое, помимо всего прочего, необходимо ему как развлечение и отдых — неизвестно, впрочем, от каких трудов. Таким образом, Риттер тоже рассчитывал в самом коротком времени оставить Венецию. Я сердечно простился с добрым больным Долгоруковым и на вокзале обнял Карла, по всей вероятности, в последний раз. С тех пор я не имел о нем никаких известий и по сей день больше его не видел.

345

Милан. Картины. Театр

24 марта я с некоторыми затруднениями по случаю усиленного над иностранцами контроля прибыл в Милан. Чтобы осмотреть его достопримечательности, я решил остаться здесь три дня. Не прибегая ни к чьему руководству, пользуясь самыми простыми указаниями, я осмотрел Бреру, Амброзианскую библиотеку, «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи и собор. Последний я исследовал

по всем направлениям, взбираясь на всевозможные крыши и башни. Захваченный, как всегда, сильнее всего первыми впечатлениями, я сосредоточил внимание на двух картинах, попавшихся мне на глаза у самого входа в Бреру. Это были: «Святой Антоний» Ван Дейка и «Мученичество святого Стефана» Креспи. При этом я убедился, что совершенно неспособен судить о такого рода произведениях: как только сюжет картины становился мне ясен и симпатичен, он сейчас же получал в моих глазах решающее и исключительное значение. Так было и в этом случае.

Однако, стоя перед «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи, я понял художественное значение картины и испытал то, что испытывают все: разглядывая для более полного ознакомления с ней тут же находящиеся реставрированные копии и переводя взгляд с них на разрушенный оригинал, я невольно от внутреннего сюжета вдруг перешел к его неподражаемым особенностям. Они вырисовываются с полной ясностью.

Вечером я посетил полюбившуюся мне комедию, находящуюся, к сожалению, в пренебрежении у нынешних итальянцев и приютившуюся в крохотном театре Ре. Здесь перед немногочисленной публикой низшего ранга давались пьесы Гольдони, как мне показалось, с большой, наивной виртуозностью. Зато в театре Ла Скала мне пришлось видеть зрелище, свидетельствовавшее при внешнем блеске об огромном упадке художественно-артистического вкуса итальянцев. Перед самой парадной и оживленной публикой, о какой только можно мечтать, в огромном театре было дано невероятно ничтожное оперное изделие новейшего композитора, имя которого я забыл. В тот же вечер я убедился, что и для итальянской публики, столь славившейся своей страстью к вокальной музыке, балет стал главной приманкой. Вся скучная опера, очевидно,

служила только введением к большому хореографическому представлению, имевшему своим сюжетом Антония и Клеопатру. Здесь я видел холодного политика Октавиана, не фигурировавшего до сих пор даже ни в какой итальянской опере: в пантомиме ему удалось сносно сохранить свое дипломатическое достоинство. Но главным пунктом осталось все же погребение Клеопатры, давшее огромной балетной труппе возможность в чрезвычайно характерных костюмах проявить себя с самых разнообразных сторон.

346

Испытав в одиночестве все эти впечатления, я в чудесный весенний день отправился в Люцерн через Комо, где все было в цвету, а затем через знакомое Лугано и Готард, вдоль высоких снежных стен, в небольшом открытом экипаже. В Люцерне я застал неуютную холодную погоду, составлявшую резкий контраст с пышными весенними днями Италии. Мои расчеты на пребывание в Люцерне основывались на предположении, что тамошний большой отель Schweizerhof в эту пору года, до начала летнего сезона, пустует, и без всяких предварительных хлопот я найду в нем достаточно просторное и тихое помещение. В этом я не ошибся. Полковник Зегессер, гуманный хозяин гостиницы, предоставил мне в левом флигеле целый этаж, в главных комнатах которого за небольшие деньги я мог устроиться вполне удобно. Мне пришлось позаботиться об отдельной прислуге, так как гостиница в данный момент не располагала таковой в должной мере. Я нашел добросовестную женщину, всегда заботившуюся о моих удобствах. За ее услуги, которые она мне оказывала и потом, когда гостиница наполнилась приезжими, я сохранил о ней хорошую память и много лет спустя взял ее к себе в качестве домоправительницы. Вскоре прибыли из Венеции

и мои вещи. Моему «Эрару» снова пришлось совершить путешествие через альпийские снега. Когда он был установлен в просторном салоне, я сказал себе, что все труды и хлопоты имеют одну цель: дать мне возможность довести до конца третий акт «Тристана и Изольды». Иногда эта надежда казалась чересчур экстравагантной, так как трудности, встававшие на пути моей работы, грозили совершенно затормозить ее. Я сравнивал себя с Латоной, которая беспокойно искала место, где бы родить Аполлона и Артемиду, пока Посейдон не сжалился над ней и не поднял из глубины моря остров Делос.

Таким «Делосом» должен был стать для меня Люцерн. Но чрезвычайно холодная и дождливая погода, державшаяся очень долго, до самого конца мая, действовала на мое настроение удручающим образом. Ввиду того, что новый приют был обретен ценой больших жертв, каждый день, в который мне не удавалось хоть сколько-нибудь поработать над композицией, казался мне потерянным и недостойным потраченных усилий. К этому присоединилось еще и то, что в большей и главной части моего третьего акта я имел дело с невероятно мрачным сюжетом. Вот почему о первых месяцах моего пребывания в Люцерне я вспоминаю с настоящим ужасом.

347

Свидание с Везендонками

В первые дни приезда я посетил в Цюрихе Везендонков. Наше свидание было проникнуто меланхолией, но в нем не чувствовалось никакого смущения. Я провел несколько дней в доме своих друзей, где встретился со своими старыми цюрихскими знакомыми. Мне казалось, что все это я вижу во сне, что я среди призраков, лишенных всякой сущности. За время моего пребывания в Люцерне

я несколько раз повторил это посещение и два раза получил ответный визит, однажды в самый день моего рождения.

Кроме работы, подвигавшейся при мрачном настроении, меня занимали заботы о средствах к жизни как для себя самого, так и для жены. Еще в Венеции я увидел себя вынужденным отказаться от дружеской поддержки госпожи Риттер. Пришлось подумать об этом самому из внимания к изменившимся обстоятельствам моих друзей. Жалкий источник доходов, каким служили для меня мои оперы, подходил к концу.

Так как по окончании «Тристана» мне пришлось бы снова приняться за «Кольцо нибелунга», я счел нужным подумать о возможности облегчить свое будущее существование при помощи этого произведения. Великий герцог Веймарский, судя по заявлениям, сделанным мне лично год тому назад, все еще интересовался им. Я написал Листу и попросил его сделать ему серьезное предложение приобрести это произведение в полную собственность, чтобы доходы с будущих изданий принадлежали ему. В основание контракта в случае, если бы дело дошло до такового, я готов был положить прежние прерванные переговоры с Гертелями. В своем ответе Лист, скрепя сердце, сообщил мне, что проект не встретил особенного одобрения со стороны Его Высочества. С меня было достаточно такого указания.

348

Дрезденское издательство

С другой стороны, обстоятельства побуждали меня принять какое-нибудь решение в злополучном вопросе о праве собственности на три прежних оперы, появившихся у Мезера в Дрездене, ввиду того что один из моих главных кредиторов, актер Крите, настойчиво требовал возвращения

ему его капитала. Дрезденский адвокат Шмидт вызвался довести это дело до конца. В результате бесконечной неприятной переписки выяснилось, что преемник недавно умершего Мезера, некий Мюллер, стал полным владельцем издательства. При этом случае я узнал, что моего бывшего комиссионера эти оперы вводили в постоянные издержки и расходы. Что касается доходов, то относительно них я не мог добиться ничего определенного. Адвокат сообщил мне только, что у покойного Мезера, несомненно, было отложено на стороне несколько тысяч талеров, но получить их нет никакой возможности, так как своим наследникам он не завещал ничего. Чтобы успокоить Крите, мне пришлось согласиться на продажу опер за сумму, составлявшую мой долг ему и еще другому, менее крупному кредитору, а именно за 3000 талеров. Что касается неуплаченных процентов и процентов на проценты, то они остались за мной как личный долг Крите, составивший к 1864 году сумму в 1800 талеров. К уплате их я был тогда вынужден судом.

Чтобы обеспечить чем-нибудь моего главного кредитора Пузинелли, на долю которого приходилась лишь самая незначительная сумма, я оставил за собой право собственности на те три оперы на случай, если бы мне удалось добиться постановки их и продажи какому-нибудь французскому издателю. Эта оговорка, согласно точному тексту письма адвоката Шмидта, была принята новым дрезденским издателем. Так как Пузинелли дружески отказался от возможных в этом направлении выгод, заявив, что никогда не потребует возвращения данной взаймы суммы, то этим мне предоставлялась единственная возможность, когда мои оперы найдут себе доступ во Францию, если не получать доход с них, то по крайней мере вернуть потраченные на них капиталы, которые в свое

время мне пришлось добывать. Когда впоследствии между мной и парижским музыкальным торговцем Флаксландом действительно было заключено соглашение, дрезденский преемник Мезера заявил свое исключительное право собственности на мои оперы, и ему удалось поставить Флаксланду такие препятствия в его предприятии, что последний увидел себя вынужденным ради спокойствия откупиться от него 6000 франков. Но это в свою очередь поставило Флаксланда в необходимость отказать мне в признании за мной права собственности на мои произведения во Франции.

Я неоднократно обращался к свидетельству адвоката Адольфа Шмидта, требуя от него копии переписки, относящейся к вышеупомянутой, признанной нашими люцернскими переговорами оговорке. Но все мои письма, обращенные к нему по этому делу, он упорно оставлял без ответа. Впоследствии я узнал от одного венского законоведа, что мне следует отказаться от мысли получить такое удостоверение, ибо никакими законными средствами я не могу заставить адвоката выдать мне его, если он этого не желает.

349

Работа над «Тристаном»

Таким образом, я немного мог сделать для материального моего благополучия в будущем. Но зато я имел удовлетворение получить отпечатанную партитуру «Тангейзера». Ввиду того что мои прежние автографированные экземпляры благодаря небрежности Мезера пришли к концу, я еще из Венеции убедил Гертелей опубликовать ее. Но наследник Мезера, перенявший в полную собственность все издательство, считал для себя долгом чести не оставлять партитуры в чужих руках и взялся напечатать

ее за свой счет. К сожалению, год спустя мне пришлось совершенно переделать и заново написать две первые сцены, и по сей день я сожалею, что эта новая работа не вошла в напечатанный экземпляр.

Гертели, все еще находясь в убеждении, что «Тристан» будет иметь успех на сцене, принялись за печатание партитуры второго акта, когда я еще работал над третьим. Чтение корректур, в то время как композиция столь экстатического третьего действия причиняла мне величайшие затруднения, действовало на меня в высшей степени странным, почти устрашающим образом. Именно первые сцены последнего акта показали мне вполне определенно, что эта опера, которую все по какому-то странному заблуждению считали легкой для постановки, является самым рискованным и странным изо всего, что я когда-либо написал. Работая над большой сценой «Тристана», я часто невольно спрашивал себя, не сошел ли я с ума, что решаюсь предлагать издателю напечатать подобную вещь для театра. Но я не согласился бы пожертвовать ни одним горестным аккордом, хотя все это причиняло мне величайшие мучения.

Чтобы избавиться от проблем с пищеварением, я, между прочим, стал применять киссингенские воды в умеренных дозах. Но так как необходимые при этом прогулки, особенно ранним утром, утомляли меня и делали неспособным к работе, то мне пришло в голову заменить их непродолжительной верховой ездой. Хозяин отеля предоставил мне для этих упражнений старую, 25-летнюю лошадь по имени Лиза. На этой лошади я каждое утро катался до тех пор, пока она желала идти вперед. Я уезжал недалеко, так как в определенных местах лошадь неизменно поворачивала назад, нимало не считаясь с намерениями всадника.

350

Окончание «Тристана»

Так прошли апрель, май и большая часть июня, а я, все время борясь с самым унылым настроением, не подвинулся в своей композиции дальше середины третьего акта. В Люцерне между тем наступил сезон и начался съезд гостей. Гостиница со своими флигелями наполнилась приезжими, и о дальнейшем столь исключительном пользовании свободным помещением нечего было и думать. Мне предложили переселиться на второй этаж главного здания ввиду того, что там обыкновенно помещают останавливающихся на одну ночь швейцарцев, между тем как флигели предоставляются приезжающим на продолжительное время гостям, пользующимся, следовательно, своими комнатами в течение дня. В самом деле, это предложение оказалось для меня чрезвычайно удобным. В маленьком салоне с прилегающей к нему спальней я с этого времени пользовался полным покоем в часы работы, так как комнаты этого этажа, занимаемые только на ночь, днем совершенно пустовали.

Наконец наступили настоящие пышные летние дни. Великолепная погода при безоблачном небе держалась целых два месяца. Я наслаждался своеобразной прелестью защищенности от палящих лучей солнца, прохладой и полумраком, которые тщательно поддерживались в моей комнате. Лишь по вечерам, сидя на маленьком балконе, я отдавался действию летнего воздуха. Большое удовольствие доставляли мне хорошие горнисты. Почти каждый вечер, проезжая по озеру, они исполняли на рожке простые народные мелодии. По счастью, я преодолел к тому времени в работе самое трудное, и мягкое настроение той части поэмы, которую мне оставалось отделать в музыкальном отношении, привело меня, несмотря

на меланхолический характер, в состояние экстаза. В этом состоянии я и довел — к последним числам августа — всю композицию до конца. Оставалось только кое-что инструментовать.

351

Александр Серов

В моей уединенной жизни меня развлекали тревожные известия об итальянской войне. С понятным напряжением я следил за всеми перипетиями этого неожиданного и значительного события. Впрочем, я не совсем был лишен общества. В июле в Люцерн приехал на продолжительное время незнакомый мне до тех пор Феликс Дрезеке. Услышав в устроенном Листом концерте вступление к «Тристану и Изольде», он тут же решил лично со мной сблизиться. Его приход поверг меня в настоящий испуг, и я прямо не знал, что мне с ним делать. Так как, кроме того, он много рассказывал — в довольно остроумной форме — о лицах и обстоятельствах, к которым я все больше терял интерес, то общество его стало мне тягостно. К его крайнему изумлению, это так ясно сказалось в моем обращении, что по прошествии нескольких дней он счел нужным отстраниться от меня. Это поразило меня, и я приложил все усилия, чтобы изменить дурное мнение, какое у него могло обо мне составиться. Скоро я полюбил этого человека. В течение продолжительного времени, почти до самого его отъезда из Люцерна, я виделся с ним ежедневно. Это доставляло мне удовольствие, так как в его лице я имел дело с очень одаренным музыкантом, не страдающим никаким самомнением.

Ради меня в Люцерне на несколько недель поселился и Вильгельм Баумгартнер, мой старый цюрихский знакомый. Наконец, из Петербурга приехал и Александр Серов,

чтобы провести в моем обществе некоторое время. Это был оригинальный, интеллигентный человек, определенным образом ставший на сторону листовской и моей музыки. В Дрездене он слышал «Лоэнгрина» и хотел ближе ознакомиться с моими работами, в чем я должен был ему помочь, сыграв для него «Тристана» со свойственной мне манерой исполнения. С Дрезеке я совершил восхождение на Пилатус. При этом мне пришлось из сочувствия к подверженному головокружениям спутнику пережить вместе с ним мучения испытываемого им страха. На прощание я пригласил его в Бруннен и Грютли. Затем мы расстались, так как его скромные средства не позволяли ему более продолжительного пребывания в Швейцарии, да я и сам стал серьезно подумывать об отъезде.

352

Вопрос заключался в том, куда мне направиться. На этот раз я обратился письменно, через Эдуарда Девриента, а потом и непосредственно к Великому герцогу Баденскому, чтобы получить разрешение поселиться если не в самом Карлсруэ, то где-нибудь в его окрестностях. Даже этого было бы достаточно, чтобы удовлетворить ставшую для меня необходимостью потребность войти в отношения с оркестром и составом певцов. Мне надо было слышать их во что бы то ни стало. Позднее я узнал, что Великий герцог обратился по этому делу письменно к королю Саксонскому. Но ответ получался всегда один и тот же: что меня могли бы не амнистировать, а помиловать, если бы предварительно я отдал себя в руки правосудия. Исполнение моего желания оставалось, таким образом, невозможным, и я с тоской думал о том, как бы устроить так, чтобы предполагавшаяся постановка «Тристана» прошла при моем личном участии. Мне говорили, что Великий герцог примет все нужные для этого меры. Но где было искать

желанного приюта с некоторой гарантией его продолжительности? После долгих размышлений я решил, что не остается ничего другого, как снова двинуться в Париж, хотя бы для того, чтобы иметь возможность время от времени слышать хороший оркестр, превосходный квартет. Без этого жизнь моя в Цюрихе стала для меня в конце концов совершенно невыносимой. Но только Париж, где я буду жить беспрепятственно, гарантировал мне такие освежающие художественно-артистические впечатления в благородных формах искусства.

353

Наконец, я обязан был принять какое-нибудь решение относительно жены. Целый год мы прожили в разлуке. Суровые уроки, полученные ней от меня и, судя по ее письмам, не прошедшие бесследно, внушили мне надежду, что впредь совместная жизнь наша, устраняющая громадную трудность ее отдельного содержания, может сложиться довольно сносно. Мы условились, что встретимся поздней осенью в Париже. К тому времени я хотел позаботиться об устройстве квартиры, для чего необходимо было переправить нашу цюрихскую обстановку с полным хозяйством. Для выполнения этого намерения были необходимы дополнительные материальные средства, кроме тех, которые предстояло получить из определенных источников. Я предложил Везендонку то самое, чего пытался добиться у Великого герцога Веймарского, а именно купить у меня право на издание «Нибелунгов». Везендонк без единого возражения согласился на мое предложение, выразив готовность за каждую готовую часть произведения платить приблизительно такой же гонорар, какой он мог получить у издателя, которому захотел бы впоследствии переуступить приобретенное право собственности.

Теперь я должен был назначить день отъезда: я выбрал для этого 7 сентября, решив прежде всего посетить цюрихских друзей. Три дня я самым приятным образом провел в доме Везендонков, встретив у них старых знакомых, главным образом Гервега, Земпера и Готфрида Келлера. Мы провели вместе целый вечер, во время которого у меня с Земпером разгорелся страстный спор на тему о тогдашних политических событиях. Для Земпера только что побежденная Австрия олицетворяла поражение немецкой национальной идеи. В романском элементе, представляемом Луи Наполеоном, он видел олицетворение «ассирийского деспотизма», к которому питал настоящую ненависть как в искусстве, так и в политике. Он говорил об этом с такой резкостью, что даже вызвал на горячий спор обычно молчаливого Келлера. Земпер пришел в сильнейшее возбуждение. В конце концов он стал с величайшим отчаянием в голосе обвинять меня в том, что, способствуя его приглашению в дом Везендонков, я завлек его в ловушку врагов. Но расстались мы все же друзьями, и с тех пор, при позднейших встречах, наши споры никогда не принимали такого страстного характера.

Из Цюриха я поехал в Винтертур, чтобы посетить Зульцера. Я не застал его дома, а видел только его жену и мальчика, которого она ему родила. Оба они произвели на меня приятное, трогательное впечатление: оригинальный, рано состарившийся друг мой был теперь, очевидно, счастливым отцом.

354

Опять в Париже

15 сентября я прибыл в Париж. Квартиру я хотел снять где-нибудь неподалеку от Елисейских полей и потому решил остановиться пока в тех же краях. Действительно,

я нашел временное пристанище на Авеню Матиньон. Моей главной целью было отыскать желанный и долгожданный тихий приют в небольшом особняке, лежащем в стороне. Для этого я старался использовать всякое знакомство, какое только сохранилось в моей памяти. Оливье с женой в это время не было в Париже. Мадам д'Агу была больна и собиралась ехать в Италию. Она не могла меня принять лично, но направила к своей дочери, графине де Шарнак, которую я и посетил. Впрочем, мне не удалось заинтересовать ее своими планами. Я посетил также Герольдов, так любезно принявших меня в мой последний приезд. Но госпожу Герольд я застал в таком странном состоянии болезненной возбужденности и рассеянности, что мне не оставалось ничего другого, как успокоить ее и отнюдь не волновать никакими личными делами. При таких обстоятельствах, побуждаемый страстным нетерпением найти квартиру, я продолжал поиски, не дожидаясь дальнейших указаний и помощи со стороны.

В конце концов в одной из боковых улиц, примыкающих к Елисейским Полям, неподалеку от заставы Звезды, на Рю-Ньютон, отыскался хорошенький домик, смахивавший на павильон, с небольшим садиком. Я снял его на три года за 4000 франков в год. Во всяком случае здесь, вдали от уличного шума, я мог наслаждаться полной тишиной. Уже одно это чрезвычайно расположило меня в пользу нового помещения. В этом домике жил в последнее время известный романист Октав Фёйе, пользовавшийся покровительством при императорском дворе. Меня только удивляло, что, отнюдь не будучи старым строением, дом был так запущен внутри. Ничем, даже обещанием повысить квартирную плату, мне не удалось убедить домовладельца принять какие-нибудь меры, чтобы сделать дом более жилым. Лишь через некоторое время я понял, в чем дело: самое место вследствие новых планов

переустройства города в скором времени должно было подвергнуться полному разрушению. Было еще преждевременно официально извещать об этом домовладельцев, ибо требования о возмещении убытков, которые они немедленно предъявили бы, могли бы получить законную силу. Таким образом, я оставался в полном убеждении, что все предпринятое мной для очистки и благоустройства помещения послужит мне на целый ряд лет. Я смело отдал нужные распоряжения и выписал из Цюриха обстановку, уверенный, что отныне по воле судьбы я водворяюсь в Париж на всю жизнь.

Пока мои желания приводились в исполнение, я старался выяснить, какое значение могут иметь для моего будущего некоторые подмеченные признаки благоприятного отношения к моим работам. Я вновь отыскал того молодого человека, которому была поручена обработка «Риенци», де Шарналя, чтобы получить от него кое-какие сведения. Оказалось, что Карвальо, директор Лирического театра, не желает слышать ни о чем другом, кроме «Тангейзера». Мне удалось залучить этого господина к себе и поговорить с ним о деле. Он подтвердил, что чрезвычайно склонен поставить мою оперу, но непременно «Тангейзера», потому что, как он уверял, название этого произведения ассоциируется у парижан с моим собственным именем, и всякая попытка поставить из «вагнеровских» вещей что-либо другое показалась бы абсурдной. Что касается человека, которому я поручил обработку текста, то он сильно сомневается в удаче моего выбора. Я постарался ближе ознакомиться с работой Шарналя и, к ужасу, убедился, что любезный молодой человек, в последнее время тративший свои силы на подготовку мелодрамы Schinderhannes (принимавшейся им за немецко-романтический сюжет), не имеет ни малейшего представления о возложенной на него задаче. Тронутый

его усердием, я все-таки попытался «смастерить» с ним несколько годных для музыки стихов. Но скоро я увидел, что это совершенно потерянный труд.

355

Гасперини

От Бюлова я знал о молодом, более не практикующем враче Огюсте де Гасперини, с которым он познакомился в Баден-Бадене и в котором подметил особенный интерес к моей музыке. Вскоре я посетил и его. Но, не застав его в Париже, я обратился к нему с письмом. В свою очередь, он прислал ко мне своего друга Леруа, симпатичной внешностью расположившего меня в свою пользу. Он приобрел мое доверие главным образом тем, что сразу посоветовал не иметь отношений с таким «темным» сотрудником театральных газет, каким оказался Шарналь, и рекомендовал Роже, одаренного, опытного, владеющего немецким языком и пользующегося большой популярностью в Париже оперного певца.

У меня свалился камень с плеч. Я принял приглашение, которое Леруа доставил мне через посредство какого-то своего друга, и в один прекрасный день отправился в загородное имение Роже. Название имения этого прославленного в то время парижского тенора я забыл. Некогда это был замок какого-то маркиза, окруженный громадным охотничьим парком. Именно страсть его к охоте и была причиной несчастья, незадолго перед тем лишившего симпатичного певца правой руки. Теперь, по прошествии нескольких месяцев со времени этой катастрофы, я нашел Роже совершенно выздоровевшим. Но правая рука была у него ампутирована до локтя. Все зависело от того, оправдается ли уверенность знаменитого механика, обещавшего заменить отсутствующую руку искусственной,

годной для движений на сцене. Как я мог убедиться некоторое время спустя, ожидание это действительно оправдалось довольно удовлетворительным образом. В бенефисном спектакле, предоставленном Роже администрацией Парижской оперы, он с необыкновенной ловкостью действовал правой рукой. Это вызвало бурные аплодисменты публики. Тем не менее ему пришлось убедиться, что его считают «инвалидом», и с этого времени карьера его на сцене Парижской оперы пошла на убыль.

В настоящий момент ему было приятно, что мое предложение открывало ему путь к литературной деятельности. Он с радостью согласился заняться «Тангейзером». Сделав перевод нескольких главных мест текста, он спел отрывки, показавшиеся мне очень удачными. Проведя у него целый день и переночевав, я покинул замок этого человека, бывшего до сих пор баловнем судьбы и отныне обреченного на грустное будущее. Я уехал в хорошем настроении, с надеждами в сердце. Его бережное проникновение в суть моей оперы дало мне приятное представление о высокой культурности французского духа. Тем не менее мне скоро пришлось отказаться от сотрудничества с Роже. Поглощенный всецело своим собственным положением и попытками при данных грустных обстоятельствах найти для себя новую почву деятельности, он оставлял почти без ответа мои запросы о ходе работы. Вскоре я окончательно потерял его из виду.

356

Роже. «Тристан» в Карлсруэ

Но и эту попытку — привлечь к сотрудничеству Роже — я предпринял скорее случайно, чем повинуясь решительному внутреннему побуждению. Я все еще держался первоначального намерения — смотреть на Париж

лишь как на удобное для меня местопребывание, серьезные художественно-артистические планы были по-прежнему рассчитаны на Германию. Но она оставалась для меня недоступной. В скором времени дела мои получили иное направление. Меня известили, что постановка в Карлсруэ «Тристана», на которую я рассчитывал, окончательно отменяется. Для меня так и осталось невыясненным, что послужило главной причиной к отмене предприятия, встретившего такое серьезное к себе отношение вначале. Э. Девриент написал мне, что его попытки найти подходящую исполнительницу для роли Изольды остались безуспешными после того, как я высказался против певицы Гарригуэс (она была замужем за молодым Шнорром), что он не видит никакого выхода из создавшегося положения, тем более что и столь преданный мне тенор Шнорр отчаялся в возможности исполнить последнюю часть своей роли.

Было ясно, что на пути моем встала какая-то помеха, которую мне удалось бы устранить, если бы я получил возможность на короткое время появиться в Карлсруэ. Но самое это желание, едва я успел его высказать, вызвало полное против меня озлобление. Особенно Девриент проявил при этом необыкновенную страстность и непреклонность, и это обстоятельство навело меня на мысль, что причина моего недопущения в Карлсруэ лежит главным образом в его личном нежелании моего вмешательства в дело управления театром. Тогда мне показалось уже более понятным, что Великий герцог, чувствуя неловкость от невозможности разрешить мне посещение его столицы — при им же самим открытых в этом направлении перспективах, — нашел желанный выход из создавшегося положения в том, чтобы предлог поездки отпал вследствие других каких-нибудь причин. От Бюлова, побывавшего

несколько раз в Карлсруэ, я получил достаточные указания на поведение в этом деле Девриента. Но ясное представление об этом я составил себе впоследствии. Для данной минуты пришлось сделать заключение огромной важности: что от Германии я отрезан, что для постановки «Тристана», к которой я так стремился, я должен искать новой сцены.

У меня быстро возник план в самом Париже основать немецкое театральное предприятие, подобное тем, какие создавались в прежние годы, главным образом при участии Шрёдер-Девриент. Я считал возможным твердо рассчитывать на то, что известные выдающиеся певцы немецких театров охотно последуют моему приглашению, если я предложу им принять участие в таком предприятии. Действительно, Тихачек, Миттервурцер, тенор Ниман, как и венская певица Луиза Майер, сейчас же ответили согласием на случай, если мне удастся на солидных основаниях организовать в Париже немецкую оперу. Таким образом, осталась нелегкая задача в самом Париже найти человека, который согласился бы взять на себя весь риск подобного предприятия. План мой заключался в том, чтобы по окончании итальянского оперного сезона снять зал Вантадур на два весенних месяца и для парижан, главным же образом для себя самого, поставить «Тангейзера», «Лоэнгрина», а затем и «Тристана» в исполнении лучших немецких солистов и хоровых сил.

357

Беллони. Джакомелли. Вантадур

Этот план давал моим заботам и усилиям совершенно новое направление, весьма отличное от первоначальных целей моего поселения в Париже. Теперь для меня получили большое значение знакомства, особенно влиятельные.

По этой причине приятно было узнать, что Гасперини, с которым я до сих пор поддерживал лишь поверхностные отношения, приехал в Париж на продолжительное время. Я сейчас же сообщил ему о своих планах и через него близко познакомился с очень расположенным к нему, богатым и, как я узнал, не лишенным влияния человеком, неким Люси, генеральным сборщиком податей в Марселе. Во всех наших беседах неизменно отмечалась необходимость прежде всего найти кого-нибудь, кто согласился бы дать нужное для предполагаемого предприятия финансовое обеспечение. Мой друг Гасперини не мог не признать, что с моей стороны было естественно на основании им же самим высказанных предположений видеть в Люси человека, наиболее в этом отношении пригодного. Но ему казалось благоразумнее высказать Люси эту мысль с некоторой осторожностью, так как друг его хотя и обладает chaleur de coeur[33], но человек деловой и в музыке смыслит мало.

В первую очередь оказалось необходимым ознакомить со мной и моей музыкой парижан, а затем уже на достигнутых в этом направлении результатах строить дальнейшее. С этой целью я решил в виде первого шага дать несколько больших концертов. Чтобы осуществить это намерение, я сейчас же приобщил к кругу моих ближайших знакомых своего старого друга Беллони, бывшего секретаря Листа. Он свел меня со своим компаньоном, очень интеллигентным и, по-видимому, хорошим человеком по имени Джакомелли, редактором одной театральной газеты. Беллони хвалил мне его «прекрасный французский язык», как и вообще его необычайную подвижность и деятельность. Оригинальная контора редакции моего нового покровителя стала одним из важнейших пунктов для ежедневных свиданий со всевозможными своеобразными

[33] Доброе сердце (*фр.*).

личностями, с которыми приходится сталкиваться в Париже по театральным и тому подобным делам.

Надо было приискать для предполагаемых концертов наиболее подходящий зал. Было очевидно, что с наибольшим успехом я мог бы выступить перед парижской публикой, если бы имел в своем распоряжении помещение и оркестр Парижской оперы. Для этого надо было обратиться к императору Наполеону III, что я и сделал в сжатом письме, которое Гасперини отредактировал. При этом надо было принять во внимание враждебное ко мне отношение тогдашнего министра Фульда, о котором можно было судить по его дружеским чувствам к Мейерберу. Его зловредному влиянию, внушавшему нам некоторые опасения, надо было противопоставить влияние Моккара, секретаря Наполеона и — как уверял Оливье — составителя императорских речей. В порыве пылкого великодушия Люси решил обратиться с письмом к Моккару, которого помнил как друга юности. Но когда и на это не последовало из дворца Тюильри никакого ответа, сомнения мои в возможности противодействовать главному министру под влиянием бесед с более практическими друзьями, Беллони и Джакомелли, стали расти, и я решил вступить в переговоры с Кальцадо, директором Итальянской оперы. С первого же шага мы получили от него отказ, вследствие чего я отправился к нему лично. И действительно, сила моего красноречия удивила меня самого. Нарисовав перспективу возможного большого успеха постановки моей последней оперы «Тристан», я вынудил у него обещание сдать мне зал Вантадур на три вечера с промежутком в неделю. Однако от суммы 4000 франков, которую он назначил за каждый вечер, за помещение и освещение, он отступиться ни за что не хотел при всей пламенности моих доводов, которыми по пути домой Джакомелли очень восхищался.

358

Берлиоз и Мейербер

Теперь важно было собрать для моих концертов превосходный оркестр, что причинило моим агентам немало хлопот. Их усилия в этом направлении вызвали к жизни первые признаки неожиданного враждебного отношения ко мне и моему предприятию со стороны моего старого друга Берлиоза.

Памятуя те впечатления, какие оставались у меня от встречи с Берлиозом в Лондоне в 1855 году, впечатления, которые он сам же поддерживал дружеской перепиской, я сейчас же по приезде в Париж отправился к нему. Не застав его, я ушел, но встретил его на улице по пути домой. Я заметил, что при виде меня им овладел испуг, отразившийся на его лице и во всем его облике поистине ужасным образом. Это открытие не оставило ни малейшего сомнения относительно подлинного характера наших отношений и чрезвычайно поразило меня. Однако я постарался скрыть свое чувство под видом естественной озабоченности состоянием его здоровья. Он сейчас же заверил меня, что здоровье его действительно чрезвычайно плохо, так как его мучают сильные приступы невралгии, от которых некоторое облегчение доставляет ему лечение электричеством. С одного из таких лечебных сеансов он возвращался домой. Не желая увеличивать его страданий, я предложил сейчас же покинуть его, но это, в свою очередь, так пристыдило его, что он стал настоятельно просить меня подняться с ним в его квартиру. Здесь мне удалось настроить его несколько дружелюбнее. Я открыл ему мои намерения относительно Парижа, объяснив, что даже концертное предприятие, которое я затеял, имело целью привлечь ко мне внимание публики лишь настолько, насколько это необходимо для успешной организации

немецкой оперы. Я рассчитывал поставить свои собственные, еще не слышанные мной со сцены произведения. О постановке «Тангейзера» на французском языке, на которую, по-видимому, рассчитывал директор Карвальо, я и не думаю. Эти объяснения повели к тому, что у меня с Берлиозом на некоторое время установились весьма сносные на первый взгляд даже дружеские отношения. Вот почему я счел возможным направить своих агентов, занятых подысканием оркестровых музыкантов, к своему другу: при своей опытности он должен был дать им весьма ценные советы. От них я узнал, что вначале Берлиоз отнесся к моему делу с большим участием, но затем все резко изменилось, когда однажды мадам Берлиоз вошла в комнату во время их переговоров и голосом, полным досады и изумления, воскликнула: Comment, je crois que vous donnez des conseils pour les concerts de Mr. Wagner?[34] Беллони узнал, что как раз в то время Мейербер прислал ей ценный браслет. «Не рассчитывайте на Берлиоза!» — таков был совет сведущего агента. Тем дело и кончилось.

359

Приезд Минны в Париж

Вообще с этих пор физиономия моего доброго Беллони представлялась мне не иначе как с печатью тяжелых забот. Он убедился, что парижская пресса настроена по отношению ко мне в высшей степени враждебно, причем ни минуты не сомневался, что это является следствием чрезвычайных волнений, которые Мейерберу приходилось в это время переживать в Берлине. Он передавал о деятельной переписке, идущей между Берлином и главнейшими фельетонистами парижских газет, и между

---

[34] Как я полагаю, это вы дали совет насчет концертов месье Вагнеру? (*фр.*)

прочим рассказал, что знаменитый Фиорентино использовал смущение, в какое повергли Мейербера мои парижские планы: он пригрозил ему, что признает мою музыку хорошей, и это, разумеется, заставило Мейербера пустить в ход колоссальнейшие взятки. Все это сильно беспокоило Беллони, и он советовал мне подумать о финансовой поддержке предприятия или же, если у меня в этом смысле нет никаких видов, добиться возможности опереться на власть императора.

Его уверения, что устройство концертов, которое я готов был взять на свой собственный страх, является весьма рискованным предприятием, если мне не удастся обеспечить их материальной поддержкой со стороны, побудили меня соблюсти известную осторожность, ибо переселение и жизнь в Париже истощили мои ресурсы. Все это заставило меня с удвоенной энергией возобновить начатые переговоры с дворцом Тюильри о бесплатном использовании Парижской оперы и ее оркестра. Тут Оливье выступил с советами и остроумными предложениями, приводившими меня к чрезвычайно странным, хотя и весьма мимолетным отношениям с людьми. Так, между прочим, я попал в кабинет Камиля Дусе (одного из шефов в министерстве Фульда и в то же время драматурга): этим путем я надеялся приблизиться к неприступному, страшному, главному министру и мейерберианцу. Одной из таких рекомендаций я обязан продолжительными, весьма дружескими, хотя и совершенно для меня бесполезными переговорами с Жюлем Ферри. Император и его секретарь упорно молчали, даже после того как через Великого герцога Баденского мне удалось добиться содействия его посла в Париже и швейцарского посла д-ра Керна. Их объединенные усилия преследовали одну цель: объяснить мне, а также и императору отношение к данному делу всемогущего Фульда. Но напрасно. Все кругом молчали.

При таких обстоятельствах я получил от Минны извещение о близком ее приезде в Париж. В этом я увидел чрезвычайно странное вмешательство судьбы в мои дела. Как при выборе, так и при устройстве домика на Рю-Ньютон я имел в виду условия будущей совместной жизни с Минной. Мое помещение отделялось лестницей от ее комнат, и я позаботился о том, чтобы и они не были лишены уютности. Во мне снова проявилась склонность, развившаяся во время нашего последнего совместного пребывания в Цюрихе: рискуя навлечь на себя упрек в любви к излишней роскоши, я постарался с помощью изысканной обстановки придать своему жилищу как можно более комфорта и красоты, что должно было скрасить совместную жизнь с женщиной, которая становилась все более и более чуждой мне. В домике на Рю-Ньютон представлялась, кроме того, возможность устроить салон, и, хотя я отнюдь не проявил при этом никакой расточительности, все же оказалось, что бесконечная возня с ненадежными парижскими рабочими, кроме огромных хлопот и неприятностей, ввела меня в непредвиденные раньше расходы. Я утешал себя тем, что, раз это неизбежно, Минна, войдя в дом, в котором ей придется вести хозяйство, сразу обретет хорошее настроение. Затем я счел нужным позаботиться о сиделке, и с этой целью обратился за советом к мадам Герольд. Она рекомендовала мне подходящую особу. Сейчас же по приезде Минны я взял себе слугу. Довольно глупый парень, уроженец Валлиса, раньше находившийся в папской лейб-гвардии, он скоро сильно ко мне привязался.

360

К этому персоналу присоединилась прежняя кухарка Минны, в сопровождении которой она приехала 17 ноября. На вокзале Минна вручила мне своего попугая

и собачку Фипса, что невольно напомнило прежнюю встречу, десять лет назад, в гавани Роршах. Совершенно как тогда, она сейчас же дала мне понять, что ее заставила приехать отнюдь не нужда, что, если я буду скверно обращаться с ней, она знает, куда вернуться. Впрочем, я не мог не заметить, что в ней все-таки произошла немалая перемена. Она созналась, что чувствует беспокойство и страх, какие бывают у человека, поступающего на службу и не знающего, уживется ли он на новом месте. Я пытался рассеять ее сообщениями о своем внешнем положении, не замедлив дать ей возможность выказать свое участие. К сожалению, она не проявила ко всему этому ни малейшего интереса, ни сочувствия, обратив все внимание исключительно на внутреннее убранство нашего дома. К тому, что я взял себе слугу, она отнеслась с иронией, но пришла в бешенство, узнав, что под видом домработницы я пригласил необходимую для нее, как мне казалось, сиделку. Эта особа, о которой госпожа Герольд в виде особой рекомендации рассказывала мне, что она с ангельским терпением ухаживала за ее больной престарелой матерью, скоро до такой степени деморализовалась благодаря обращению Минны, что я сам счел необходимым отказать ей. При этом я навлек на себя сильные упреки тем, что на прощанье дал ей небольшое вознаграждение.

Еще сильнее сказалась перемена в поведении моего слуги, заявившего, что он не намерен принимать приказания от моей жены, и в ответ на мои возражения позволившего себе такую дерзость в обращении со мной, что я был вынужден отправить и его поскорее. У меня осталась очень солидная ливрея, которую я незадолго перед тем приобрел за большие деньги — впредь ей суждено было висеть без всякой пользы, так как я не имел больше никакого желания брать себе слугу. Но зато я должен был выдать самую лестную аттестацию швабке Терезе, которая

одна справлялась со всей работой по дому. Эта женщина, одаренная необыкновенным природным умом, вполне ясно видела всю трудность моего положения, как нельзя лучше отдавала себе отчет в дурных качествах Минны. Она умела сглаживать их как к моей личной выгоде, так и к преуспеянию всего нашего хозяйства.

Сближение с Минной опять сомкнуло вокруг меня не раз пережитый круг: предстояло, по-видимому, начать все с самого начала. По счастью, не было и речи о жизни в тиши и уединении. Теперь завязывалась бесконечная цепь внешних отношений и действий, в которую я был вовлечен судьбой против воли, против всех моих склонностей.

361

Продажа «Золота Рейна» Шотту

С наступлением 1860 года в делах моих наступил неожиданный поворот, открывавший моим предприятиям новую возможность успеха. Венский капельмейстер Эссер передал мне желание музыкального издателя Шотта в Майнце приобрести у меня новую оперу. В данный момент я мог предложить только «Золото Рейна». Но своеобразная структура этого произведения, которое должно было служить прологом большой трилогии о Нибелунгах, не позволяла предложить его прямо как «оперу», без дальнейших пояснений. Однако желание Шотта непременно включить в каталог своих изданий какое-нибудь новое мое произведение было так сильно, что, поборов все сомнения, я согласился предоставить ему эту вещь за 10 000 франков, не утаив от него всей трудности ее распространения. Я гарантировал ему приобретение последующих трех главных частей, по той же цене за каждую. Тут же я решил, если Шотт согласится на мои условия, употребить неожиданный доход на парижское предприятие.

Утомленный упорным молчанием императорского кабинета, я дал агентам поручение окончательно условиться с синьором Кальцадо относительно найма помещения Итальянской оперы на три концерта и собрать оркестр и певцов-солистов. Когда хлопоты эти были в полном ходу, меня начало беспокоить продолжительное отсутствие ответа от Шотта. Чтобы не потерять его окончательно, я письменно поручил музикдиректору Шмидту во Франкфурте продолжать переговоры с Шоттом на почве значительных уступок в моих требованиях. Едва я отправил это письмо, как получил извещение от Шотта, что он согласен на мои условия. Это заставило меня немедленно послать Шмидту телеграмму и взять назад данное ему полномочие.

С большой бодростью мы продолжали начатые приготовления к концертному предприятию, поглощавшие всю мою энергию. Надо было позаботиться о хоре, и я решил усилить дорогостоящий состав Итальянской оперы хором одного немецкого певческого кружка, находившегося под управлением некоего Эманта. Чтобы расположить этот хор в мою пользу, мне пришлось однажды вечером посетить его в помещении общества на Рю-дю-Темпль и с веселым видом переносить атмосферу пивных паров и табачного дыма среди откровений буржуазно-немецкого художественно-артистического вкуса. Кроме того, я вошел в сношения с господином Шером, учителем и регентом кружка французской народной песни, читавшим лекции в Ecole de médecine[35]. У него я встретил одного чудака-энтузиаста, ожидавшего возрождения французского народного духа от своей методы, заключавшейся в обучении пению без нот. Но самые

[35] Школа медицины (*фр.*).

неприятные затруднения проистекали для меня из необходимости переписать большую часть оркестровых партий в выбранных для исполнения фрагментах. Для этого я пригласил разных бедных немецких музыкантов, которые с утра до ночи сидели у меня, под моим руководством и наблюдением делая эту трудную работу.

Среди этих хлопот, которым я отдавался с большой страстью, застал меня Ганс фон Бюлов, приехавший в Париж на продолжительное время, как потом оказалось, не столько для устройства своих собственных дел концертирующего виртуоза, сколько для того, чтобы оказать мне посильную помощь в организации предприятия. Он жил у матери Листа, но большую часть дня проводил у меня, чтобы оказаться под рукой, как только в нем будет какая-нибудь надобность, как, например, сейчас, при изготовлении копий. Он помогал мне всем, чем мог. Но главной своей целью он поставил использовать для успеха предприятия свои общественные связи, приобретенные в Париже при содействии жены во время прошлогоднего посещения. Результаты его стараний сказались впоследствии. А пока он содействовал мне в устройстве самих концертов, в прохождении уже начавшихся репетиций.

362

Приготовление к концертам

Первая из этих репетиций происходила в зале Герца. Она вызвала сильное возмущение музыкантов против меня, походившее на открытый мятеж. Все время приходилось спорить из-за привычек, в которых я считал нужным им не уступать, стараясь убедить их доводами рассудка. Особенно возмущало их то, что я отбивал размер в шесть восьмых по схеме размера в четыре четверти, против чего они шумно протестовали, утверждая, что его надо

отбивать по схеме alla breve. В ответ на мой резкий призыв к дисциплине, необходимой в порядочном оркестре, мне заявили, что тут не прусские солдаты, а свободные люди.

Увидав, что один из главных недочетов заключается в неправильном расположении оркестра, я для ближайшей второй репетиции придумал новый план. Посоветовавшись со своими друзьями, я пришел на репетицию с раннего утра, сам распорядился целесообразной расстановкой пультов и потом заказал для всех музыкантов достаточно обильный завтрак, к которому я их и пригласил перед началом репетиции. Я сказал им, что от исхода сегодняшнего собрания зависит судьба моих концертов, что мы не должны покинуть этот зал, не согласившись в главном. Поэтому я прошу их сначала сделать двухчасовую репетицию, а затем, перекусив в соседнем зале, сейчас же повторить ее. За эту репетицию я заплачу особо. Мое предложение произвело эффект. Выгодное размещение оркестра способствовало сохранению хорошего настроения, а впечатление от увертюры к «Лоэнгрину» было настолько благоприятно, что с энтузиазмом прорвалось наружу. Уже в конце первой репетиции все: и музыканты, и слушатели, среди которых находился и Гасперини, — оказались до последней степени увлеченными моей музыкой. Это хорошее настроение отразилось благоприятным образом на генеральной репетиции, происходившей на сцене Итальянской оперы. Здесь пришлось в резких выражениях удалить из оркестра небрежного трубача, не нанеся этим ни малейшей обиды духу товарищества.

25 января 1860 года состоялся, наконец, первый концерт. Прием, оказанный публикой всей программе — она состояла из отрывков различных опер, вплоть до «Тристана и Изольды», — был вполне благоприятный, даже восторженный. Один номер, марш из «Тангейзера», был прерван

бурными аплодисментами, вызванными неожиданным для публики радостным открытием, что музыка, о которой говорилось столько противоречивого, заключает в себе столь длительные связные мелодии.

363

Фиаско. Письмо Берлиоза

Вполне удовлетворенный концертом со стороны как исполнения, так и приема публики, я должен был в последующие дни пережить противоположные впечатления, которыми я был обязан появившимся отзывам в печати. Оказалось, что Беллони предсказывал совершенно правильно, и то обстоятельство, что представителям прессы именно вследствие его предсказаний не были посланы приглашения, только усилило злобу наших противников. Но предприятие имело целью возбуждение интереса среди энергичных друзей, а не похвалы рецензентов, и бушевание этих господ беспокоило меня меньше, чем отсутствие благоприятных проявлений с другой стороны. Но больше всего меня тревожило, что зал, казавшийся переполненным, дал не более 5000–6000 франков, между тем как цифра расходов превышала 11 000. Конечно, убытки удалось бы покрыть, если бы можно было ожидать повышенного сбора от второго концерта, уже не требовавшего больших расходов. Однако Беллони и Джакомелли призадумались. Они не считали возможным скрыть от себя то обстоятельство, что концерт вообще не в жанре французов; для них требуется непременно драматический элемент: костюмы, декорации, балет.

Продажа билетов на второй концерт, назначенный на 1 февраля, шла так туго, что, желая спасти мою репутацию, агенты сочли нужным принять меры для искусственного наполнения зала. Я должен был предоставить

им полную свободу действий. Потом я удивлялся, что им удалось заполнить первые ряды аристократического театра — все, даже враги, были введены в заблуждение. Сбор с этого концерта составил немногим более 2000 франков, и нужны были все мои упорство и презрение к трудностям, стоявшим на пути, чтобы при таких обстоятельствах не отменить третьего концерта, назначенного на 8 февраля.

Полученный от Шотта гонорар, часть которого пришлось потратить на увеличившиеся нужды по ведению дома, пришел к концу, и надо было позаботиться о субсидии. С большими усилиями через посредство Гасперини мне удалось получить ее от человека, привлечение которого составляло, в сущности, цель всего моего предприятия. Это был уже упомянутый генеральный сборщик податей из Марселя Люси, который должен был приехать в Париж ко времени моих концертов. Мой друг Гасперини рассчитывал, что значительный успех у парижской публики побудит Люси взять на себя финансовую сторону проекта, касающегося организации немецкой оперы. Между тем к первому концерту Люси не приехал, а явился только в середине второго, да и то заснул во время исполнения. Когда к нему обратились с просьбой о займе в несколько тысяч франков, необходимых для осуществления третьего концерта, он ценой ссуды счел себя застрахованным от всяких дальнейших посягательств с нашей стороны. Несомненно, он испытывал известное удовлетворение, отделавшись от участия в моих планах. Если третий концерт и мне самому казался бесполезным, все же он доставил мне большое удовольствие как исполнением музыкантов, так и прекрасным приемом со стороны публики. На этот раз она собралась в значительно большем числе, хотя моим агентам пришлось принять некоторые меры, чтобы все места оказались занятыми.

Необычайное впечатление, какое моя музыка произвела на отдельных лиц, действовало на мое настроение сильнее, чем досада, вызванная внешней неудачей концертного предприятия. Несомненно, я стал центром исключительного внимания, и этим я непосредственно был обязан как упомянутому впечатлению, так и — в более отдаленной степени — отзывам прессы. Тот факт, что я не послал приглашения ни в одну из газет, был оценен как изумительная смелость с моей стороны. Поведение рецензентов оправдало мои ожидания. Я только жалел о том, что такие люди, как Франк-Мари, корреспондент La Patrie[36], который в конце первого концерта в сильнейшем волнении обратился ко мне с выражениями благодарности, сочли себя вынужденными беспрекословно подчиниться чувству товарищества и отрицать собственное благосклонное отношение ко мне.

Но поистине досадным образом обратила на себя всеобщее внимание статья Берлиоза в Journal des Débats. В ней настроение его, сдержанное вначале, прикрытое замысловатыми, вычурными фразами, под конец прорвалось в форме явно коварных инсинуаций. Я решил не оставить без отклика дурного по отношению ко мне образа действий старого друга и ответил письмом, которое я дал перевести на хороший французский язык и не без затруднений поместил в Journal des Débats. Письмо это чрезвычайно расположило в мою пользу тех, на кого мой концерт оказал значительное воздействие. Ко мне явился некий Перрен, бывший директор Опера-Комик, в настоящее время состоятельный эстет и живописец, впоследствии директор Парижской оперы. Он слышал «Лоэнгрина» и «Тангейзера» в Германии и излил свое восхищение в таких выражениях, которые заставили меня предположить,

[36] «Родины» (*фр.*).

что, если ему представится для этого удобный случай, он сочтет для себя честью пропагандировать эти произведения во Франции. Таким же образом, путем немецких постановок, ознакомился с моими операми и граф Фуше де Карей, завязавший со мной отменно хорошие, длительные отношения. Он заслужил известность публикацией различных работ по немецкой философии, главным образом изданием Лейбница. Для меня не могло не представить известного интереса общение с достойной уважения, совершенно незнакомой стороной французского интеллекта в лице этого человека.

Обойду молчанием несколько поверхностных знакомств, которые я приобрел в то время. Среди них особенно выделялся один русский, граф Толстой. Но не могу не упомянуть о прекрасном впечатлении, какое произвел на меня романист Шанфлери своей увлекательно-доброжелательной брошюрой, предметом которой были я и мои концерты.

В ее беглых афоризмах сказывалось сильное чувство, вызванное моей музыкой и даже моей личностью, подобного которому, за исключением восторженных статей Листа о «Лоэнгрине» и «Тангейзере», мне никогда не приходилось встречать. Чувство это было выражено в ярких и возвышенных словах. При последовавшем затем личном знакомстве с Шанфлери я увидел пред собой очень простого, «уютного» человека, какие теперь встречаются редко. Он принадлежал к вымирающим типам французского населения.

364

Бодлер. Мальвида фон Мейзенбуг

Еще значительнее было сближение со мной поэта Бодлера. Началось оно с письма, которое он мне написал. Бодлер выразил свои впечатления от моей музыки: он

считал себя прежде человеком, обладавшим чувством красок, но отнюдь не чувством звуков. Высказанные им по этому поводу мысли, с сознательной смелостью вращавшиеся в области самой оригинальной фантастики, сразу показали мне человека необыкновенного духовного облика. Он с удивительной мощью разбирался в своих ощущениях и делал из них самые крайние выводы. К подписи своей он не прибавил адреса, чтобы, как он объяснил, не дать мне повода подумать о каких-нибудь домогательствах с его стороны. Само собой разумеется, я разыскал и посетил его и включил в круг тех знакомых, которых я с этих пор стал приглашать к себе раз в неделю, по вечерам. Для таких приемов я назначил среду.

Так советовали поступить мои парижские знакомые, среди которых неизменно верным оставался Гасперини, объяснив, что это соответствует парижским нравам. Таким образом, у меня, в маленьком домике на Рю-Ньютон, открылся, согласно моде, настоящий «салон», что давало Минне гордое сознание респектабельности ее положения, несмотря на то что для бесед она имела в своем распоряжении лишь жалкие крохи французского языка. Этот салон, к которому дружески примкнули и супруги Оливье, привлекал все больше и больше посетителей. Здесь появилась однажды и моя старая знакомая, Мальвида Мейзенбуг, чтобы с этих пор на всю жизнь стать моим близким другом. Лично мы встретились только раз, во время моего пребывания в Лондоне (1855). Но еще до того она письменно высказала мне свой энтузиазм по поводу моей книги «Произведение искусства будущего». Тогда, в Лондоне, где мы раз провели вместе вечер в семействе Альтхаус, она была полна тех желаний и планов относительно совершенствования человеческого рода, которые я сам же исповедовал, но от которых, познав под влиянием Шопенгауэра глубокий трагизм мира и ничтожность его

явлений, отвернулся почти с раздражением. Мне было неприятно в споре с этим вдохновенным другом видеть, что я не понят и являюсь в ее глазах почти ренегатом благородной идеи. Мы расстались с чувством глубокого недовольства друг другом. Теперь я почти испугался, увидав Мальвиду в Париже. Но всякое неприятное воспоминание о лондонских дебатах исчезло, как только она заявила мне, что тогдашний спор имел для нее весьма решительные последствия, побудив ее немедленно приступить к ознакомлению с философией Шопенгауэра. Путем серьезного изучения она поняла, что взгляды ее, высказанные с такой решительностью относительно возможности осчастливить мир, должны были своей банальностью вызвать во мне сильнейшую досаду. Теперь она заявила себя моей горячей последовательницей и в качестве таковой сейчас же взяла на себя роль до крайней степени озабоченного моим благосостоянием друга.

Как этого требовало приличие, я постарался сблизить ее с женой. От Мальвиды не укрылась глубокая дисгармония нашей совместной жизни, носившей внешнюю форму брака, и с сердечной заботливостью она старалась ослабить ее дурные последствия. Скоро ей стала вполне ясна и затруднительность моего положения в Париже при почти безрезультатных предприятиях и полном отсутствии материального обеспечения. Громадный урон, причиненный тремя концертами, в конце концов не составлял тайны ни для кого из лиц, интересовавшихся мною. Мальвида поняла трудность моего положения, ибо не было никаких видов на какие-нибудь практические выгоды, которые могли бы вознаградить меня за принесенные жертвы. Из собственных побуждений она сочла себя обязанной позаботиться о помощи, для чего решила познакомить меня с некоей госпожой Швабе, вдовой богатого английского купца, в доме которой она исполняла обязанности

воспитательницы старшей дочери. Она не скрывала от меня, как и от себя самой, неприятных сторон этого знакомства, но рассчитывала на добродушие довольно вульгарной женщины, на ее тщеславие, которое должно побудить ее чем-нибудь отблагодарить меня за честь приглашения в мой салон.

Действительно, мои средства к существованию пришли к концу. Но отвращение, какое я почувствовал, узнав, что среди парижских немцев собираются устроить сбор в мою пользу с целью вознаградить меня за понесенные на концертах потери, дало мне мужество отрицать свое тяжелое положение. Я сейчас же заявил, что предположения относительно моей нужды основаны на ложных слухах, что я буду вынужден отклонить все попытки, которые могут быть сделаны в этом направлении. Но госпожа Швабе, неизменно появлявшаяся на моих вечерах и столь же неизменно засыпавшая во время исполнения музыкальных номеров, сочла нужным предложить мне через заботливую Мейзенбуг свою личную поддержку. Это была сумма приблизительно в 3000 франков, которая в данный момент была мне до крайности нужна. Не желая принять эти деньги в качестве подарка, я добровольно выдал г-же Швабе, отнюдь этого не требовавшей, годичный вексель. Она добродушно приняла его, не с целью обеспечить себе погашение долга, а исключительно из желания пойти навстречу моей щепетильности. Когда наступил срок, а положение мое исключало всякую возможность покрыть обязательство, я обратился к оставшейся в Париже Мейзенбуг с просьбой испросить у находящейся за границей обладательницы векселя согласия на его возобновление. Мейзенбуг ответила самым серьезным образом, что я могу избавить себя от незначительных хлопот, так как Швабе никогда не смотрела на переданную мне сумму иначе как на добровольную, льстившую ее тщеславию, поддержку

парижского предприятия, к которому она питала живой интерес. Позднее мы узнаем, как это дело обстояло в действительности.

365

Россини. Галеви. Маршал Маньян

В это полное треволнений время я был и удивлен, и тронут подарком, присланным в знак преданности одним дрезденским жителем, Рихардом Вайландом. Это была довольно искусно выполненная работа из серебра, представлявшая окруженный лавровым венком нотный лист. На нем были выгравированы начальные такты главных тем всех моих опер, включая и «Золото Рейна», и «Тристана». Этот скромный человек позднее посетил меня и рассказал, что он ездил во все города, где ставились мои оперы. От «Тангейзера» в Праге у него осталось в памяти, что исполнение увертюры продолжалось целых двадцать минут, между тем как под моим управлением в Дрездене она длилась двенадцать.

Очень приятное впечатление, но совсем другого рода произвело на меня знакомство с Россини. Какой-то газетный остряк приписал ему следующую шутку. Однажды за обедом, выслушав своего друга Карафу, заявившего, что тот является почитателем моей музыки, он пододвинул ему рыбу без соуса, желая этим подчеркнуть, что друг его признает музыку без мелодий. Россини серьезно и определенно запротестовал в открытом письме, заявив, что приписываемое ему bon mot[37] он считает mauvais blague[38], что он никогда не позволил бы себе подобных шуток по отношению к человеку, со стороны которого он видит попытки расширить область искусства, в которой он работает

---

[37] «Красное словцо» (*фр.*).

[38] Досадная ошибка (*фр.*).

сам. Узнав об этом, я не замедлил посетить Россини и был принят им очень любезно. Это посещение я описал потом в статье, посвященной моим воспоминаниям о композиторе. Не менее обрадовал меня старый знакомый Галеви, принявший в дебатах о музыке мою сторону. О моем посещении у него, как и о сложившемся между нами разговоре, я говорил прежде, упреждая ход событий.

Однако изо всех этих встреч и знакомств, действовавших на меня приятным и ободряющим образом, не выходило ничего. Не было никаких перспектив на изменение моего положения. Я все еще оставался в неизвестности, получу ли какой-нибудь ответ на обращенную к императору Наполеону III просьбу, будут ли мне предоставлены силы Парижской оперы для повторения моих концертов. Только в таком случае, т. е. если бы мне не надо было нести никаких издержек, я мог бы рассчитывать на доход, становившийся все более и более необходимым. Было несомненно, что министр Фульд является перед лицом императора моим ожесточенным противником. Ввиду полученных мной, чрезвычайно удививших меня сведений о том, что маршал Маньян присутствовал на всех трех концертах, я счел себя вправе рассчитывать на некоторое, благоприятное для меня, влияние со стороны этого человека, по отношению к которому у императора были особые обязательства еще со 2 декабря. Не ожидая никакого сочувствия со стороны Фульда, к которому я питал отвращение, я обратился к маршалу.

В один прекрасный день к дверям моего дома подъехал гусар, слез с коня, позвонил и передал удивленному слуге письмо от Маньяна, в котором он приглашал меня к себе. Я был принят в парижском комендантстве военным очень представительной внешности. Он беседовал со мной чрезвычайно рассудительно, выразил удовольствие, которое ему доставляет моя музыка, и с неподдельным вниманием

выслушал мой рассказ о явно бесцельных попытках добиться чего-либо у императора, как и высказанное мной подозрение относительно Фульда. Позднее я узнал, что он в тот же вечер во дворце Тюильри потребовал от Фульда определенных объяснений по этому поводу.

366

Княгиня Меттерних. Приказ о постановке «Тангейзера»

Во всяком случае не подлежит сомнению, что с тех пор я стал замечать все более определенные признаки какого-то нового движения в моих делах. Но решительный поворот наступил тогда, когда обозначилось некоторое благоприятное для меня влияние с той стороны, с какой я этого совершенно не ожидал. Бюлов, все еще оттягивавший свой отъезд из участия ко мне, из желания узнать, чем все это кончится, привез с собой в Париж рекомендательные письма к послу графу Пурталесу от тогдашней принцессы-регентши Прусской. Но его надежда услышать из уст этого господина желание, чтобы ему представили меня, не сбывалась. Тогда, чтобы устроить это знакомство, он прибегнул к следующему средству: в великолепный ресторан Vachette он пригласил прусского посла вместе с его атташе, графом Паулем фон Гацфельдом, на завтрак, к которому я должен был явиться вместе с ним. Результаты этой встречи оправдали все ожидания. Особенно обрадовал меня граф Пурталес своей простотой и неподдельной теплотой своей беседы и обращения со мной. С тех пор граф фон Гацфельд стал бывать у меня, присутствуя иногда на моих приемах по средам. Наконец, он обрадовал меня известием о начавшемся при дворе движении в мою пользу.

Затем он пригласил меня посетить с ним оберкамергера императора графа Бачиокки. Тут только я услышал первый отклик на мою просьбу, обращенную к императору: меня

спросили, почему я настаиваю на концерте в Парижской опере. Такой концерт никого серьезно не интересует и не гарантирует мне никаких дальнейших успехов. Было бы, может быть, лучше предложить директору оперы Альфонсу Руайе сговориться со мной относительно композиции для Парижа. Так как я не хотел об этом и слышать, то несколько свиданий с графом Бачиокки прошли безрезультатно. На одно из таких свиданий меня сопровождал Бюлов. Над графом, которого Беллони знал в молодости, когда он исполнял обязанности билетного контролера при театре Ла Скала в Милане, мы сделали некоторое комичное наблюдение: непрерывно играя тросточкой, то ударяя ней по телу, то откидывая ее назад, он старался замаскировать известные непроизвольные судорожные движения своей руки, бывшие, по всей вероятности, следствием не особенно лестного для него физического порока.

Таким образом, из этих непосредственных отношений с придворным ведомством ничего, по-видимому, не выходило, когда в одно прекрасное утро граф Гацфельд поразил меня неожиданным известием, что накануне вечером император отдал приказ поставить «Тангейзера». Решительный толчок к этому исходил от княгини Меттерних. Она приблизилась к группе лиц, окруживших императора, как раз в ту минуту, когда шел разговор обо мне. Император поинтересовался ее мнением, и княгиня с таким вызывающим энтузиазмом стала говорить о «Тангейзере», которого видела в Дрездене, что ей тут же было обещано отдать приказ о постановке этой оперы. Правда, Фульд, которому императорский приказ был передан в тот же вечер, пришел в величайшую ярость. Но Наполеон заявил, что дело это решенное, что отменить слово, данное княгине Меттерних, он не может.

Снова я был приглашен к Бачиокки, который принял меня с очень серьезным видом, но с первого же слова

удивил странным вопросом о сюжете моей оперы. Я должен был передать его в нескольких словах. Когда я закончил, он с облегчением воскликнул: «Ah! Le pape ne vient pas en scéne? C’est bon! On nous avait dit que vous aviez fait paraître le Saint-Pére, et ceci, vous comprenez, n’auraît pas pu passer. Du reste, monsieur, on sait á présent que vous avez énormément de génie; l’empereur a donné l’ordre de représenter votre opéra». Он уверил меня, что все будет предоставлено в мое распоряжение, что все желания мои будут удовлетворены, и прибавил, что отныне я должен сноситься по этому делу исключительно с директором Руайе.

Все это привело меня в некоторое смущение. Внутренний голос подсказывал мне, что поворотом обстоятельств я обязан каким-то странным недоразумениям. Как бы то ни было, я потерял надежду осуществить первоначальный план поставить свои произведения в исполнении избранной немецкой труппы и не скрывал от себя, что при данном положении вещей могу рассчитывать лишь на удачу или счастливый случай. Нескольких свиданий с директором Руайе было достаточно, чтобы я вполне уяснил себе характер нового навязанного мне предприятия. Он должен был убедить меня во что бы то ни стало в необходимости изменить второй акт, который будто бы требует введения большого балета. Я уклонился дать ответ на эти предложения директора. Возвращаясь домой, я спрашивал себя, что делать, если решусь отказаться от постановки «Тангейзера» в Парижской опере.

367

Брюссель. Концерты в Брюсселе

В то же время другие заботы, непосредственно касавшиеся моего положения, настойчиво требовали внимания и поглощали всю мою энергию. Прежде всего, я решил

довести до конца начатое Джакомелли предприятие и повторить в Брюсселе мои концерты. С тамошним театром Ла Моннэ был заключен контракт на три концерта, половина сбора с которых за вычетом расходов должна была пойти в мою пользу. В сопровождении своего агента я 19 марта выехал в столицу Бельгии с целью хотя бы отчасти возместить денежные потери, понесенные в Париже. По настоянию моего ментора пришлось посетить редакторов различных газет и среди прочих бельгийских знаменитостей Фетиса-отца. Я знал, что много лет назад он был подкуплен против меня Мейербером. Теперь мне казалось забавным вступить с этим человеком, который держал себя необыкновенно авторитетно, в своего рода диспут, в конце которого он решительно встал на сторону моих взглядов.

Здесь я приобрел знакомство с замечательным государственным советником Клиндвортом. Дочь или, как уверяли многие, супруга его, еще прежде, в мою бытность в Лондоне, была мне рекомендована Листом. Но в Лондон она тогда не приехала, теперь же, в Брюсселе, я имел неожиданное удовольствие получить от нее приглашение. Она выказала по отношению ко мне большую предупредительность. Клиндворт сам старался занимать меня бесконечными рассказами о приключениях его удивительной карьеры дипломатического агента, приключениях, оставшихся для меня неясными.

Несколько раз я обедал у них, причем однажды познакомился с графом Куденхове и его супругой, дочерью моей давнишней приятельницы, госпожи Калержи. Господин Клиндворт всегда выказывал очень большое расположение ко мне и даже пожелал непременно дать мне рекомендательное письмо к князю Меттерниху, с отцом которого он был особенно близок. Лишь при последнем нашем свидании между нами произошла довольно резкая сцена.

Когда в несколько раздраженном тоне я отмел его заявление по поводу «все направляющего Провидения», заявление, чрезвычайно меня удивившее при общей фривольности его взглядов, он потерял самообладание. Я подумал, что он готов порвать со мной совершенно, но опасение это ни тогда, ни впоследствии не оправдалось.

Если не считать этого интересного знакомства, Брюссель не дал мне ничего, кроме огорчений и поводов для бесполезной траты сил. Первый концерт, объявленный вне абонемента, собрал многочисленную публику. Но подсчитанные дирекцией расходы по устройству концерта, вследствие непонятой мной оговорки в контракте павшие на меня одного, составили такую большую сумму, что из чистой прибыли на мою долю не пришлось почти ничего. Меня должен был вознаградить второй концерт, шедший в абонемент. А так как, кроме абонентов, занимавших весь зал, платной публики было очень немного, то и на этот раз доходы были не настолько велики, чтобы покрыть довольно значительные затраты по путешествию и пребыванию в Брюсселе: я вез с собой агента и слугу. Ввиду этого я решил отказаться от третьего концерта. В не особенно веселом настроении я уехал обратно в Париж, увозя с собою вазу из богемского хрусталя, которую подарила мне госпожа Стрит, дочь Клиндворта.

Некоторое развлечение во время моего пребывания в Бельгии доставила мне короткая поездка в Антверпен. Не чувствуя охоты употребить небольшой промежуток времени, бывший в моем распоряжении, на обозрение сокровищ искусства, я удовольствовался внешним осмотром города, в котором нашел гораздо меньше памятников старины, чем ожидал. Но разочарование, которое я испытал при виде знаменитой цитадели, привело меня в чрезвычайно дурное настроение духа. Отделывая сцену первого акта «Лоэнгрина», я вообразил, что эта цитадель,

которую я рисовал себе в виде древнего укрепленного замка, представляет по ту сторону Шельды сколько-нибудь выдающуюся достопримечательность. Вместо этого я увидал однообразно ровную поверхность с врытыми в землю укреплениями. Присутствуя на позднейших постановках «Лоэнгрина», я не мог без улыбки смотреть на внушительный замок, воздвигнутый театральным декоратором на высокой горе заднего плана.

368

Назад в Париж. Сен-Санс

Я вернулся в Париж к концу марта. Не оставалось ничего другого, как отдаться размышлениям о моих печальных делах: средства мои иссякли, а видов на будущее не было никаких. Под гнетом этих забот положение мое становилось особенно странным для меня самого. Дом мой, где я не подавал и виду, что меня угнетают разные мысли, был поставлен на самую широкую ногу. Мои приемы по средам становились все более и более блестящими, их посещали интересные иностранцы, желая при моем содействии добиться искомого успеха. Фройляйн Ингеборг Штарк, впоследствии супруга молодого Ганса фон Бронзарта, с очаровательной элегантностью играла у нас на рояле. Рядом с ней выступала более скромная фройляйн Алина Хунд из Веймара. В высшей степени одаренный молодой французский музыкант Камиль Сен-Санс с успехом принимал участие в этих музыкальных развлечениях.

К прочим моим французским знакомствам присоединилось особенно ценное знакомство с господином Фредериком Вийо. Этого Conservateur des tableaux du Louvre[39], необыкновенно тонкого и прекрасно образованного человека, я однажды встретил в лавке музыкального торговца

---

[39] Куратор живописи в Лувре (*фр.*).

Флаксланда, с которым я поддерживал немаловажные отношения. Я очень удивился, услышав, что Вийо справляется о заказанной им партитуре «Тристана». Нас представили друг другу, и я тут же узнал, что у него имеются партитуры и других моих опер. Я спросил его, извлекает ли он наслаждение из моих драматических произведений, ибо окончательно не мог понять, как, не зная немецкого языка, он в состоянии уяснить себе именно эту музыку, так тесно связанную с текстом. Его остроумный ответ, что самая музыка служит ему для этого руководством, внушил мне серьезную к нему симпатию. Я с радостью поддерживал с ним отношения, так приятно меня возбуждавшие. Позднее, написав обстоятельное предисловие к переводу моих оперных поэм, я посвятил это предисловие ему как самому достойному человеку. Партитуры, которых он не был в состоянии играть сам, исполнял для него упомянутый выше молодой музыкант Сен-Санс, которому, по-видимому, он покровительствовал.

При этом я имел случай убедиться в искусстве и таланте Сен-Санса, повергавших меня в истинное изумление. С неподражаемой уверенностью и легкостью схватывая самую сложную оркестровую партитуру, этот молодой человек обладал еще и замечательной памятью. Он не только играл наизусть мои партитуры, к которым прибавился теперь и «Тристан», но умел выделять как существенные, так и менее существенные частности их, и казалось, что он все время держит перед глазами нотный лист. Позднее я узнал, что, несмотря на поразительную способность воспринимать технический материал музыки, он отнюдь не проявлял какой-либо интенсивной продуктивности. При дальнейших его попытках выступать в роли композитора я потерял его совершенно из виду.

Теперь мне пришлось вступить в более близкие отношения с директором Парижской оперы, господином Руайе, по поводу предписанной ему постановки «Тангейзера». Прошло два месяца, прежде чем я уяснил себе, как отнестись ко всему этому предприятию: положительно или отрицательно. Ни одно свидание с ним не обходилось без того, чтобы не был затронут вопрос о введении балета во второй акт. Мое красноречие оглушало его, но не убеждало. Пока же я не мог не подумать о сносном переводе поэмы.

Этот вопрос обсуждался уже не раз со всех сторон. Когда, как я уже упомянул, де Шарналь оказался для этой задачи непригодным, Роже на продолжительное время исчез у меня из виду. Гасперини тоже не проявлял серьезного намерения взять на себя эту работу. Вдруг явился ко мне некий Линдау (насколько я помню, его звали Пауль), с большой самоуверенностью заявивший, что в сотрудничестве с молодым Эдмоном Рошем он берется изготовить пригодный перевод «Тангейзера». Этот Линдау был родом из окрестностей Магдебурга и бежал от прусской военной службы. Джакомелли рекомендовал мне его однажды как весьма подходящего заместителя певца-француза, на одном из моих музыкальных вечеров приглашенного исполнить Etoile du soir[40] и внезапно отказавшегося от участия в концерте. Линдау выразил готовность без репетиций пропеть этот номер, который, по его словам, был ему прекрасно знаком, и я посмотрел на него как на ниспосланного с неба гения. Но ничто не могло сравниться с изумлением, в какое повергла меня неслыханная наглость этого человека. Несмотря на робость

[40] «Вечерняя звезда» (*фр.*).

настоящего дилетанта, не умея при этом ясно и точно исполнить ни одного такта, он все-таки решился выступить перед публикой. Только крайнее изумление, вызванное непостижимой смелостью этого человека, сдержало громкое выражение всеобщего негодования. Тем не менее Линдау, нашедший всевозможные объяснения и извинения для своего поступка, сумел проникнуть в мой дом если не в роли певца, то в качестве участливого друга. Завоевав большие симпатии Минны, он стал бывать у нас чуть ли не ежедневно. Но мою снисходительность он завоевал не столько своими уверениями, что он располагает огромными связями, сколько своей необыкновенной готовностью быть к услугам во всевозможных поручениях. Я терпел его, несмотря на никогда не умолкавший внутренний протест против знакомства с таким человеком.

Но что заставило меня согласиться на его участие в переводе «Тангейзера», это предложение привлечь к сотрудничеству в этой работе молодого Эдмона Роша.

С последним я познакомился сейчас же по прибытии в Париж, в сентябре минувшего года. Это произошло при не совсем обыкновенных, но очень приятных обстоятельствах. Чтобы получить свою мебель, высланную из Цюриха, мне пришлось отправиться на таможню. Там меня направили к бледному, бедно одетому, но очень живому молодому человеку. Когда я назвал ему свое имя, он прервал меня с энтузиазмом: «O, je connais bien Mr. Richard Wagner, puisque j'ai son portrait suspendu au dessus de mon piano»[41]. Страшно удивленный, я стал его расспрашивать и узнал, что основательное изучение клавираусцугов моих опер сделало его моим восторженным почитателем. После того как он с предупредительной

[41] «О, я хорошо Вас знаю, месье Рихард Вагнер; Ваш портрет висит у меня над фортепьяно» (*фр.*).

любезностью дал мне покончить с неприятными делами на таможне, он выразил готовность посетить меня на дому. Он сдержал слово, и я имел случай ближе ознакомиться с жалким положением этого бедного человека, проявлявшего, насколько я мог об этом судить, признаки благородного поэтического дарования. Он рассказал мне, между прочим, что хотел пробиться, играя на скрипке в оркестре маленьких театров. Но попытки эти дали такие печальные во всех отношениях результаты, что из чувства долга перед семьей (он был женат) он счел себя вынужденным предпочесть скромное, но связанное с постоянным жалованьем и надеждами на повышение место в конторе. Я имел возможность убедиться в его действительном знакомстве с моей музыкой. Как он уверял меня, она была для него единственным утешением в его невеселой жизни. О его поэтических работах Гасперини и другие компетентные лица могли мне сказать только одно, что стихи его, во всяком случае, прекрасны. Думая о переводе «Тангейзера», я мысленно останавливался на нем. Ввиду того что единственное препятствие, которое мешало ему взяться за работу — незнание немецкого языка, устранялось сотрудничеством с Линдау, приходилось идти на комбинацию с последним.

370

Перевод на французский язык «Тангейзера»

Прежде всего мы решили сделать прозаический перевод всего сюжета при помощи одного Линдау. Но прошло много времени, пока мне удалось получить этот перевод. Причина такого замедления объяснилась только впоследствии: Линдау не был в состоянии сделать даже такую сухую работу и навязал ее одному бедняку-французу, понимавшему по-немецки. Он обещал ему гонорар, который

рисовался ему в перспективе. С течением времени он надеялся выудить его у меня силой. Несколько главных строф моей поэмы Рош переложил на стихи, которые мне очень понравились. С этими образчиками талантов моих сотрудников я отправился к Руайе, желая заручиться его согласием заказать им эту работу. Руайе был не особенно доволен, что я остановил свой выбор на неизвестных молодых людях. Но я настаивал на том, что надо довести испытание до конца.

Убедившись в полной неспособности Линдау выполнить эту задачу, но твердо решив ни в каком случае не отнимать ее у Роша, я сам деятельнейшим образом приступил к работе. Часто они просиживали у меня по четыре часа, придумывая несколько стихов. Обыкновенно я испытывал в таких случаях сильное искушение вышвырнуть за дверь Линдау, который не обнаруживал ни малейшего понимания немецкого текста, что, однако, не мешало ему поминутно выскакивать с самыми бесстыдными предложениями. И только потому, что я не знал, как иначе сохранить за Рошем его участие в работе, я продолжал держаться бессмысленной комбинации, несмотря на то что бешенство клокотало во мне все с большей и большей силой.

Так тянулось несколько месяцев. Мне часто приходилось общаться с Руайе по поводу приготовлений к постановке «Тангейзера», главным образом по поводу распределения ролей. Казалось странным, что директор не предложил мне ни одного из певцов Парижской оперы. Правда, все они были и мне самому несимпатичны, за исключением г-жи Гемар, которой я охотно поручил бы роль Венеры. Но по каким-то непонятным причинам мне отказывали в ее участии. Желая добросовестно ознакомиться с существующим составом труппы, я несколько раз присутствовал

на представлениях таких опер, как «Фаворитка», «Трубадур», «Семирамида». При этом внутренний голос настойчиво твердил мне, что я попал на ложный путь, и, возвращаясь домой, я всякий раз чувствовал решимость отказаться от всего предприятия. Но меня все снова и снова соблазняло искреннее чистосердечие, с каким Руайе, исполняя возложенное на него полномочие, предлагал привлечь певцов, каких я только пожелаю.

Больше всего я был озабочен приисканием тенора для заглавной партии. Я не мог остановиться ни на ком другом, как на Нимане из Ганновера, которого расхваливали со всех сторон. Даже французы, как Фуше де Карей и Перрен, слышавшие его в моих операх, подтверждали его выдающиеся способности. Директору такое приобретение казалось, во всяком случае, чрезвычайно желательным, и Ниман был приглашен явиться в Париж для заключения ангажемента. Кроме того, Руайе желал, чтобы я высказался за приглашение некоей г-жи Тедеско, которая славилась как tragédienne[42] и благодаря своей красоте могла оказаться чрезвычайно полезной для оперного репертуара. Он уверял, что она лучше всех подойдет для роли Венеры. Не зная этой госпожи, я согласился на его предложение, как и на приглашение некоей г-жи Закс, еще неиспорченной молодой певицы с прекрасным голосом, а также итальянского баритона [Фернандо] Морелли, звучный голос которого в противоположность болезненным голосам других певцов французской оперы очень понравился мне на одном из представлений. Таким образом были сделаны все необходимые шаги, сделаны, как мне казалось, наилучшим образом, но без внутренней веры в успех дела.

---

[42] Трагическая актриса (*фр.*).

371

Музыкальный торговец Флаксланд. Тенор Ниман

За всеми этими хлопотами сорок седьмой год моего рождения прошел в чрезвычайно мрачном настроении. Несколько рассеяло его яркое сияние Юпитера, показавшееся мне светлым предзнаменованием. Наступившее прекрасное время года, всегда столь неблагоприятное в Париже для всякого рода деловых отношений, увеличивало трудность моего положения: по-прежнему я не имел никаких видов на возможность найти средства для ведения моего дома, которое требовало больших расходов. Среди прочих тревог и неприятностей, озабоченный придумыванием какого-либо выхода из создавшегося положения, я вступил в соглашение с музыкальным торговцем Флаксландом относительно продажи авторских прав на оперы «Летучий Голландец», «Тангейзер» и «Лоэнгрин», которые ему предоставлялось использовать с возможной широтой. В заключенном между нами контракте было сказано, что издатель обязуется уплатить мне сейчас же по 1000 франков за каждую из трех опер, дальнейшие же платежи должны производиться за их постановки на одном из парижских театров таким образом: 1000 франков уплачивается после первых десяти представлений и столько же после следующих — до двадцатого. Я сейчас же известил об этом договоре старого друга Пузинелли, в свое время ссудившего меня необходимыми для издания моих опер средствами. Теперь я просил у него разрешения не посылать ему первых зачетных денег, которые я получу от Флаксланда, тем более что, не имея никаких средств, я должен позаботиться о возможной доходности этих опер, проданных наследникам Мезера, в Париже. Пузинелли предоставил мне полную свободу действий. Но тем отвратительнее повел себя дрезденский издатель: он стал

жаловаться на ущерб, наносимый его праву собственности, и причинил этим столько беспокойств Флаксланду, что последний в свою очередь счел себя вправе заявить мне свои претензии.

Не успев еще ничем облегчить своего положения, я чуть было не попал в новые передряги, как вдруг ко мне явился граф Пауль Гацфельд и попросил меня посетить только что приехавшую в Париж госпожу Калержи, которая хотела бы сделать мне некоторые сообщения. С 1853 года, со времени совместного с Листом пребывания в Париже, я видел эту даму в первый раз. Она встретила меня уверением, что очень сожалеет о своем отсутствии в прошлую зиму во время моих концертов, тем более что это лишило ее возможности прийти мне на помощь в затруднительных для меня обстоятельствах. Она узнала, что я понес значительные потери, которые ей определили цифрой в 10 000 франков. Теперь она просит меня принять от нее эту сумму в возмещение убытков. Если раньше я считал возможным опровергать перед графом Гацфельдом мои потери, не желая иметь ничего общего с тем отвратительным сбором, ради которого решено было обратиться к прусскому посольству, то теперь я не видел ни малейшего основания притворяться перед великодушной женщиной. Мне казалось, что осуществляется нечто такое, чего я всегда считал себя вправе ожидать, и я испытывал потребность отблагодарить редкую женщину, сделать для нее что-нибудь. Все тревоги, которыми сопровождались наши дальнейшие отношения, проистекали из невозможности осуществить это единственное желание, чему препятствовали ее своеобразный характер и непостоянный образ жизни.

Пока же я хотел дать доказательство всей искренности моего настроения. Я задумал поставить исключительно для нее второй акт «Тристана», причем госпожа Виардо,

с которой я при этом случае ближе познакомился, должна была вместе со мной исполнить вокальные партии, «для рояля» же я за свой счет выписал из Лондона [Карла] Клиндворта. Это весьма замечательное интимное представление происходило в доме Виардо. Кроме г-жи Калержи, для которой оно было устроено, присутствовал еще только Берлиоз. За его приглашение госпожа Виардо высказывалась очень горячо, имея, по-видимому, вполне определенное намерение сгладить существовавшие между мной и Берлиозом шероховатости. Впечатление, какое произвело на участвовавших и присутствовавших исполнение оперного фрагмента, осталось для меня невыясненным. Госпожа Калержи молчала, Берлиоз с одобрением отметил chaleur[43] моей игры, резко отличавшейся от игры партнерши. Она пела вполголоса. Эта ситуация привела Клиндворта в большое негодование. Сам он прекрасно справился со своей задачей, но заявил, что поведение Виардо, которую присутствие Берлиоза побудило взять вялый темп при исполнении своей партии, вызвало полное его возмущение. Гораздо большее удовлетворение доставил нам исполненный у меня однажды вечером первый акт «Валькирии», причем на этот раз кроме г-жи Калержи присутствовал также певец Ниман.

Он приехал в Париж по приглашению директора Руайе для заключения контракта. Меня привела в изумление усвоенная им манера обращения. Еще не войдя в комнату, он прямо с порога спросил: «Ну что, хотите меня или нет?» При нашем совместном посещении директора он, впрочем, взял себя в руки, чтобы произвести хорошее впечатление, что ему и удалось вполне. К тому же своим необычайным для тенора телосложением он вызывал всеобщее удивление. Ему пришлось для видимости

---

[43] Страстность (*фр.*).

подвергнуться пробному испытанию. Он выбрал рассказ Тангейзера о паломничестве, исполненный им на сцене Парижской оперы. Госпожа Калержи и княгиня Меттерних, тайно присутствовавшие на испытании, а также члены дирекции сразу пришли в восторг от Нимана. Его пригласили на восемь месяцев с окладом в 10 000 франков. Этот ангажемент был заключен исключительно для «Тангейзера», так как я считал нужным заявить свой протест против предварительного выступления певца в операх других композиторов.

372

Барон Зеебах

Заключение этого ангажемента, происшедшее при столь исключительных условиях, наполнило меня неведомым до сих пор сознанием силы, которую вдруг стали признавать во мне. Я вступил в более близкие отношения с княгиней Меттерних, несомненной вдохновительницей всего предприятия, и встретил со стороны ее мужа, как и в более широких дипломатических кругах, к которым они оба принадлежали, предупредительно-теплый прием. Княгине приписывали всемогущее влияние при императорском французском дворе. Авторитетный во всех отношениях министр Фульд оказывался бессильным парализовать ее протекцию по отношению ко мне. Со всеми своими нуждами я должен был обращаться только к ней. А уж она позаботится обо всем. Это доставит ей тем большее удовольствие, что сам, по-видимому, я не питаю ко всему предприятию особенного доверия.

При таких благоприятных условиях я мог спокойно провести лето в ожидании осени, когда должны были начаться репетиции. Я был чрезвычайно рад, что имел возможность сделать все, что нужно, для здоровья Минны,

которой был настоятельно предписан курс лечения в Содене близ Франкфурта. В начале июля она отправилась туда, и я обещал в свое время заехать за ней по пути на Рейн, который я имел теперь возможность посетить.

В моих отношениях к королю Саксонскому, из «юридических мотивов» упорно противившемуся моей амнистии, наступил поворот к лучшему. Им я был обязан все возраставшему интересу ко мне со стороны прочих немецких посольств, главным образом австрийского и прусского. Господину фон Зеебаху, саксонскому послу, женатому на кузине моего великодушного друга г-жи Калержи, тоже относившемуся ко мне с сердечным участием, по-видимому, надоело выслушивать запросы своих коллег по поводу столь щекотливого положения «политического эмигранта», и он энергично стал действовать при саксонском дворе в мою пользу.

К этому присоединилось благоприятное влияние тогдашней принцессы-регентши Прусской, опять-таки благодаря посредничеству графа Пурталеса. Я узнал, что на происходившем в Бадене свидании немецких князей с императором Наполеоном III она ходатайствовала за меня перед саксонским королем. По устранении разных смешных колебаний, которых фон Зеебах не скрыл от меня, он сообщил мне наконец, что король Иоганн, хотя и не может меня амнистировать, а, следовательно, и разрешить мне возвращение в Саксонию, ничего не будет иметь против моего пребывания в прочих немецких союзных государствах, которые я пожелаю посетить для своих художественно-артистических целей, если только с их стороны не будет заявлено никакого протеста. Господин фон Зеебах посоветовал мне при первом же посещении прирейнских провинций представиться принцессе-регентше Прусской, чтобы выразить ей благодарность за ее ходатайство, что будто бы желательно самому королю.

373

Поездка на Рейн

Но раньше мне пришлось вынести мучительную возню с переводчиками «Тангейзера». Одновременно с этим меня мучили старые физические страдания, «гнездившиеся» главным образом в брюшной полости.

Против них мне предписали верховую езду. Среди моих знакомых нашелся любезный молодой человек, живописец Чермак, с которым свела меня фройляйн Мейзенбуг. Теперь он предложил мне свои помощь и содействие. Я условился относительно проката лошадей, купил абонемент, и в один прекрасный день мне и моему товарищу привели из конюшни двух смирных лошадей, на которых со всеми предосторожностями мы решились предпринять поездку в Булонский лес. Мы выбрали для этой прогулки утренние часы, чтобы избежать встречи с элегантными кавалерами высшего света. Вполне положившись на опытность Чермака, я был изумлен, увидя, что превосхожу его если не в искусстве верховой езды, то, во всяком случае, в храбрости. В то время как я терпеливо переносил тягостный аллюр моей лошади, он с громкими проклятиями заявил, что больше никогда не станет повторять таких экспериментов. Набравшись храбрости, я на следующий день выехал один. Конюх, приведший лошадь, следил за мной глазами до заставы Звезды, желая посмотреть, проберусь ли я на своей лошади дальше. Когда я приблизился к Авеню-дель-Императрис, мой конь стал упорно отказываться идти дальше. Он то сворачивал в сторону, то пятился назад, то совсем останавливался, пока я не решил повернуть обратно. К счастью, благоразумный конюх предусмотрительно вышел мне навстречу. На открытой площади он помог мне сойти с коня и с улыбкой увел его.

Так кончилась навсегда моя последняя попытка поездить верхом. Она обошлась мне в десять приобретенных абонементов, оставшихся неиспользованными в ящике моего стола.

Зато я извлекал большое наслаждение из одиноких прогулок пешком в сопровождении собачонки Фипса по Булонскому лесу, великолепное устройство которого я снова имел случай оценить. Вообще вокруг меня воцарилась некоторая тишина, как это обыкновенно бывает в Париже летом. Бюлов, дождавшись неслыханных результатов данного им в Vachette завтрака в виде императорского приказа о постановке «Тангейзера», вернулся в Германию, и в августе я предпринял давно задуманное путешествие в прирейнские области, направившись прежде всего через Кёльн в Кобленц. Здесь я предполагал найти принцессу Августу Прусскую. Узнав, что она находится в Бадене, я свернул к Содену, где захватил для дальнейшего совместного путешествия Минну с ее новым другом, Матильдой Шиффнер. Во Франкфурте я в первый раз со времени нашего свидания в Дрездене увидел брата Альберта, остановившегося тут проездом.

Я вспомнил, что нахожусь в месте жительства Артура Шопенгауэра. Но странная робость удержала меня от визита к нему. Настроение мое было слишком рассеянно и далеко от всего, что в разговоре с Шопенгауэром, если бы я и чувствовал себя вполне «доросшим» до него, могло бы иметь большое значение и оправдать мою встречу с этим человеком. Как это бывало не раз в моей жизни, я одно из важнейших для меня дел отложил на другое время. Я так страстно ждал его, оно должно было произойти! Через год после этого кратковременного посещения Франкфурта, когда я поселился надолго в этой местности, чтобы заняться «Мейстерзингерами», мне показалось, что время для нашего знакомства настало. Но как раз тогда

Шопенгауэр умер, что навело меня на полные упреков по отношению к самому себе размышления о неожиданных превратностях судьбы.

374

Альберт Бекман

Разбилось и другое мое ожидание: я льстил себе надеждой склонить Листа к свиданию со мной во Франкфурте. Вместо этого я нашел письмо, в котором он извещал меня, что ему невозможно исполнить мою просьбу. Отсюда мы направились прямо в Баден-Баден. В то время как Минна со своей приятельницей отдавались соблазну игры в рулетку, я стал хлопотать при посредстве рекомендательного письма графа Пурталеса к графине фон Хаке, придворной даме Ее Королевского Высочества, о приеме у моей высокой покровительницы. После некоторых колебаний мне было сказано, чтобы я представился ей в пять часов пополудни в галерее, где пьют минеральные воды.

Был сырой и холодный день. Все точно вымерло в тот час, когда я приблизился к галерее. Августа, в сопровождении графини фон Хаке, ходила взад и вперед. Поравнявшись со мной, она милостиво остановилась. Речь ее сводилась почти исключительно к уверениям в ее полном бессилии во всех отношениях, в опровержение чего я довольно неосторожно упомянул о полученном мной от короля Саксонского указании поблагодарить ее за милостивое ходатайство. Это, по-видимому, ее рассердило, и она отпустила меня с равнодушными выражениями довольно незначительного участия. Как передавала мне потом моя старая приятельница Альвина Фромман, что-то, очевидно, не понравилось во мне принцессе, может быть, мое саксонское произношение.

Так я покинул прославленный «баденский эдем», не унося с собой ни одного приятного впечатления, и сел

с Минной в Мангейме на пароход, направлявшийся вниз по Рейну. В первый раз я совершал это путешествие по воде. Невольно вспомнил я при этом, что, столько раз пересекая Рейн, я до сих пор не успел ознакомиться с удивительным местом, столь любопытным для всех, интересующихся германским Средневековьем. Поспешно вернувшись через Кёльн, я закончил путешествие, продолжавшееся всего восемь дней, и окончательно отдался решению мучительной проблемы парижского предприятия, принимавшей серьезный оборот.

Многочисленные трудности, ожидавшие меня с этой стороны, значительно облегчил мне молодой банкир Эмиль Эрлангер, старавшийся завязать со мной дружеские отношения. Некий Альберт Бекман, странный человек, бывший ганноверский революционер, потом частный библиотекарь принца Луи-Наполеона, газетный агент по всевозможным неясным делам, объявил себя моим убежденным почитателем. Он добился знакомства со мной, причем всегда проявлял по отношению ко мне самую любезную предупредительность. Теперь он сообщил мне, что и господин Эрлангер, для которого он работал в качестве газетного агента, желает со мной познакомиться. Самым решительным образом я готов был отказаться от этого знакомства, заявив, что от банкира мне ничего, кроме его денег, не нужно. В ответ на эту шутку сейчас же последовало серьезное уверение, что именно в этом смысле Эрлангер желает быть мне полезным. Таким образом я познакомился с действительно приятным человеком. Любовь к моей музыке, которую он часто слышал в Германии, возбудила в нем интерес и участие ко мне лично. Он открыто высказал желание, чтобы я доверил ему ведение всех моих финансовых дел. Это следовало понять в том смысле, что он желает обеспечить меня на продолжительное время необходимыми средствами, взамен чего

я должен передать ему заведование доходами со всех моих парижских предприятий: ему было важно, говорил он, считаться в Париже моим банкиром. Предложение это было для меня совершенно ново, но оно как нельзя более соответствовало своеобразному положению, в каком я находился. Действительно, до самого разрешения всей моей парижской ситуации мне больше не приходилось испытывать никаких затруднений. Если мои сношения с Эрлангером и не были лишены неизбежных при самых добрых чувствах недоразумений, все же я находил в нем глубоко преданного мне друга, серьезно озабоченного моим благополучием и успехами моих предприятий.

375

Шарль Трюинэ

Удовлетворительный оборот в моих делах, который при других обстоятельствах мог бы внушить мне самую большую бодрость, теперь не был в состоянии настроить меня хоть сколько-нибудь радостно. Я чувствовал полнейшую беспочвенность совершенно неподходящего для меня предприятия. С каждой минутой я убеждался в этом все более и более. В угрюмом настроении я делал все, что могло подвинуть его вперед, так как оно служило основанием для оказанного мне доверия. Лишь новому знакомству, которое я при этом приобрел, удалось привести меня в возбуждающее состояние неуверенности относительно всего дела. Руайе заявил мне, что он не может принять перевода, который мне с величайшими усилиями удалось смастерить при помощи двух волонтеров, и настойчиво рекомендовал для его основательной переработки Шарля Трюине, печатавшегося под псевдонимом Нюитте. Этот молодой человек с чрезвычайно симпатичным, открытым характером явился ко мне по рекомендации

Оливье с предложением своих услуг для перевода оперных текстов еще несколько месяцев тому назад. Он был товарищем Оливье по сословию парижских адвокатов. Гордясь своим соглашением с Линдау, я тогда отказался от его участия. Теперь, после заявления Руайе, новое предложение Трюине следовало принять во внимание. Он не знал по-немецки, но уверял, что найдет необходимую помощь у своего отца, который в течение многих лет путешествовал по Германии и приобрел некоторую опытность в немецком языке. Но, в сущности, здесь и не требовалось никаких особенных познаний, потому что все сводилось к тому, чтобы придать более свободный французский оборот стихам, которые Рош робко срифмовал при постоянном вмешательстве развязно претенциозного Линдау, всегда все знавшего лучше всех на свете.

Неутомимое терпение, с каким Трюине работал, не останавливаясь перед бесконечными переделками, чтобы только удовлетворить всем моим требованиям и с музыкальной стороны, всецело расположило меня в его пользу. Линдау, оказавшегося окончательно непригодным, мы должны были непременно устранить от всякого вмешательства в эту новую работу. Роша, напротив, мы удержали как сотрудника, потому что труд его лег в основание новой версии. Впоследствии Рош, которому нелегко было отлучаться из своей таможенной конторы, был избавлен от участия в деле, так как Трюине был совершенно свободен и мог общаться со мной каждый день. Я убедился, что звание адвоката служило ему лишь украшением — об адвокатской практике он совсем не думал. Весь свой интерес он отдавал администрации Парижской оперы, в которой состоял архивариусом. В то же время он в сообществе то с одним, то с другим из своих товарищей работал над небольшими театральными пьесами для «Водевиля» и других маленьких театров, даже для «Буфф-Паризьен».

Впрочем, об этой стороне своей деятельности он смущенно избегал всяких разговоров. Но если я был ему признателен за изготовление годного к пению, безусловно приемлемого текста «Тангейзера», то, с другой стороны, не помню, чтобы с точки зрения поэтической или эстетической я пришел в особое восхищение от его дарования. Но зато ценность его в качестве осведомленного, горячо и всегда преданного друга, особенно в тяжелые минуты, вставала перед глазами с полною яркостью. Я не встречал человека столь тонкого в суждениях о трудных вопросах и столь же готового, как он, энергично отстаивать мои взгляды.

376

В первую очередь нам предстояло выполнить сообща совершенно новую работу. Повинуясь давнишнему стремлению, я решил воспользоваться тщательно подготовляемой постановкой «Тангейзера», чтобы расширить и усовершенствовать первую сцену («Венеры»). Я набросал текст вольными немецкими стихами и предоставил переводчику полную свободу в передаче его на французский язык: мне сказали, что стихи вышли у Трюине очень недурно. Тогда я принялся за музыкальное выполнение сцены, чтобы потом уже приноровить немецкий текст к готовой музыке. Кроме того, мои досадные споры с дирекцией по поводу большого балета побудили меня значительно расширить всю вступительную сцену в «Гроте Венеры». Этим, по моему мнению, создавалась широкая хореографическая задача для балетного персонала, так что никто больше не мог жаловаться на мою несговорчивость.

Музыкальное выполнение обеих сцен отняло у меня почти весь сентябрь. В то же время в фойе Парижской оперы начались фортепьянные репетиции «Тангейзера». Приглашенный для этой оперы состав уже собрался,

и меня очень интересовало ознакомиться с характером штудирования нового произведения во французской опере. Характер этот можно обозначить несколькими простыми словами: высшая степень сухости при необычайной точности. Этими качествами особенно отличался chef de chant[44], месье Вотро, человек, не обмолвившийся по моему адресу ни единым теплым словом, что дало повод считать его враждебно настроенным по отношению ко мне, хотя, с другой стороны, своей необыкновенной тщательностью в работе он доказал свое серьезное отношение к делу. Он настоял на значительных поправках к тексту, чтобы добиться лучшего согласования его с музыкой. Знакомство с операми Обера и Буальдье заставило меня предположить, что французы пренебрегают произношением немых слогов в поэзии и музыке. Он утверждал, что это делают только композиторы, но отнюдь не хорошие певцы. В ответ на часто возникавшие у него сомнения относительно длиннот я заметил, что не понимаю, как можно бояться в опере наскучить чем-нибудь публике, приученной находить удовольствие в «Семирамиде» Россини, которая теперь так часто дается на французской сцене. Подумав немного над этим замечанием, он согласился со мной, поскольку речь идет о монотонности действия и музыки. Но я забываю, сказал он, что на таких представлениях публика не интересуется ни действием, ни музыкой, а все свое внимание направляет исключительно на виртуозность певцов. А рассчитывать на виртуозность при постановке «Тангейзера» отнюдь не приходилось, да в моем распоряжении и не было вовсе никаких виртуозов.

Такой виртуозностью отличалась только одна артистка моего персонала, эксцентричная, пышная еврейка, госпожа Тедеско, только что вернувшаяся из Португалии и Испании,

---

[44] Педагог по вокалу (*фр.*).

где она с триумфом выступала в итальянских операх. По-видимому, она была очень довольна, что мое безучастное отношение к вопросу об исполнительнице роли Венеры доставило ей ангажемент в Парижскую оперу. Она всячески старалась овладеть задачей, совершенно чуждой ее средствам, доступной лишь настоящей трагической актрисе. Одно время казалось, что усилия ее не лишены были некоторого успеха, тем более что на специальных репетициях с Ниманом появились несомненные признаки взаимного тяготения между Тангейзером и Венерой. Ниман с большим искусством овладел французским произношением, и репетиции эти, в которых деятельное участие принимала также и фройляйн Закс, открыли перед нами горизонт живых надежд.

Ничто пока не омрачало нашего настроения, так как мне еще не пришлось вступить в близкое соприкосновение с Дитшем. Этот последний, как шеф оркестра и будущий дирижер оперы, согласно царившему в Парижской опере обычаю присутствовал покуда только на фортепьянных репетициях, чтобы ознакомиться с намерениями певцов. Еще менее диссонанса вносил режиссер Кормон, тоже присутствовавший на репетициях и проявлявший свойственные французам живость и ловкость в тех случаях, когда обсуждалось то, что касалось собственно драматической игры. Даже когда отдельные артисты не понимали меня, все охотно подчинялись моим решениям, так как мне все еще приписывали большую власть: думали, что через княгиню Меттерних я могу добиться всего, чего только захочу. Кое-что поддерживало в артистах такую веру: так, я узнал, что князь Понятовский грозил затруднить дальнейший ход наших репетиций вторичной постановкой одного из своих провалившихся произведений. В ответ на мою жалобу неустрашимая княгиня сейчас же выхлопотала приказ об отсрочке княжеской оперы.

Конечно, это не могло вызвать дружеских ко мне чувств с его стороны, что и сказалось довольно ясно, когда я посетил его на дому.

377

На улице Ньютон

Время, остававшееся свободным от занятий, я отдавал сестре Луизе, приехавшей в Париж с некоторыми членами своего семейства. Но лишь с величайшими затруднениями я мог оказать ей гостеприимство, так как самая попытка проникнуть ко мне на квартиру была связана с опасностью для жизни. Теперь только обнаружилось, почему хозяин, заключая продолжительный контракт, решительно отказался от всякого ремонта: дело в том, что парижским городским управлением уже давно было решено срыть Рю-Ньютон со всеми к ней прилегающими строениями, чтобы с одного из мостов можно было проложить широкий бульвар к заставе Звезды. Но до последнего момента план этот официально не принимался: хотели затянуть платеж за экспроприацию земельных участков. С большим удивлением я вдруг заметил, что у самой входной двери стали подкапывать дорогу все глубже и глубже. Сначала она оказалась неудобной только для проезда экипажей, а под конец сделалось невозможным и пешком добраться до моей квартиры. При таких обстоятельствах владелец дома не имел ничего против моего переезда и потребовал, чтобы я судом взыскал с него возмещения убытков, ибо только это даст ему возможность в свою очередь обжаловать мероприятие муниципалитета.

Моему другу Оливье как раз в это время за какой-то парламентский проступок была воспрещена на четверть года адвокатская практика, и он рекомендовал мне для ведения настоящего процесса своего приятеля Пикара,

который, как я увидел потом из судебного разбирательства, выполнил свою задачу с большим юмором. В возмещении убытков мне было отказано (не знаю, какой результат дала жалоба домовладельца), но от квартирного контракта я был освобожден. Это дало мне право искать новую квартиру, которую я и нанял недалеко от Парижской оперы, на Рю-д'Омаль. Она была бедна и неуютна. Поздней осенью, в суровую погоду, мы совершили затруднительный переезд, причем дочь Луизы, моя племянница Оттилия, оказала мне значительную помощь. При этом я сильно простудился, так как совсем не берег себя. Снова я отдался возраставшим тревогам, связанным с ходом репетиций, пока не слег в тифозной горячке.

378

Болезнь

Стоял ноябрь. Мои родные, вынужденные вернуться домой, покинули меня в бессознательном состоянии, и я остался на попечении Гасперини. Но в лихорадочном бреду я пожелал, чтобы ко мне позвали других врачей, и действительно, граф Гацфельд пригласил врача прусского посольства. Впрочем, требование мое отнюдь не свидетельствовало о недоверии к заботливому другу. Это было одно из порождений горячечного бреда, мозг мой был наполнен самыми невероятными, дикими фантазиями. Княгиня Меттерних и госпожа Калержи должны были устроить мне полный придворный штат, к которому я причислил и приглашенного мной императора Наполеона. Но я требовал еще, чтобы Эмиль Эрлангер предоставил в мое распоряжение виллу близ Парижа, и чтобы меня перевезли туда, ибо здесь, в мрачном гнезде, я никогда не поправлюсь. Наконец я стал решительным образом настаивать, чтобы меня отправили в Неаполь, где, без сомнения,

найду скорое выздоровление в свободном общении с Гарибальди. Всю эту ерунду Гасперини терпеливо выслушивал. С величайшими усилиями приходилось ему и Минне преодолевать мое буйное сопротивление, когда следовало наложить на подошвы горчичники. Впоследствии в беспокойные ночи меня часто мучили тщеславно-высокомерные фантазии, в которых, пробуждаясь от сна, я с ужасом замечал родство с лихорадочным бредом болезненного состояния. По прошествии пяти дней жар спал. Но теперь мне грозила опасность потерять зрение, да и слабость моя была необычайна. Наконец прошло и ослабление зрительных нервов, и через несколько недель я снова решился пройти небольшое расстояние до оперного театра, чтобы разрешить свои тревоги относительно репетиций.

Здесь меня считали окончательно приговоренным к смерти, и я был свидетелем самых разнообразных проявлений чувств. Я узнал, что репетиции без всякого основания приостановлены. Вообще, чем дальше, тем больше сказывались признаки внутреннего краха всего дела, и, чувствуя потребность щадить свои силы, я тщательно скрывал это от самого себя. Зато я чрезвычайно обрадовался вышедшему из печати переводу четырех оперных поэм с моим пространным предисловием, посвященным Фредерику Вийо. Перевод этот сделал Шальмель-Лакур, представленный мне еще в Цюрихе у Гервега как бывший политический эмигрант. В качестве талантливого переводчика он оказал мне весьма значительные услуги, и работа его вызвала всеобщие похвалы. Первоначальный текст предисловия я послал в Лейпциг книготорговцу Веберу для напечатания под заглавием «Музыка будущего». Теперь я получил и эту брошюру. Она обрадовала меня как единственный результат всего моего столь блестящего

по виду парижского предприятия. В то же время я мог довести до конца новую композицию «Тангейзера»: в ней оставалась неоконченной большая балетная сцена в гроте Венеры. Просидев однажды всю ночь, я закончил ее рано утром, в три часа, как раз в тот момент, когда Минна и ее подруга, только что вернувшиеся с большого бала в Отель-де-Виле, вошли в комнату. Минне я, кроме того, сделал довольно богатые подарки к Рождеству, а сам я, съедая по совету врача каждое утро по бифштексу и выпивая стакан баварского пива перед отходом ко сну, продолжал укреплять свои силы, которые восстанавливались очень медленно. Нового года мы на этот раз не встречали — канун его я спокойно проспал.

379

Репетиции. Граф Валевский. Балетмейстер Петипа

Прекратившиеся с моей болезнью репетиции «Тангейзера» с началом нового года (1861) приняли более оживленный темп, выразившийся в энергичном изучении частностей предполагаемого спектакля. Но в то же время я заметил, что настроение участвующих существенным образом изменилось. Чрезмерное количество репетиций производило на меня такое впечатление, как если бы дирекция, назначая их, не столько руководствовалась надеждой на успех, сколько желанием выполнить самым точным образом полученное предписание. Как бы то ни было, настоящее положение вещей становилось все яснее и яснее. Что касается прессы, находившейся в руках Мейербера, я давно знал, чего должен ждать от нее. Даже дирекция, сделав, по всей вероятности, не одну попытку смягчить главных ее руководителей, пришла к тому убеждению, что с этой стороны постановка «Тангейзера» встретит враждебный прием. Такое мнение сложилось

и в высших сферах, и там теперь старались лишь об одном — расположить в мою пользу ту часть публики, которая имеет решающий голос в такого рода делах.

Князь Меттерних пожелал однажды представить меня новому министру, графу Валевскому. Это произошло с некоторой торжественностью, выразившейся в обращенной ко мне весьма убедительной речи графа. Он пытался заверить меня, что моего успеха чрезвычайно желают, что для этого будет сделано все возможное. Все зависит от меня самого, если только я решусь вставить балет во второй акт оперы. Речь идет не о пустяках каких-нибудь, мне будут предоставлены на выбор самые знаменитые танцовщицы Петербурга и Лондона, с которыми и будет заключен ангажемент, как только я пожелаю доверить свой успех их таланту. Думаю, что я отвечал с не меньшей убедительностью, отклоняя все эти предложения. Но красноречие мое не произвело никакого впечатления. Господин министр объяснил мне, что балет в первом акте не имеет ровно никакого значения, так как те habitues[45], для которых главный интерес заключается в нем, обедают обыкновенно в восемь часов и только около десяти, т. е. приблизительно в середине представления, являются в театр. Я возражал, что если не могу заручиться благосклонностью этих господ, то зато надеюсь произвести должное впечатление на другую часть публики. А он с непоколебимой торжественностью доказывал, что только содействие этих элементов гарантирует хороший успех, так как они обладают силой, способной противостоять даже дурному отношению прессы. Когда же я остался глух и к этому доводу, выразив готовность взять обратно свое произведение, мне было замечено с большей серьезностью, что по приказу императора, которому все обязаны подчиниться, я являюсь

[45] Завсегдатаи, постоянные посетители (*фр.*).

полным властелином в этом деле, что всем моим желаниям будет оказано полное внимание. Он считал лишь своим долгом дать мне дружеский совет.

Результаты этой беседы дали себя почувствовать в самом скором времени. С большим пылом я отдался созданию большой балетной сцены первого акта, для которой я хотел заручиться сотрудничеством балетмейстера Петипа. Я требовал неслыханных вещей с точки зрения обычных балетных спектаклей. Желая все ограничить танцами мэнад и вакханок, я мог вызвать лишь глубочайшее изумление с его стороны. Понимая мои намерения, он не верил, чтобы можно было добиться чего-нибудь с неопытными ученицами балетной школы. От профессиональных же танцовщиц, сказал он мне, я сам отказался, поставив балет в начале первого акта. Для роли трех граций он может предложить мне венгерских танцовщиц, до сих пор выступавших в феериях «Порт-Сен-Мартена». Мне хотелось не иметь никакого дела ни с какими знаменитыми балеринами, и тем настойчивее я стал добиваться оживленного кордебалета. Я стремился поставить на значительную высоту мужской состав, но увидел, что для пополнения последнего не удастся подобрать никого, кроме нескольких портных, которые за 50 франков в месяц смущенно толпятся в кулисах во время сольного выступления танцовщиц. Наконец, я хотел возместить недостающие эффекты подходящими костюмами и потребовал значительных ассигнований. Но и тут, измученный бесконечными проволочками, я через моего верного друга Трюине узнал, что дирекция твердо решила не тратить ни одного су на балет, который она считала совершенно безнадежным.

Это было первым из многочисленных признаков, показавших с полной ясностью, что даже среди оперной администрации на постановку «Тангейзера» смотрели как на потерянный труд, как на бесплодно потраченное усилие.

380

Вытекавшее отсюда настроение ложилось тяжелым гнетом на все, что не предпринималось для этой все далее и далее отодвигаемой постановки. С наступлением нового года репетиции перешли в стадию сценических аранжировок и оркестровых проб: здесь все делалось с тщательностью, которая вначале действовала на меня чрезвычайно благотворно. Но в конце концов и она стала для меня тягостна: я увидел, что это вечное репетирование лишь ослабляет силы, между тем как, если бы я мог взять в свои руки все дело, я в короткое время смело довел бы его до конца. Но не усталость отвратила главного исполнителя, певца Нимана, от его задачи, за которую он вначале взялся с энергией, подававшей самые лучшие надежды. Он узнал, что провал моего творения предрешен окончательно. С этих пор он впал в уныние, которому в моем присутствии старался придать какой-то демонический оттенок. Он уверял, что может видеть вещи только в черном свете. При этом он высказывал довольно разумные мысли, критикуя весь институт оперы, ее публику, качества нашего исполнительского состава, среди которого нет ни одного существа, годного — в моем смысле слова — для предоставленной ему роли.

Он говорил многое такое, чего я и сам не мог скрыть от себя, когда мне приходилось иметь дело с chef du chant, режиссером, балетмейстером, хормейстером, особенно с шефом оркестра. К тому же Ниман, прежде убежденно отстаивавший необходимую полноту своей роли, стал требовать сокращений. Заметив мое удивление, он сказал, что дело совсем не в той или другой сцене. Все предприятие таково, что его надо ликвидировать как можно решительнее.

При таких не особенно утешительных условиях мы кое-как дотащились до стадии так называемых генеральных репетиций. Со всех сторон в Париж стекались друзья моих прежних лет, чтобы разделить со мною «триумф» ожидаемого первого представления. Среди них были Отто Везендонк, Фердинанд Прэгер, злополучный Китц, расходы которого по поездке и пребыванию в Париж я должен был взять на себя. К счастью, в числе их был и господин Шадо из Эперне с корзиной «Fleur du jardin», этого превосходнейшего из сортов шампанского, который мы должны были распить в честь успеха «Тангейзера».

Приехал и Бюлов, грустный и угнетенный тяжелыми обстоятельствами своей собственной жизни. Он хотел почерпнуть бодрость и свежесть в успехе моего предприятия. Я не решался в сухих словах изъяснить ему истинное положение вещей. Напротив, заметив его подавленное состояние, я делал вид, что все идет хорошо. Но на первой же репетиции, на которой он присутствовал, от него не укрылся настоящий ход дел. Я не стал от него больше ничего скрывать, и в грустном настроении мы дождались первого представления, которое оттягивалось все более и более. Некоторое оживление вносили только его постоянные старания быть мне полезным. С какой стороны мы ни подходили к нашему своеобразному предприятию, всюду мы наталкивались на людей непригодных и неспособных: так, в огромном Париже оказалось невозможным раздобыть двенадцать валторн, которые в Дрездене так бодро звучали в охотничьих кликах первого акта. По этому поводу мне пришлось иметь дело с ужасным человеком, знаменитым музыкальным мастером Саксом, который должен был прийти на помощь различными суррогатами в виде саксофонов и рожков, да и, кроме того, был официально уполномочен управлять ими за сценой. Но добиться верного исполнения оказалось невозможным.

381

Самые большие огорчения доставляла нам неспособность дирижера Дитша, какой мы в нем и не предполагали в такой «высокой» степени. На бывших многочисленных оркестровых репетициях я привык пользоваться этим человеком, как машиной. Со своего обычного места у самого пульта я одновременно дирижировал и им, и оркестром. Я обозначал темпы, и не могло быть никакого сомнения, что и потом, без моего участия, все указания будут в точности исполнены. Между тем оказалось, что как только Дитш оставался вне контроля, все приходило в колебание, ни один темп, ни один нюанс не проводились уверенно и сознательно. Только теперь мне стало ясно, какая от этого угрожала нам опасность. Если ни один из певцов не был на высоте своей задачи и нельзя было ожидать, что правильным исполнением своей роли он произведет надлежащее впечатление, если главный нерв парижских представлений — балет — и, наконец, блестящая обстановка на этот раз совсем или лишь в самых скромных пределах могла содействовать общему эффекту спектакля, если весь дух произведения, то нечто, что при самом скверном исполнении заставляло в Германии слушателей чувствовать в моем творении что-то родное, должен был показаться здесь совершенно чуждым или, в лучшем случае, только странным, значит, в конце концов оставалась одна надежда — на яркий характер самой оркестровой музыки, отчетливое исполнение которой могло произвести впечатление на публику.

Но все терялось в бесцветном хаосе, весь рисунок, все его линии. Вдобавок и певцы все более и более теряли уверенность, и даже бедные артистки кордебалета не могли попасть в такт, проделывая свои тривиальные па. Вот почему я счел необходимым выступить с заявлением,

что для оперы нужен другой дирижер, и предложить на худой конец самому заместить его. Это заявление довело до кульминационного пункта поднявшееся против меня возбуждение. Даже оркестр, давно убедившийся в неспособности своего дирижера и вслух насмехавшийся над ним, принял теперь, когда дело коснулось официального шефа, его сторону. Пресса в негодующем тоне говорила о моей «аррогантности»[46], а Наполеон III не нашел другого выхода из создавшегося положения, как посоветовать мне взять назад свое требование, так как, поддерживая его, я подвергаю величайшему риску все дело, весь успех своего произведения.

Мне было дозволено возобновить репетиции и продолжать их до тех пор, пока я не буду удовлетворен.

382

Первое представление «Тангейзера»

Однако этот выход не мог привести ни к чему другому, как к величайшей усталости, и меня лично, и весь задействованный состав. С другой стороны, Дитш оказался по-прежнему совершенно невменяем, как только дело касалось темпов. Когда же я притворился, будто верю, что усиленные требования могут внести нечто новое в исполнение, музыканты оркестра заявили пылкий протест против бесконечного репетирования. На этом я увидел, что дирекция, подчеркивая мое относительное «могущество», была не совсем искренна, и ввиду усиливавшихся со всех сторон признаков переутомления я принял решение потребовать обратно «партитуру», т. е. совершенно отказаться от постановки оперы. В этом смысле я отправил особое заявление министру Валевскому, но услышал в ответ, что желание мое ни в коем случае не может быть

---

[46] От *фр.* Arrogant — «притязательный, надменный, напыщенный».

исполнено уже по одному тому, что приготовления к опере потребовали слишком больших затрат.

Я не хотел удовлетвориться таким решением и созвал друзей, особенно интересующихся моими делами, среди которых были граф Гацфельд и Эмиль Эрлангер, на совещание, чтобы вместе с ними обсудить, какими путями я мог бы воспрепятствовать постановке моего произведения на сцене Парижской оперы. Случайно на этом совещании присутствовал и Отто Везендонк, все еще ожидавший в Париже первого представления «Тангейзера». Убедившись, что предприятие безнадежно, он сейчас же вернулся в Цюрих. То же самое было и с Прэгером. Только Китц, раздобывший в Париже кое-какие средства для дальнейшего существования, решил терпеливо выжидать, несмотря ни на какие препятствия. Результатом этого совещания было новое представление императору Наполеону, на которое мне было отвечено разрешением назначить необходимые репетиции. Наконец, до крайности утомленный и самым пессимистическим образом настроенный по отношению к ожидаемым результатам, я решил предоставить дело его естественному течению.

Дав в таком настроении согласие окончательно назначить день первого представления, я оказался в самом странном и затруднительном положении. Каждый из моих друзей и почитателей требовал хорошего места на премьере. Между тем дирекцией было заявлено, что распределение билетов находится всецело в руках двора и близко стоящих к нему лиц. Кому обыкновенно отдавались эти места, это я скоро увидел сам. Пока же пришлось вынести много неприятностей из-за того, что я не мог по желанию угодить многим из друзей. Среди них некоторые чрезвычайно обиделись на меня за якобы выказанное им пренебрежение: Шанфлери жаловался в письме на явную перемену в моих дружеских чувствах к нему, Гасперини

даже прямо поссорился со мной за то, что я не оставил для его покровителя и моего кредитора, генерального инспектора по сбору податей Люси из Марселя, одной из лучших лож. Даже Бландина во время репетиций, на которых она присутствовала, всегда относившаяся с самым пылким энтузиазмом к моему произведению, теперь, когда я мог предоставить ей и ее мужу Оливье лишь два сносных места в партере, не могла удержаться, чтобы не заподозрить меня в пренебрежении к лучшим друзьям. Потребовалось все хладнокровие Эмиля, чтобы заставить мою приятельницу, считавшую себя глубоко оскорбленной, отнестись со справедливым вниманием к моим объяснениям и описанию того неслыханного положения, в какое меня поставило всеобщее предательство. Один лишь бедняга Бюлов все понимал. Он страдал со мной и прилагал все усилия, чтобы помочь мне во всех этих неприятностях.

Прием, который встретило первое представление «Тангейзера», 13 марта, все объяснил, и друзья мои поняли, что я не имел основания приглашать их присутствовать на одном из моих «триумфов».

383

Второе

О том, как прошел этот вечер, я достаточно говорил в других местах. Я мог думать, что хорошее впечатление, произведенное моей оперой, в конце концов одержало верх, потому что главного своего намерения — прервать совершенно представление — моим противникам так и не удалось осуществить. Но меня огорчило, что на следующий день мне пришлось услышать от моих друзей, во главе которых стоял Гасперини, одни лишь упреки за то, что я выпустил из своих рук распределение билетов на премьеру. Мейербер в таких случаях действовал иначе.

Начиная с первых шагов в Париже, он никогда не допускал постановки своих опер иначе, как обеспечив себе успех правильным распределением мест в зале вплоть до самых его последних уголков. Не позаботившись о своих лучших друзьях, как, например, о Люси, я должен приписать себе самому неудачу минувшего вечера. Весь день мне пришлось по этому поводу писать письма и делать всевозможные попытки примирения. Со всех сторон раздавались советы, как исправить оплошность на последующих представлениях. Так как дирекция предоставила мне очень небольшое количество даровых мест, то необходимо было раздобыть средства для приобретения билетов. Мне претило обращаться по этому поводу к Эмилю Эрлангеру или к кому бы то ни было другому. Но друзья мои взялись за дело со священным жаром. Джакомелли узнал, что коммерсант Ауфмордт, знакомый Везендонка, готов прийти на помощь, предлагая для этой цели 500 франков. Я предоставил друзьям, озабоченным моим благополучием, действовать по личному усмотрению и с любопытством ждал, какой результат дадут все эти средства, упущенные в свое время, но примененные теперь.

Второе представление состоялось 18 марта. Первый акт прошел превосходно. По окончании увертюры раздались шумные аплодисменты. Госпожа Тедеско, которую напудренный золотой пылью парик окончательно расположил в пользу партии Венеры, с торжеством крикнула мне, находившемуся в ложе директора, после того как септет финала вызвал оживленные аплодисменты, что теперь все в порядке, что мы победили. Когда же во втором акте вдруг раздались резкие свистки, директор Руайе повернулся ко мне с выражением полной безнадежности и сказал: «Ce sont les Jockeys — nous sommes perdus»[47].

---

[47] «Это Жокеи — мы проиграли» (*фр.*).

С членами этого Жокей-клуба, представлявшими в театре задающую тон силу, велись, вероятно, по поручению императора, настоящие переговоры об участи моей оперы. От них требовалось только полное невмешательство на три вечера представления, после чего им было обещано сократить ее настолько, чтобы впредь она ставилась лишь как lever de rideau[48] для следующего за ней балета. Но эти господа не пошли на такое предложение, мотивируя свой отказ следующим образом. Во время первого, столь бурного представления я отнюдь не имел вида человека, способного дать согласие на предполагаемые изменения. Затем можно опасаться, что опера, выдержав еще два представления, приобретет много почитателей. Пожалуй, ее преподнесут балетоманам тридцать раз подряд, против чего они намерены заблаговременно принять самые решительные меры. Блистательный Руайе убедился теперь, что намерение этих господ совершенно серьезно, и с этого момента отказался от всякого противодействия, несмотря на поддержку императора и его супруги, стоически выносивших в своем присутствии неистовства собственных придворных.

384

Третье

Сцены эти произвели на моих друзей потрясающее впечатление. Бюлов по окончании представления с рыданием бросился на шею Минне, которая не избежала оскорблений со стороны соседей, узнавших в ней мою жену. Наша верная служанка, швабка Тереза, подверглась издевательствам одного из бушевавших скандалистов, но, заметив, что он понимает по-немецки, весьма решительно обругала его «свиньей» и «собакой», чем заставила

[48] Одноактная пьеса, сыгранная перед началом спектакля (*фр.*; *устар.*).

на время замолчать. Китц от ужаса совершенно потерял дар слова, а шампанское «Fleur du jardin» Шадо так и осталось нетронутым в кладовой.

Когда я узнал, что дирекция готовится к третьему представлению, мне представилось только два выхода: или попытаться получить обратно партитуру, или потребовать, чтобы представление было назначено на воскресенье, вне абонемента. Я предполагал, что в таком случае оно отнюдь не будет иметь характера провокации по отношению к обычным посетителям театра. В эти дни места предоставлялись случайной платящей публике. По-видимому, предложение мое понравилось как дирекции, так и при дворе. Оно было принято. Но мне было отказано в просьбе объявить это представление последним.

Ни я, ни Минна не явились в театр. Было противно слышать оскорбления, наносимые моей жене, как и певцам на сцене. От всей души я жалел Морелли и фройляйн Закс, выказавших непоколебимую преданность. Уже после первого спектакля я встретил фройляйн Закс в коридоре при выходе и обратился к ней с шутливым замечанием по поводу того, что ее освистали. Серьезно и гордо она ответила мне: «Je le supporterai cent fois comme aujourd'hui. Ah, les misérables!»[49]

Курьезную борьбу с самим собой пришлось выдержать Морелли в тот момент, когда скандалисты подняли бурю против него. Его игра при исчезновении Елизаветы в третьем акте, до обращения к Вечерней звезде, была разработана с величайшей точностью по моим указаниям. Ни в каком случае он не должен был удаляться от скамьи в скале, с которой, полуобернувшись к публике, он посылал привет удаляющейся Елизавете. Ему нелегко было исполнить это требование. Он утверждал, что это противоречит

---

[49] «Я сто раз выдержу такое, как сегодня. Ах, негодяи!» (*фр.*).

оперным обычаям, что столь важный номер должен быть исполнен с авансцены лицом к лицу с публикой. Когда он взял арфу, собираясь начать свою песнь, в публике раздалось: «Oh! il prend encore sa harpe»[50]. Это замечание вызвало оглушительный хохот всего зала, за которым последовали новые, столь продолжительные свистки, что Морелли решил отложить арфу в сторону и, по принятому обыкновению, выступить на авансцену. Без всякого сопровождения — Дитш нашелся только на десятом такте — он начал свою «вечернюю фантазию». Все смолкло, публика постепенно стала слушать, затаив дыхание, и в конце наградила певца аплодисментами.

385

Страдание друзей

Ввиду мужественной готовности певцов идти навстречу новым бурям я должен был склониться перед обстоятельствами. Но я не был в состоянии при таких недостойных сценах оставаться в пассивной роли страдающего зрителя. Поэтому вследствие весьма сомнительного исхода третьего представления я остался в этот вечер дома. После каждого акта к нам являлись из театра вестники, сообщавшие о том, что там происходит. После первого акта Трюине согласился со мной, что партитуру во всяком случае надо взять обратно.

Оказалось, что «жокеи», против обыкновения, не отсутствовали в театре, а явились с самого начала, чтобы не пропустить ни одной сцены без скандала. Как мне передавали, в первом акте два раза пришлось остановить представление на четверть часа, пока в зрительном зале длилась борьба. Большинство публики, вовсе не имея намерения

[50] «О! Он снова берет свою арфу» (*фр.*).

высказывать определенное суждение о произведении, энергично приняла мою сторону в противовес мальчишескому поведению скандалистов. Но последние имели огромное преимущество перед ней в способах манифестации: когда все уставали от аплодисментов, одобрительных или враждебных криков и наступала тишина, «жокеи» принимались весело играть на своих охотничьих рожках и маленьких флейтах, так что последнее слово оставалось за ними. Во время антракта один из этих господ вошел в ложу знатной дамы, которая, вся кипя негодованием, представила его своей приятельнице со словами: «C'est un de ces misérables, mon cousin»[51]. Тот ответил с веселым видом: «Что прикажете делать? Мне самому эта музыка начинает нравиться. Но поймите сами, раз дав слово, надо его сдержать. Извините, я должен вернуться к работе». И он удалился.

Добродушного фон Зеебаха, саксонского посланника, я на следующий день встретил совершенно без голоса. Он потерял его, бушуя в театре вместе со своими друзьями. Княгини Меттерних в театре не было. Уже на первых двух представлениях ей пришлось выносить оскорбительное издевательство наших противников. Передавая мне свое негодование по этому поводу, она назвала своих лучших знакомых, с которыми у нее вышли резкие конфликты. Она им сказала: «Подите вы с вашей свободной Францией! В Вене, где имеется настоящая аристократия, было бы немыслимо, чтобы какой-нибудь князь Лихтенштейн или Шварценберг, свистя из своей ложи, требовал балета для "Фиделио"». Думаю, что в этом смысле она говорила и с императором, вследствие чего и был поставлен на обсуждение вопрос, не следует ли полицейскими мерами положить предел неприличному поведению господ,

[51] «Это один из тех негодяев, мой кузен» (*фр.*).

увы, принадлежавших большей частью к придворному штату. Об этом пошли слухи, и в самом деле друзья мои поверили в близость победы, когда на третьем представлении увидели в коридорах театра значительные полицейские отряды. Потом оказалось, что эти меры предосторожности были приняты для защиты «жокеев», так как можно было ожидать, что они подвергнутся за свою наглость нападению со стороны партера.

Представление это, доведенное все-таки до конца, сопровождалось бесконечным бушеванием толпы. После второго акта к нам явилась жена венгерского революционного министра Семере. Она была вне себя и заявила, что в театре невозможно больше оставаться. О том, как прошел третий акт, никто не мог сообщить ничего связного: он напоминал сплошной гром сражения в облаках порохового дыма.

386

На следующее утро я пригласил к себе Трюине, чтобы сообща с ним составить заявление в дирекцию следующего содержания: желая избавить певцов от оскорблений, которым они вместо меня подвергаются со стороны одной части публики и от которых императорская администрация не в силах оградить их, я считаю нужным взять назад свою партитуру, причем на правах автора запрещаю дальнейшие представления моей оперы. Всем показалось особенно удивительным, что запрещение это не было простым пусканием пыли в глаза, ибо четвертое и пятое представления уже были объявлены, и администрация возразила, что и у нее имеются обязательства по отношению к публике, которая ломится в театр на эти спектакли. Тогда при посредстве Трюине я устроил так, что на следующий же день появилось мое письмо в Journal des Débats,

и лишь тогда, после некоторого колебания, дирекция заявила, что соглашается на возвращение партитуры.

Такое решение вопроса положило конец и процессу против Линдау, который по моему поручению вел Оливье. Линдау требовал своей доли участия в «авторских правах» на произведение, считая себя третьим сотрудником на одинаковых правах с двумя другими. Его адвокат мэтр Мари доказывал обоснованность его требований при помощи мной самим будто бы выставленного принципа, согласно которому главная суть для меня заключалась не в мелодии, а в «скандировании» текста: ни Рош, ни Трюине не могли ничего сделать для этого, так как не знали немецкого языка. Против этого Оливье выступил так энергично, что для доказательства музыкальной ценности моей мелодии чуть не готов был сам исполнить перед судьями «Вечернюю звезду». Убежденные его аргументацией, судьи отвергли требования моего противника, но, ввиду того что вначале он принимал некоторое участие в работе, дали ему право взыскать с меня небольшое вознаграждение. Во всяком случае, из доходов парижской постановки «Тангейзера» я не мог бы его уплатить, ибо, взяв назад свою оперу, я с согласия Трюине решил предоставить весь Droits d'auteur[52], за текст и музыку, бедному Рошу: с провалом моего произведения для него исчезла последняя надежда на улучшение его тяжелого материального положения.

387

Артистический кружок. Обер. Гуно

При таких обстоятельствах после неудачной постановки «Тангейзера», порвались и некоторые другие из завязавшихся у меня в Париже отношений. В течение последних

---

[52] Здесь в значении «авторский гонорар» (*фр.*).

месяцев часть моего времени поглощал Cercle artistique[53], образовавшийся из самых аристократических элементов, при значительном содействии немецких посольств, и ставивший себе целью путем артистического исполнения хорошей музыки оживить вне театра, в изысканных слоях общества, интерес к ней. На беду, он возымел неудачную идею сравнить деятельность по популяризации музыки с деятельностью Жокей-клуба по развитию коневодства. Как бы то ни было, кружок стремился привлечь к себе все, что более или менее пользовалось известностью в музыкальном мире: я должен был, внеся 200 франков, записаться членом его и за это был избран вместе с Гуно и другими парижскими знаменитостями в художественный комитет, председателем которого был Обер.

Мы часто собирались на заседания у графа д'Осмона, очень живого молодого человека, лишившегося на дуэли руки и занимавшегося музыкой как дилетант. Тут же я познакомился с молодым князем де Полиньяком. Он интересовал меня главным образом как брат человека, давшего полный перевод «Фауста». Однажды мне пришлось у него завтракать, и при этом случае он развернул предо мной свои фантазии по части музыки: он хотел убедить меня в правильности своей концепции A-dur'-ной симфонии Бетховена, в последней части которой он с ясностью мог проследить все фазы кораблекрушения. Наши общие заседания, имевшие на первых порах целью устройство большого классического концерта, для которого я должен был написать что-нибудь, оживлялись участием Гуно. С педантическим усердием и неутомимой обстоятельностью, не лишенной слащавости, он исполнял обязанности секретаря. Обер своими краткими и остроумными bon-mots, рассчитанными на то, чтобы последнее

[53] Круг объединенных художников (*фр.*).

слово оставалось за ним, скорее мешал заседаниям, чем руководил ими. После решительного провала «Тангейзера» я еще раз получил приглашение на заседание комитета. Но я больше не являлся туда, заявив председателю о своем выходе из общества вследствие предстоящего отъезда в Германию.

После этого я сохранил дружеские отношения с одним только Гуно. Мне передавали, что он всюду отзывался обо мне с большим энтузиазмом. Он будто бы заявил: «Que Dieu me donne une pareille chûte»[54]. В благодарность я подарил ему партитуру «Тристана и Изольды», ибо его отношение ко мне радовало меня тем более, что никакие дружеские чувства не могли меня заставить прослушать его «Фауста».

388

Бодлер. Проект Вагнеровского театра

Вообще мне пришлось теперь познакомиться со многими лицами, энергично выступавшими в мою защиту. Небольшие, еще не замеченные Мейербером журналы расхваливали меня, высказывая нередко очень удачные мысли. Где-то я прочел, что «Тангейзер» представляет собой la symphonie chantée[55]. Бодлер выпустил чрезвычайно талантливую и едкую брошюру. Жюль Жанен поразил меня фельетоном в Journal des Débats, в котором, пылая негодованием, дал несколько растянутую, по обыкновению, заметку обо всем этом эпизоде. В театрах ставили пародии на «Тангейзера». А Мюзар ничем не мог так привлечь публику на свои концерты, как ежедневно объявляя в своих программах крупными буквами его увертюру. Паделу демонстративно и часто исполнял мои вещи.

---

54 «Дай мне, Боже, такой провал» (*фр.*).

55 Поющая симфония (*фр.*).

Наконец, жена австрийского военного уполномоченного, графиня Лёвенталь, устроила у себя большое музыкальное утро, на котором госпожа Виардо спела несколько номеров из «Тангейзера», за что получила 500 франков.

Странным образом мою участь сравнивали с участью Вакри, тоже скандально провалившегося со своей драмой Les Funerailles de l'Honneur. Друзья устроили в его честь банкет, на который был приглашен и я. Обоих нас чествовали с большим энтузиазмом. Слышались пылкие речи на тему о возрастающей вульгарности публики. Разговор затронул слегка и область политики, поводом к чему послужило родство Вакри с В. Гюго. К сожалению, мои почитатели раздобыли пианино, на котором, не будучи в силах противостоять общим требованиям, я должен был сыграть любимые отрывки из «Тангейзера», вследствие чего празднество превратилось в чествование меня одного.

Примечательно, что на моей своеобразной популярности считали возможным основывать большие предприятия. Директор Лирического театра прилагал все усилия, чтобы найти тенора для «Тангейзера», и только то обстоятельство, что он его не нашел, заставило его отказаться от намерения сейчас же поставить мою оперу. Господин Бомон, директор Опера-Комик, был близок к банкротству. Надеясь найти свое спасение в «Тангейзере», он самым настойчивым образом приставал ко мне с предложениями в этом смысле. Правда, он рассчитывал привлечь этим на свою сторону княгиню Меттерних, которая своим влиянием могла бы выхлопотать ему у императора материальную поддержку. Он упрекал меня в холодности, видя, что ему не удается прельстить меня никакими блестящими перспективами. Не чувствуя ни малейшей склонности согласиться на его предложения, я не без интереса выслушал известие о том, что Роже, ставший управляющим театра Опера-Комик, тоже включил часть последнего акта

«Тангейзера» в программу своего бенефисного спектакля, чем навлек на себя яростные нападки большой прессы, но встретил хороший прием у публики. Всевозможные проекты росли с каждым днем.

От имени общества, во главе, которого стоял один богатый человек, явился ко мне некий Каброль, выступавший в литературе под псевдонимом Лорбак, с предложением основать «Вагнер-Театр». Я не хотел и слышать об этом деле, пока для него не подыщут опытного и пользующегося известностью директора. Выбор пал на Перрена. Уже несколько лет он жил в полной уверенности, что в один прекрасный день будет назначен директором Парижской оперы, и потому боялся скомпрометировать себя чем-нибудь. Правда, он приписывал провал «Тангейзера» исключительно неспособности Руайе, так как на его обязанности лежало расположить прессу в пользу новой постановки. Возможность на деле доказать, что в его руках все сразу приняло бы другой оборот и «Тангейзер» имел бы успех, очень прельщала его принять участие в таком предприятии. Однако, будучи чрезвычайно холодным и осторожным человеком, он усмотрел в предложениях Лорбака некоторые слабые стороны. Когда последний заговорил о комиссионном вознаграждении, Перрену сейчас же почудилось, что все предприятие имеет характер не совсем безупречной спекуляции, и он заявил, что, если бы ему вздумалось основать «Вагнер-Театр», он сумел бы достать для этого необходимые средства.

Действительно, он носился с мыслью приобрести для такого рода театра большое кафе-концерт Alcazar, или, например, помещение Bazar de la Bonne-Nouvelle. Казалось, для его предприятия нашлись бы и капиталисты. Эрлангер полагал, что без труда соберет десять банкиров, из которых каждый согласится внести 50 000 франков, что составит в общем фонде 500 000. Эти деньги могли бы быть

предоставлены в распоряжение Перрена для ведения дела. Но, убедившись, что эти господа готовы дать свои капиталы на основание театра, который служил бы не серьезной тенденции популяризировать мои произведения, а только для их собственного развлечения, Эрлангер охладел ко всей затее.

389

В Карлсруэ

Такие печальные результаты заставили Эрлангера отказаться и от дальнейшего участия в моей судьбе. В коммерческом смысле он смотрел на заключенное между нами соглашение просто как на торговое предприятие, потерпевшее неудачу. Упорядочение моего финансового положения должно было перейти в руки других друзей. В этом отношении большую деликатность проявили немецкие посольства, поручившие графу Гацфельду справиться у меня относительно моих потребностей. В ответ на это я изобразил свое положение в истинном свете, указав на то, что вследствие приказа императора о постановке моей оперы время мое было потрачено на предприятие, которое не дало никакого плода — не по моей вине. Не без основания друзья упрекали меня за беспечность. С самого начала я упустил возможность поставить определенные условия о возмещении убытков, что практическому уму французов показалось бы вполне естественным и понятным. Действительно, я не выговорил себе никакого вознаграждения за труд и время, и мне оставалось рассчитывать только на причитающийся мне в случае успеха авторский гонорар. Но так как теперь, чтобы наверстать упущенное, я уже не мог обратиться ни к администрации оперы, ни к императору, мне пришлось удовлетвориться тем, что княгиня Меттерних взяла на себя устроить все это дело.

Граф Пурталес как раз в это время останавливался в Берлине, чтобы убедить принца-регента Прусского отдать распоряжение о постановке «Тангейзера» в мою пользу. К сожалению, принц-регент не мог побороть противодействия своего интенданта, фон Хюльзена, настроенного по отношению ко мне чрезвычайно враждебно. Видя перед собой долгий период полной беспомощности, я должен был предоставить своей высокой покровительнице защищать мои интересы в вопросе о вознаграждении, а сам 15 апреля (все эти события, последовавшие за постановкой «Тангейзера», разыгрались на коротком протяжении одного месяца) отправился на непродолжительное время в Германию, чтобы там хоть немного подготовить почву для будущей моей деятельности.

Туда же еще до меня, вырвавшись из хаоса парижских событий, отправился единственный человек, вполне понимавший мои истинные потребности, — Бюлов. Из Карлсруэ он известил меня о благоприятном настроении семьи Великого герцога, и я тут же решил серьезно приняться за постановку «Тристана», столь злополучно отодвигаемую все дальше и дальше. С этой целью я приехал в Карлсруэ, и если что-либо могло меня утвердить в быстро принятом решении, это был необычайно сердечный прием, какой я встретил со стороны Великого герцога Баденского. Он чувствовал потребность внушить мне серьезное к себе доверие. В дружеской беседе, в которой принимала участие и его молодая жена, герцог старался дать мне понять, что его глубокое участие ко мне относится не столько к оперному композитору, для суждений о котором у него нет ни склонности, ни достаточных познаний, сколько к человеку, которому пришлось пострадать за свой немецкий свободный образ мыслей. То обстоятельство, что по вполне понятным причинам я не придавал особенного

значения моему политическому прошлому, казалось ему проявлением некоторой сдержанности, вызванной отсутствием надлежащего к нему доверия. Желая ободрить меня, он заявил, что, если в этом направлении и были совершены ошибки, даже крупные прегрешения, вина падает скорее на тех, которые, оставшись в Германии и не найдя там счастья, искупили свои преступления внутренними страданиями. Теперь на них лежит обязанность исправить ошибки, совершенные по отношению к лицам, из Германии изгнанным.

Он охотно открыл мне двери своего театра, отдав директору его соответствующие приказания. Последний, мой старый «друг» Эдуард Девриент, подтвердил смущением, в которое поверг его мой приезд, наблюдения Бюлова о неискренности его прежних отношений ко мне. В том радостном настроении, какое вызвал во мне прекрасный прием Великого герцога, мне скоро удалось склонить и Девриента, по крайней мере внешне, к тому, что мне было нужно. Он должен был пуститься со мной в серьезные обсуждения предполагаемой постановки «Тристана». Ему не приходило в голову отрицать, что в настоящее время, особенно с переходом Шнорра в Дрезден, у него совсем не было подходящих певцов, и он указал мне на Вену, не скрыв при этом своего удивления, что вообще я не ставлю своих опер там, где имеются налицо нужные для этого условия. Мне стоило труда заставить его понять, почему несколько экстренных представлений в Карлсруэ я предпочитаю возможности включить мои произведения в репертуар венского театра. Но как бы то ни было, я добился согласия на выбор в придачу к Шнорру, который должен был приехать в Карлсруэ в качестве гастролера, певцов, нужных для предполагаемого «образцового представления».

390

Вена. Музыкальный критик Ганслик

Это вызвало необходимость поездки в Вену, и я отправился в Париж с целью упорядочить там свои дела настолько, чтобы почувствовать себя достаточно подготовленным для дальнейшего выполнения моего плана. К сожалению, здесь после шестидневного отсутствия мне пришлось думать только о том, как раздобыть необходимые денежные средства. Различные выражения участия и попытки сближения, согретые теплым чувством, были мне при настоящих условиях и тягостны, и безразличны. Пока операции княгини Меттерних, в довольно широком масштабе задуманные на благо мне, тянулись с непонятной медлительностью, мне пришел на помощь коммерсант Штюрмер, с которым я раньше познакомился в Цюрихе. В Париже он относился ко мне с искренним участием и заботливостью. Благодаря ему мне удалось временно устроить свой дом и поехать в Вену.

Лист давно собирался в Париж, и во время минувших тревожных недель я часто страстно желал его присутствия: легко можно было предположить, что именно ему при его исключительном положении среди знаменитостей парижского мира удалось бы повлиять благоприятным образом на разрешение моих запутавшихся обстоятельств. Но на все мои запросы о причинах его запоздания я получал какие-то таинственно-неопределенные ответы. Какой иронией показалось мне поэтому как раз теперь, когда я уже совсем приготовился ехать в Вену, известие, что Лист в один из ближайших дней прибудет в Париж! Но мне приходилось думать лишь о выходе из тягостного положения, для чего необходимо было завязать новые связи, и я покинул Париж около середины мая, не дождавшись прибытия старого друга.

Прежде всего я вернулся в Карлсруэ для вторичного свидания с Великим герцогом. Я встретил тот же дружеский прием и получил разрешение ангажировать для образцового представления «Тристана» певцов, которых я выберу в Вене. Из Карлсруэ я поехал прямо в Вену и остановился в отеле Erzherzog Karl[56]. Капельмейстер Эссер еще раньше обещал мне несколько представлений моих опер. Действительно, в первый раз я увидел здесь на сцене «Лоэнгрина». Хотя опера давалась много раз, весь состав согласно моему желанию собрался для полной репетиции. Оркестр исполнил вступление с такой теплотой, голоса певцов, артистические достоинства их игры отличались такой яркостью, произведение было им до такой степени хорошо знакомо, что, побежденный этими впечатлениями, я потерял всякую охоту критиковать постановку в целом.

От окружающих не укрылось, что я был глубоко тронут, и д-ру Ганслику это показалось самым подходящим моментом представиться мне. Я коротко поклонился ему как совершенно незнакомому человеку. Тогда тенор Андер представил мне его еще раз, заметив, что Ганслик мой старый знакомый. Я ответил, что очень хорошо помню господина Ганслика, и снова отдал все внимание репетиции. Мои венские друзья, кажется, испытали теперь то же, что некогда мои лондонские знакомые, столь безуспешно убеждавшие меня обратить внимание на опаснейшего из рецензентов. Еще молодым человеком перед поступлением в университет, присутствуя в Дрездене на одном из первых представлений «Тангейзера», Ганслик прочел полный энтузиазма доклад о моем произведении. Но с тех пор, как это выяснилось по случаю постановки моих опер в Вене, он стал одним из наиболее ярых моих противников. Расположенный ко мне театральный персонал имел

---

[56] «Эрцгерцог Карл» (*фр.*).

с этой минуты, казалось, одну заботу: как-нибудь помирить меня с рецензентом. Из этого ничего не вышло, и, пожалуй, не совсем неправы те, которые приписывают дальнейшие неудачи каждого из моих венских предприятий вспышкам новой вражды ко мне этого человека.

391

Постановка «Лоэнгрина». Цюрих

Но пока все неприятное потонуло в потоке сочувственных мне настроений. Представление «Лоэнгрина», на котором я присутствовал, превратилось в одну из тех сплошных бурных оваций, какие я видел только со стороны венской публики. Для меня хотели назначить представления двух других моих опер. Но я испытывал некоторый страх перед повторением того, что пережил в тот вечер. Зная, кроме того, о больших недочетах постановки «Тангейзера», я принял одно представление более скромного «Летучего Голландца», главным образом потому, что мне было важно услышать выступавшего с таким блеском певца Бека. И на этот раз публика бурно проявляла мне свой восторг, и, окруженный общим сочувствием, я мог приняться за осуществление главной цели. Учащаяся молодежь задумала устроить факельное шествие в честь меня, но я отказался от него, чем необычайно расположил в свою пользу Эссера. Он, как и администрация оперы, спрашивали себя, как использовать эти триумфы.

Я представился графу Лянцкоронскому, обергофмейстеру императора, которого мне обрисовали как очень странного господина, ничего не понимающего в искусстве и его нуждах. Когда я изложил свою просьбу разрешить выдающимся силам оперы, главным образом госпоже Дустман (урожденной Луизе Майер) и Беку, а может быть, и Андеру, продолжительный отпуск для проектируемой

в Карлсруэ постановки «Тристана», он очень сухо ответил, что это невозможно. Он считал гораздо более благоразумным, чтобы я поставил свое новое произведение в Вене, раз я нахожу персонал венской оперы столь подходящим для себя. Скоро я потерял энергию противиться такому взгляду на вещи.

Когда, весь поглощенный этим новым оборотом дела, я выходил из дворца, ко мне подошел стройный господин чрезвычайно симпатичной внешности и предложил проводить меня в экипаже до гостиницы. Это был Йозеф Штандгартнер, очень популярный преимущественно в высшем свете врач, большой любитель музыки, которому суждено было стать на всю жизнь преданнейшим моим другом. В это время со мной сошелся и Карл Таузиг, желавший завоевать венский музыкальный мир композициями Листа и еще прошлой зимой начавший осуществление этой задачи аранжировкой оркестровых концертов, которыми он сам дирижировал. Он свел со мной занесенного в Вену Петера Корнелиуса, которого я знал со встречи в Базеле в 1853 году. Оба увлекались только что вышедшим тогда в аранжировке Бюлова клавираусцугом «Тристана». В моем номере гостиницы, куда Таузиг позаботился доставить рояль «Бёзендорф», целыми днями раздавались звуки музыки. Мои друзья были готовы сейчас же начать репетиции «Тристана». Во всяком случае меня убеждали поставить «Тристана» раньше здесь, и, уезжая из Вены, я дал обещание вернуться через несколько месяцев и начать разучивание оперы.

Я чувствовал некоторое смущение при мысли, что должен сообщить Великому герцогу Баденскому о перемене в моих планах. Поэтому я ухватился за мелькнувшую в голове мысль сделать некоторый крюк и тем отсрочить приезд в Карлсруэ. С моей поездкой совпал день моего рождения, и я решил отпраздновать его в Цюрихе. Через

Мюнхен я отправился прямо в Винтертур, где рассчитывал встретить Зульцера. К сожалению, я его не застал и нашел только его жену, чрезвычайно трогательно ко мне отнесшуюся, да его маленького сына, очень заинтересовавшего меня мальчика. Его самого мне удалось встретить на следующее утро, 22 мая, в Цюрихе. Остаток этого дня я провел в тесном номере гостиницы, читая «Годы странствий Вильгельма Мейстера» Гёте, и в первый раз почувствовал, что вполне понимаю это удивительное произведение. Своеобразное описание выступления подмастерьев, полное наивного лиризма, особенно сроднило меня с духом поэта.

В Цюрих я приехал на следующий день. Чудесное ясное утро побудило меня, сделав большой обход, отправиться пешком в имение Везендонка старыми, знакомыми путями. Здесь меня совершенно не ждали. Справившись о привычках обитателей дома, я узнал, что в это время Везендонк обыкновенно спускается в столовую, где завтракает один. Я уселся в углу столовой и стал ждать. Длинноногий, добродушный Везендонк скоро сошел вниз и молча принялся за свой кофе. Велико было его изумление, когда он заметил меня. День прошел очень удачно. Были созваны Зульцер, Земпер, Гервег, а также Готфрид Келлер. В интимной обстановке я наслаждался сознанием вполне удавшегося сюрприза. Судьба моя обсуждалась друзьями с большим возбуждением.

392

Лист

На другой день я поспешил в Карлсруэ. Великий герцог выслушал мое сообщение с одобрительным сочувствием. Не уклоняясь от истины, я мог передать ему, что просьба об отпуске для певцов была отклонена, и предполагавшаяся

постановка оперы в Карлсруэ становилась вследствие этого невозможной. Эдуард Девриент отнесся к этому обороту дела без малейшего огорчения. С нескрываемым удовлетворением он предсказывал мне блестящую будущность в Вене. Здесь же меня настиг Таузиг, еще в Вене решивший отправиться в Париж, чтобы встретиться там с Листом. Из Карлсруэ мы продолжали путешествие вдвоем через Страсбург.

В Париже я нашел свой дом и хозяйство в состоянии ликвидации. Теперь нам важно было раздобыть средства для переезда и как-нибудь устроить свою будущность, лишенную всяких перспектив. Минне представился случай проявить свои хозяйственные таланты. Лист, который уже успел войти в старую колею, которому даже со своей собственной дочерью Бландиной удавалось поговорить только в экипаже, между одним визитом и другим, нашел все-таки по доброте своего сердца возможность явиться ко мне на «бифштекс». Раз он уделил мне целый вечер, дружески дав мне этим случай выполнить некоторые маленькие мои обязательства. Он играл на рояле перед моими друзьями из прежних тяжелых времен моей жизни. Бедняга Таузиг, лишь накануне исполнивший для меня фантазию Листа («Бах») и повергший меня в истинное изумление, теперь, когда Лист как бы случайно исполнил ту же вещь, почувствовал себя совершенно уничтоженным, бессильным по сравнению с таким колоссом.

Кроме того, мы все собрались на завтрак у Гуно, прошедший необыкновенно скучно. Некоторое оживление придал ему лишь блестящий ум Бодлера, носимый вперед в каком-то стремительном отчаянии. Этот criblé de dettes[57] бедняга вынужден был придумывать экстравагантные средства, чтобы просуществовать день. Неоднократно он

[57] Обремененный долгами (*фр.*).

делал самые невероятные предложения, имевшие целью использовать мое славное недавнее фиаско. Я не был в состоянии принять какое-либо из них, но мне приятно было видеть этого гениального человека около Листа, под защитой его орлиных крыльев. Лист водил его всюду, где только можно было устроить ему карьеру. Насколько это ему помогло, сказать не берусь. Знаю только, что вскоре после этого он умер, как я полагаю, в условиях жизни, не блиставших избытком счастья.

393

Таузиг

После этого завтрака я еще раз встретился с Листом на обеде в австрийском посольстве. Этим случаем друг мой любезно воспользовался, чтобы, сыграв на рояле несколько отрывков из «Лоэнгрина», выказать перед княгиней Меттерних свою симпатию ко мне. Он был без меня приглашен на обед во дворец Тюильри. Потом он мне передал содержание своей беседы с императором Наполеоном о постановке «Тангейзера» в Париже, результат которой показал, что мое произведение не подходит для Парижской оперы. Говорил ли Лист об этом и с Ламартином, мне неизвестно. Знаю только, что этот старый друг Листа несколько раз удерживал его от намерения исполнить мое желание и устроить нашу встречу. Таузиг, вначале державшийся около меня, впал наконец в свою обычную зависимость от своего учителя и окончательно исчез из виду, укатив с Листом в Брюссель на свидание с госпожой Стрит.

Я теперь страстно желал как можно скорее уехать из Парижа. От квартиры своей на Рю-д’Омаль я освободился, подарив 100 франков портье, которому и удалось сдать ее. Теперь мне оставалось ждать известий о результатах предпринятых моими покровителями практических шагов.

Так как в данном случае я ничего не мог сделать, чтобы ускорить решение вопроса, то положение мое затягивалось самым неприятным образом. Впрочем, не было недостатка и в различных эпизодах более приятного свойства, отвлекавших от тяжелых дум. Так, например, я приобрел странное расположение фройляйн Эберти, немолодой племянницы Мейербера. В отвратительные дни представлений «Тангейзера» она проявила почти яростное участие к моей судьбе. Теперь она всячески старалась доставить мне возможно больше развлечений. Так, в один прекрасный весенний день она устроила в превосходном ресторане Булонского леса для нас и Китца, от которого мы все еще не могли избавиться, весьма приличный обед. И семейство Флаксланда, с которым я раньше несколько разошелся из-за «Тангейзера», тоже всячески старалось доставлять удовольствия, и это было бы мне особенно приятно, если бы не были сюда замешаны никакие посторонние побуждения.

Как бы то ни было, наш отъезд из Парижа был твердо решен. Минна предполагала поехать в Соден для повторения прошлогоднего курса лечения, а оттуда в Дрезден, к старым знакомым. Что касается меня, то ко времени репетиций «Тристана» я должен был явиться в Вену. Всю домашнюю обстановку мы решили уложить и оставить на складе. Занятые мыслями о неприятно затянувшемся отъезде, мы в то же время не забывали думать и о трудностях переезда с нашей собачонкой Фипсом по железной дороге. Однажды — это было 22 июня — жена моя вернулась домой с собакой на руках, смертельно заболевшей во время прогулки. Из рассказа Минны можно было заключить, что животное проглотило рассыпанный на улице яд. Состояние ее было ужасно: при полном отсутствии каких-либо внешних ранений она так тяжело дышала, что можно было предположить сильное повреждение легкого. В первый

момент под влиянием отчаянной боли она укусила Минну в губы. Я сейчас же послал за врачом. Он рассеял наши опасения, сказав, что не может быть и речи об укусе бешеной собаки. Только бедному животному ничем нельзя было помочь. Оно лежало, скорчившись, дыша все тяжелее и прерывистее. Около одиннадцати часов вечера собака, казалось, заснула под кроватью Минны. Но когда я вытащил ее оттуда, она была мертва. Мы не обменялись с Минной ни единым словом. Домашние животные всегда играли значительную роль в нашей бездетной семейной жизни. Внезапная смерть веселой, милой собачонки создала в ней последнюю трещину — давно уже она стала для нас невозможной. Пока же главной моей заботой было спасти труп Фипса от обычной участи: быть выброшенным на улицу и утром подобранным уборщиком. Неподалеку от нас, на Рю-де-ла-тур-де-дам [Rue de la tour des dames], у Штюрмера был небольшой сад за домом. Здесь я решил похоронить Фипса. Мне пришлось потратить немало красноречия, чтобы убедить домоправительницу (владелец был в отъезде) разрешить мне с помощью консьержа вырыть под кустами возможно глубокую яму и похоронить в ней труп бедной собачонки. Печальная процедура была совершена. Самым тщательным образом я засыпал могилу, стараясь скрыть все следы. Я предвидел, что Штюрмер заявит протест против собачьего трупа в его саду, что он прикажет вырыть его, и я хотел предупредить новое несчастье.

394

В доме прусского посольства

Наконец, граф Гацфельд самым дружеским образом сообщил мне, что друзья и почитатели моей музыки, желающие остаться неизвестными и принимающие большое

участие в моем положении, соединились, чтобы доставить мне средства выйти из тяготеющих надо мной затруднений. Я счел нужным выразить благодарность за такую помощь исключительно моей покровительнице, княгине Меттерних, и принялся за окончательную ликвидацию моего парижского хозяйства. Было важно, чтобы по окончании всех хлопот Минна немедленно отправилась в Германию для лечения. Для меня же единственной целью поездки могло быть посещение Листа в Веймаре, где в августе должно было состояться музыкальное празднество с прощальным исполнением листовских композиций.

В то же время Флаксланд, решивший издать еще и другие мои оперы на французском языке, желал, чтобы я оставался в Париже до тех пор, пока не изготовлю совместно с Трюине перевода «Летучего Голландца». Это требовало еще нескольких недель, которых я не мог провести в нашей совершенно опустевшей квартире. Граф Пурталес, узнав об этом, предложил мне устроиться на это время в прусском посольстве. Это была исключительная любезность, какой я никогда не встречал по отношению к себе, и я принял ее с искренней благодарностью. 12 июля я проводил Минну на железную дорогу и в тот же день переехал в здание посольства, где мне предоставили уютную комнатку, выходившую в сад. Из нее открывался вид на дворец Тюильри. В бассейне сада плавали два черных лебедя, к которым я чувствовал мечтательное влечение. Когда меня посетил молодой Гацфельд, чтобы осведомиться от имени моих покровителей, не нуждаюсь ли я в чем, меня в первый раз после долгого времени охватило сильное волнение: глубокое ощущение благосостояния при полном отсутствии собственности, при полной свободе от всего, что обыкновенно считается прочным жизненным устройством.

Я просил разрешения перевезти сюда рояль, которого я не отправил на склад вместе с прочей мебелью, и мне отвели для него прекрасную комнату в бельэтаже. По утрам я работал над переводом «Летучего Голландца» и сочинил два музыкальных Albumblátter[58]. Один из них, предназначенный для княгини Меттерних и написанный на давно уже звучавший в моей душе мотив, был позднее опубликован, другой же, предназначавшийся графине Пурталес, как-то затерялся. Отношения с семьей гостеприимного хозяина не только успокаивали меня, но доставляли мне глубокое удовлетворение. Мы обедали вместе, и часто эти простые семейные обеды превращались в настоящие «дипломатические».

Тут я познакомился с бывшим прусским министром, Бетман-Хольвегом, отцом графини Пурталес, в разговоре с которым мне пришлось изложить подробно свои взгляды на отношение искусства к государству. Но едва мне удалось уяснить их министру, как последовало замечание, что с главой данного государства соглашение на этой почве невозможно, потому что он относит искусство к области увеселений.

Кроме графа Гацфельда, на эти семейные собрания являлись также и два других атташе, князь Ройс и граф Дёнхоф. Первый, казалось, был первым политиком в посольстве. Мне много говорили о значительном и ловком содействии, какое он оказал мне при дворе. Второй произвел на меня очень хорошее впечатление выражением лица, милой, искренней приветливостью.

С князем и княгиней Меттерних тоже приходилось теперь встречаться. От меня не могло укрыться, что в наших взаимных отношениях появилась некоторая стесненность.

---

[58] *Букв. нем.* «Листки из альбома».

Своим деятельным участием в судьбе «Тангейзера» княгиня Паулина не только навлекла на себя грубые нападки со стороны прессы, но одно время должна была переносить далеко не рыцарское, злобное отношение так называемого высшего общества: муж ее смотрел на все это, по-видимому, спокойно, но, без сомнения, пережил весьма неприятные моменты. Мне трудно было определить, насколько истинная симпатия к моей музыке могла вознаградить княгиню за все перенесенное. Проводя вечера в интимном обществе любезных хозяев, я имел случай заговорить о Шопенгауэре. На одном большом вечере мне пришлось пережить опьяняющие моменты. Здесь, в кругу безусловно расположенных ко мне друзей, было исполнено много отрывков из моих произведений. Сен-Санс сел за рояль, а неаполитанская княгиня ди Кампореале исполнила под аккомпанемент талантливого музыканта заключительную сцену Изольды, поразив меня прекрасным немецким произношением и необыкновенной точностью интонации.

395

Густав Дорэ. Отъезд в Германию

В течение трех недель я отдыхал самым приятным образом. Для предстоящей поездки в Германию граф Пурталес приготовил мне аристократический прусский министерский паспорт, после того как попытки его достать саксонский разбились о трусость фон Зеебаха. Покидая Париж, как я думал, навсегда, я хотел провести последний интимный вечер с немногими моими французскими друзьями, проявившими верную привязанность ко мне в дни перенесенных тревог. Мы встретились с Гасперини, Шанфлери и Трюине в кафе на Рю Лаффит, где просидели в дружеской беседе до поздней ночи.

Когда я встал, чтобы отправиться домой на Фобур-Сен-Жермен, Шанфлери, живший далеко у Монмартра,

заявил, что желает проводить меня домой, так как неизвестно, придется ли нам еще встретиться в жизни. Мне доставило большое наслаждение необыкновенное зрелище, какое представляли теперь, в ярком свете луны, совершенно пустынные улицы Парижа. Только громадные вывески торговых фирм, покрывавшие, главным образом на Рю-Ришелье, стены домов до самого верху, казалось, переносили в ночную тишину отзвуки дневного шума. Шанфлери покуривал трубку и занимал меня разговором о перспективах французской политики. Его отец — старый бонапартист чистейшей воды, он же, читая газеты, пришел к следующему заключению: «Pourtant, avant de mourir je voudrais voir autre Chose»[59]. У дверей посольства мы простились самым трогательным образом.

Подобное же дружеское прощание произошло у меня с одним молодым французским другом, о котором я до сих пор не упоминал. Еще в начале моего выступления в Париже Оливье прислал ко мне Гюстава Доре, намеревавшегося сделать фантастический рисунок с меня в момент дирижирования оркестром. Намерение это по неизвестным причинам не было осуществлено, может быть, потому что я сам отнесся к нему не особенно благосклонно. Однако Доре продолжал оказывать мне большое расположение, и теперь он был в числе тех, которые, возмущаясь проявленной по отношению ко мне несправедливостью, всячески старались доказать мне свою дружбу. Среди множества иллюстраций, которые выполнил этот чрезвычайно продуктивный человек, он намеревался также сделать иллюстрации к «Нибелунгам». Для этого я пожелал ознакомить его с моей концепцией мифологического цикла. Это оказалось делом чрезвычайно трудным. Но так как он уверял, что имеет друга, очень хорошо

---

[59] «Все-таки перед смертью я хотел бы увидеть нечто другое» (*фр.*).

знакомого с немецким языком и ориентированного в немецкой литературе, я позволил себе подарить ему недавно вышедший клавираусцуг «Золота Рейна». Текст его лучше всего мог уяснить ему принципы, которыми я руководствовался при обработке имевшегося в моих руках материала. Этим я отблагодарил его за экземпляр только что вышедших иллюстраций к Данте.

Преисполненный наилучших впечатлений, которые в качестве единственного результата многотрудного парижского предприятия должны были иметь для меня особую цену, я в начале августа покинул благодетельный приют моих прусских друзей и направился через Кёльн прямо в Соден. Здесь я нашел Минну в обществе Матильды Шиффнер, ставшей для нее совершенно необходимой как человек, которого она могла тиранить сколько угодно. Здесь я провел два в высшей степени тяжелых дня, стараясь убедить бедную женщину, что ей надо переехать в Дрезден, куда я не мог еще отправиться, ибо должен был сначала позаботиться о новой базе для своих предприятий в Германии, но прежде всего в Вене. Глядя на свою приятельницу с видом своеобразного удовлетворения, она выслушала мое намерение и обещание гарантировать ей 1000 талеров в год. Это и осталось нормой наших отношений до конца ее жизни. Она проводила меня до Франкфурта. Простившись, я отправился оттуда в Веймар.

Незадолго перед тем во Франкфурте умер Шопенгауэр.

Часть четвертая

1861–1864

396

Музыкальное празднество в Веймаре. Овации

Мне снова пришлось проезжать через Тюрингию мимо Вартбургского замка, созерцание и посещение которого странным образом связывались для меня с отъездом из Германии или возвращением в нее. В Веймар я прибыл в два часа ночи, и на следующий день Лист повез меня в приготовленное для меня помещение в замке Альтенбург, заметив многозначительно, что мне отведены комнаты принцессы Марии. Впрочем, на этот раз никого из дам там не было: княгиня Каролина была в Риме, а ее дочь, вышедшая замуж за князя Константина Гогенлоэ, жила в Вене. Осталась только мисс Андерсон, воспитательница Марии, чтобы помочь Листу в приеме его гостей. В общем, замок собирались запечатать. Для этой цели, а также и для принятия инвентаря всего имущества приехал из Вены юный дядя Листа, Эдуард.

В замке царило большое оживление, так как на предстоящее празднество съехалось множество музыкантов, значительную часть которых Лист поместил у себя. Среди этих последних следует назвать Бюлова и Корнелиуса. Все они, и прежде всего сам Лист, к моему удивлению, носили простые дорожные шапочки, что указывало на непринужденную обстановку этого сельского музыкального празднества, посвященного Веймару.

В верхнем этаже с некоторой торжественностью был помещен Франи Брендель с супругой. Весь дом «кишел музыкантами». Среди них я встретил старого знакомого Дрезеке, как и молодого человека по имени Вайсхаймер, которого Лист как-то раз направил ко мне в Цюрих.

Приехал и Таузиг, но он большей частью держался в стороне от нашего общества, всецело поглощенный любовной интригой с одной молодой дамой. Для небольших прогулок Лист назначил мне в спутницы Эмилию Генаст, на что я не имел оснований жаловаться, так как она была очень остроумна. Я познакомился также со скрипачом и музыкантом Дамрошем.

Большое удовольствие доставила мне встреча со старой приятельницей Альбиной Фромман, хотя я застал ее в некотором разладе с Листом. Но когда Бландина с Оливье приехали из Парижа, чтобы поселиться в Альтенбурге, рядом со мной, радостные дни нашего пребывания здесь приобрели характер какой-то почти возбужденной веселости. Веселее всех был Бюлов. Он должен был дирижировать при исполнении симфонии Листа «Фауст». Его живость и энергия были необычайны. Партитуру он знал наизусть и провел ее с оркестром, состоявшим далеко не из первоклассных сил германского музыкального мира, с изумительной точностью, тонкостью и огнем. После этой симфонии наиболее удачной из исполненных вещей была музыка «Прометея». Но особенно потрясающе подействовал на меня цикл песен Die Entsagende Бюлова в исполнении Эмилии Генаст.

Остальная программа представляла мало утешительного, в том числе и кантата Вайсхаймера Das Grab im Busento, а немецкий марш Дрезике был даже причиной весьма крупных неприятностей. Этой странной композиции столь одаренного в общем человека, сочиненной как бы в насмешку, Лист из непонятных мотивов протежировал с почти вызывающей страстностью. Он настаивал, чтобы марш прошел под управлением Бюлова. Ганс согласился и провел его опять-таки наизусть. Но это дало повод для неслыханной демонстрации. Лист, которого ничем нельзя было заставить показаться публике, устроившей его

произведению восторженный прием, теперь, во время исполнения марша Дрезике, поставленного последним номером программы, появился в литерной ложе. Протянув вперед руки и громко крича «браво», он яростно аплодировал произведению своего протеже, которое было принято публикой крайне неблагосклонно. Разразилась настоящая буря, и Лист с побагровевшим от гнева лицом выдерживал ее один против всех. Бландина, сидевшая рядом со мной, пришла, как и я, в отчаяние от неслыханно вызывающего поведения своего отца. Прошло немало времени, пока все успокоилось. От самого Листа никакого объяснения нельзя было добиться. Слышались только гневно-презрительные замечания по адресу публики, для которой марш этот слишком хорош. С другой стороны, я узнал, что все было затеяно с целью отомстить веймарской публике, которой, однако, на этот раз в театре вовсе не было. Лист мстил за Корнелиуса, опера которого «Багдадский цирюльник», исполненная некоторое время тому назад в Веймаре под личным его управлением, была освистана местными посетителями театра.

Я заметил, кроме того, что у Листа за эти дни были и другие большие неприятности. Он сам сознался мне, что старался побудить Великого герцога Веймарского высказать мне какое-нибудь внимание, пригласить меня вместе с ним к своему столу. Но так как герцог колебался принять у себя политического эмигранта, не амнистированного королем Саксонским, Лист рассчитывал добиться для меня по крайней мере ордена Белого Сокола. Но и в этом ему было отказано.

Потерпев неудачу в своих хлопотах при дворе, он находил, что в таком случае население должно отметить чем-нибудь мое присутствие на празднестве. Было решено устроить в честь меня факельное шествие. Услыхав об этом, я употребил все усилия, чтобы расстроить намеченный

план, что мне и удалось. Но совсем без оваций дело не обошлось. Однажды утром советник юстиции Гилле из Йены с шестью студентами, расположившись под моим окном, спели одну из милых песенок Певческого общества. Я выразил им свою сердечную благодарность. Кроме того, большой торжественный обед, на который собрались все музыканты, а между ними и я, занявший место между Бландиной и Оливье, ознаменовался сердечной овацией по моему адресу. Меня приветствовали как композитора, приобретшего в Германии за время своего изгнания любовь и известность «Тангейзером» и «Лоэнгрином». Лист сказал несколько слов, исполненных большой энергии. Но мне и самому пришлось ответить специальному оратору довольно пространной речью. Небольшие обеды, которые Лист устраивал для избранных гостей, были очень уютны. На одном из них я упомянул об отсутствующей хозяйке Альтенбурга. Один раз стол был накрыт в саду, и я имел удовольствие видеть за обедом в весьма рассудительной беседе с Оливье Альвину Фромман. Она уже помирилась с Листом.

397

Нюрнберг

Так среди разнообразных удовольствий прошла неделя. Настал день разлуки для всех нас. Счастливый случай устроил так, что большую часть своего давно решенного путешествия в Вену мне пришлось совершить в обществе Бландины и Оливье. Они задумали посетить Козиму в Райхенхалле, где она проводила курс лечения. Прощаясь на вокзале с Листом, мы вспомнили Бюлова. Он уехал накануне, отличившись в минувшие дни празднества. Мы изливались в похвалах по его адресу. Я заметил лишь шутливо, что ему незачем было жениться на Козиме, на что Лист с легким поклоном ответил: «Это было роскошно».

В дороге нами, главным образом Бландиной и мной, овладела самая необузданная веселость, которая все росла и росла. При каждом новом взрыве смеха с нашей стороны Оливье спрашивал: «Qu'est ce qu'il dit?»[60] Ему пришлось терпеливо сносить, что, дурачась и шутя, мы все время говорили по-немецки. Впрочем, на его беспрестанные справки относительно Tonique[61] и Jambon cru[62], составлявших главные элементы его питания, мы неизменно отвечали по-французски.

В Нюрнберг, где нам надо было переночевать, мы приехали поздно ночью. С большим трудом добрались до гостиницы, которую открыли после долгих ожиданий. Хозяин, пожилой толстяк, снизошел на наши просьбы дать нам, несмотря на поздний час, комнаты. Но чтобы привести это в исполнение, он, заставив нас простоять бесконечно долго в сенях, после продолжительных колебаний удалился в задний коридор дома, где у одной из дверей заискивающе робким голосом произнес: «Маргарита». Он повторил это имя несколько раз, прибавив, что приехали гости. В ответ послышался женский голос, произносивший какое-то проклятие. После долгих, настойчивых просьб появилась, наконец, Маргарита в глубоком неглиже и после таинственных переговоров с хозяином указала нам соответствующие комнаты. Но курьезнее всего было то, что ни хозяин, ни его служанка не замечали необузданного смеха, который мы тщетно старались подавить. На следующий день мы осмотрели некоторые достопримечательности города, между прочим и Германский музей, своей тогдашней бедностью вызвавший презрение моего французского друга. Значительная коллекция

---

60 «Что он говорит?» (*фр.*).

61 Здесь «тонизирующий напиток» (*фр.*).

62 Сырокопченая ветчина (*фр.*).

орудий пыток, среди которых особенно выделялся весь утыканный гвоздями ящик, возбудила в Бландине отвращение, смешанное с состраданием.

398

Мюнхен. Зальцбург

Вечером мы приехали в Мюнхен. На следующий день, позаботившись о ветчине и «tonique», мы занялись осмотром города, доставившего Оливье большое удовлетворение. Он нашел, что близкий к античному стиль, в котором выполнены возведенные королем Людвигом I художественные сооружения, очень выгодно отличает х от зданий, которыми, к его величайшей досаде, Луи-Наполеону угодно было застраивать Париж. Он уверял, что непременно выскажется там по этому поводу.

В Мюнхене я случайно встретил старого знакомого фон Горнштейна. Я представил его своим друзьям, назвав «бароном». Его смешная фигура и неуклюжие манеры чрезвычайно забавляли их. Но веселость наша достигла крайних пределов, когда перед отъездом в Райхенхалль «le baron» повел нас в пивную, находившуюся в отдаленной части города: он хотел показать нам Мюнхен еще с этой стороны. Была темная ночь. Кроме маленького огарка, с которым «барон» сам должен был спуститься в погреб, чтобы достать для нас пива, другого освещения не было. Однако пиво было чрезвычайно вкусно, и Горнштейну пришлось несколько раз повторить свое путешествие в погреб. Когда же, чтобы не опоздать на поезд, мы с величайшей поспешностью пустились на вокзал, с трудом шагая по пашням и пробираясь через рвы, нельзя было не почувствовать, что непривычный напиток слегка вскружил нам головы. Бландина, едва успев войти в вагон, заснула глубоким сном, от которого проснулась лишь с наступлением

дня, когда мы приехали в Райхенхалль. Там нас встретила Козима и проводила в приготовленное помещение.

Состояние ее здоровья нас очень обрадовало. Оно оказалось гораздо лучше, чем мы, особенно я, представляли себе его прежде. Ей было предписано лечение сывороткой. На следующее утро мы проводили ее в лечебное заведение. Однако Козима придавала меньше значения предписанному ей лечебному средству, чем прогулкам и пребыванию на прекрасном, укрепляющем горном воздухе. В веселом настроении, которое сейчас же установилось между обеими сестрами, мы с Оливье не могли принимать участия, потому что для интимных своих разговоров, беспрестанно прерываемых далеко слышными взрывами смеха, они запирались обыкновенно у себя в комнате, и мне большей частью оставалось искать развлечения во французской беседе с моим политическим другом. Впрочем, мне удавалось иногда проникнуть к ним. Раз я возвестил им свое намерение усыновить их ввиду того, что их родной отец больше о них не заботится. Это заявление, встреченное без особенного доверия, вызвало только взрыв нового веселья. Однажды я пожаловался Бландине на то, что Козима ведет себя несколько диковато. Бландина долго не могла понять меня, но в конце концов сообразила, что я ставлю ее сестре в упрек проявляемую ней timidité d'un sauvage[63]. Через несколько дней мне пришлось подумать о продолжении путешествия, прерванного столь приятным образом. Прощаясь в сенях, я встретил устремленный на меня вопросительно-робкий взгляд Козимы.

В коляске я спустился по долине в Зальцбург. На австрийской границе со мной произошло небольшое приключение с администрацией таможни. Лист подарил мне в Веймаре ящичек драгоценнейших сигар, которые он сам

---

[63] Боязливость в дикой природе (*фр.*).

получил в подарок от барона Сина. Зная со времени пребывания в Венеции, с какими неслыханными трудностями сопряжен ввоз сигар в Австрию, я вздумал запрятать их среди белья и в карманах моих платьев. Но таможенный служитель, старый солдат, по-видимому, был хорошо знаком с такими приемами: он ловко извлек эти Corpora delicti[64] из всех складок моего маленького саквояжа. Я пробовал подкупить его, дав ему «на чай». Деньги он взял, но тем сильнее было мое возмущение, когда, несмотря на это, он все-таки донес на меня. Мне пришлось уплатить значительный штраф, но зато я получил разрешение выкупить сигары, от чего я с негодованием отказался. Но одновременно с квитанцией в уплате штрафа мне вручили прусский талер, который таможенный служитель спокойно сунул себе в карман. Собираясь сесть в вагон, я еще раз увидел этого солдата. Он сидел за кружкой пива, спокойно закусывая хлебом и сыром. Я предложил ему талер, но на этот раз он отказался взять его. Много раз я потом досадовал на себя за то, что не справился об имени этого человека. Он был бы необыкновенно верным слугой, и я охотно взял бы его к себе.

399

Вена

В Зальцбург я приехал в проливной дождь. Я переночевал здесь и на следующий день добрался наконец до места своего назначения — Вены. Тут я рассчитывал воспользоваться гостеприимством близко знакомого мне еще по Швейцарии Колачека. Получив давно амнистию в Австрии, он посетил меня в мой прошлый приезд в Вену и предложил свою квартиру на случай, если я вернусь на продолжительное время. Ему хотелось избавить меня

---

[64] Здесь в значении «следы преступления» (*лат.*).

от неприятной жизни в гостинице. Я охотно принял это предложение из чисто экономических мотивов, имевших для меня в данную минуту такое большое значение, и с вокзала со своим небольшим багажом прямо отправился по указанному мне адресу. Оказалось, к моему удивлению, что я попал в самое отдаленное предместье, почти лишенное сообщения с Веной, а в самом доме не было никого, так как Колачек с семьей переехал на дачу в Хюттельдорф. С трудом я разыскал старую служанку, которая была предупреждена о моем предстоящем приезде. Она указала мне маленькую комнатку, в которой, если захочу, я могу расположиться, но ни на постельное белье, ни вообще на какие бы то ни было услуги с ее стороны я не должен был рассчитывать.

В высшей степени разочарованный, я вернулся в город, решив ждать Колачека в кафе на Штефан-плац, где, по словам служанки, он обыкновенно бывал в это время. Я долго сидел там, неоднократно наводя о нем справки, как вдруг, взглянув на дверь, я увидел входящего Штандгартнера. Изумление его при этой неожиданной встрече было тем более велико, что, по его словам, он ни разу в жизни не был в этом кафе, и только совершенно исключительный случай привел его сюда в этот день и час. Узнав о моем положении, он страшно возмутился моим решением поселиться в отдаленном конце Вены, когда дела требуют моего присутствия в центре города, и предложил мне собственную квартиру, которую он с семьей покидает на шесть недель. Хорошенькая племянница, живущая с матерью и сестрой в том же доме, позаботится, чтобы я не был лишен необходимых услуг, завтрака и прочее. Я могу расположиться во всей квартире с полным удобством. С торжеством повел он меня сейчас же к себе. У него не было никого, домашние его уже переселились на лето в Зальцбург. Колачек был оповещен об этой перемене, мои

вещи перевезены сюда, и несколько дней я наслаждался в обществе Штандгартнера всеми удобствами его милого гостеприимства. Из дальнейших бесед с ним выяснились новые затруднения, вставшие на моем пути. Назначенные прошлой весной на это время (я приехал в Вену 14 августа) репетиции «Тристана и Изольды» пришлось отложить на неопределенный срок, так как у тенора Андера болело горло. При этом известии мое пребывание в Вене сразу представилось мне совершенно бесполезным. Но дело в том, что никто не мог бы мне посоветовать, куда направиться и на что целесообразно употребить свои силы.

400

Великий герцог баденский

Теперь только мне стала совершенно ясна вся безнадежность моего положения: мне казалось, что я покинут всем светом. Если еще несколько лет тому назад я при подобных обстоятельствах мог льстить себе надеждой найти дружеский приют у Листа в Веймаре и переждать у него неблагоприятный момент, то теперь это было невозможно: дом его, как я убедился в этом, вернувшись в Германию, собирались совершенно запечатать. Таким образом, надо было позаботиться найти приют. Я обратился по этому поводу к Великому герцогу Баденскому, у которого так недавно встретил дружеский и участливый прием. В красноречивом письме я обрисовал ему свое положение, уверил его, что для меня теперь главное — иметь какое-нибудь, хотя бы самое скромное, убежище, и просил дать мне возможность поискать его в Карлсруэ или в его окрестностях, назначив пенсию в 1200 талеров. Но каково было мое удивление, когда я получил на это уже не собственноручный, а лишь подписанный Великим герцогом ответ, в котором меня извещали, что исполнение моей

просьбы привело бы к вмешательству с моей стороны в тамошние дела, что, несомненно, вызвало бы недоразумения с директором театра, моим старым другом Эдуардом Девриентом, человеком чрезвычайно добросовестным в исполнении своих обязанностей. Ввиду того что в подобных случаях Великий герцог чувствовал бы себя вынужденным, как он выразился, «чинить суд», может быть, не в мою пользу, то по зрелом размышлении он должен отказаться от исполнения моей просьбы.

Княгиня Меттерних, когда я уезжал из Парижа, предвидела мои нужды и в самых сердечных выражениях указала мне в Вене на семейство графа Нако, отозвавшись особенно многозначительно о графине. Поселившись теперь в квартире Штандгартнера, я в один из немногих дней, которые он провел со мною в Вене, познакомился через него с молодым князем Рудольфом Лихтенштейном, известным среди своих друзей просто под именем Руди. Врач его, связанный с ним дружескими отношениями, обрисовал мне его в самых привлекательных чертах, охарактеризовав как страстного почитателя моей музыки. После того как Штандгартнер уехал к своей семье, я часто встречался с князем за обедом в ресторане отеля Erzherzog Karl, и мы уговорились посетить графа Нако в его поместье Шварцау, довольно далеко от Вены.

Путешествие это, частью по железной дороге, мы совершили в приятном обществе молодой жены князя. Прибыв в Шварцау, они представили меня графу и графине Нако. Граф отличался выдающейся красотой, графиня же была чем-то вроде «цивилизованной цыганки». Ее талант к живописи напоминал о себе на каждом шагу огромнейшими копиями картин Ван Дейка, покрывавшими стены. Но гораздо мучительнее было ее музицирование за роялем, под аккомпанемент которого она исполняла разные песни с самым настоящим цыганским

пошибом. Листу, по ее словам, этого пошиба уловить не удалось. Но, с другой стороны, музыка «Лоэнгрина», казалось, очень расположила всех в мою пользу. Это подтвердили мне и другие магнаты, гостившие в замке, среди которых я встретил знакомого мне с Венеции графа Эдмунда Зичи. Я здесь имел случай ближе ознакомиться с формами свободного венгерского гостеприимства, но не могу сказать, чтобы содержание разговоров, которые там велись, вызывало во мне особенное восхищение. Скоро пришлось спросить себя, что мне делать среди этих людей.

На ночь мне отвели приличную комнату, а на следующий день я с раннего утра принялся за осмотр прекрасно содержащегося замка, стараясь определить, в какой части его я мог бы занять помещение на продолжительное время. Когда за завтраком я с большой похвалой отозвался о вместимости замка, мне ответили, что его едва хватает для нужд графской семьи, так как молодая графиня со своим штатом требует особенно большого помещения. Мы завтракали на открытом воздухе. Было холодное сентябрьское утро. Мой друг Руди казался не в духе. Я зяб. Скоро, встав из-за стола, я простился с графской семьей. Редко мне приходилось бывать в обществе людей, с которыми при всей их воспитанности у меня было бы так мало общего. Это чувство возросло до крайних пределов во время переезда на железнодорожную станцию Мёдлинг. Я совершил его вместе с несколькими из гостивших в замке «кавалеров». Пришлось хранить немое молчание, так как разговор вертелся исключительно вокруг лошадей.

401

Госпожа Дустман

В Мёдлинге я вышел. Там жил тенор Андер. Я предварительно известил его, что приеду в этот день, что готов приняться за «Тристана». Было очень рано. Ясное, прохладное

утро обещало теплую погоду. Я решил совершить прогулку в очаровательный Брюль раньше, чем отправиться к Андеру. Там, в саду красиво расположенной гостиницы, я велел подать второй завтрак и в полном уединении провел восхитительный час. Лесные пташки уже смолкли. Но вокруг меня собралась целая стая воробьев, и я стал кормить их хлебными крошками. Через несколько минут они потеряли всякий страх и, опускаясь прямо на стол, грабили все, что находили на нем. Это напомнило мне утро в таверне трактирщика Хомо близ Монморанси. Я смеялся до слез. Покинув ресторан, я отправился на дачу Андера.

К сожалению, я убедился, что болезнь его не была пустым предлогом. Как бы то ни было, я скоро должен был сказать себе, что этому слабому артисту, хотя на него и смотрели в Вене как на полубога, роль Тристана ни в каком случае не может быть по плечу. Тем не менее, приехав сюда, я решил со своей стороны сделать все, что могу, и спел ему всю партию. Это всегда приводило меня в сильное возбуждение. Он уверял, что партия написана прямо для него. С Таузигом и Корнелиусом, которых я встретил в Вене и которых я просил явиться к Андеру в этот день, я вечером вернулся обратно в город.

С этими обоими друзьями, сердечно озабоченными моей судьбой и всегда старавшимися по возможности развлекать меня, я проводил немало времени. Таузиг, у которого появились аристократические замашки, держался несколько в стороне от нас. Впрочем, и он бывал вместе с нами у г-жи Дустман. Она часто приглашала нас в Хицинг, где проводила лето. Несколько раз у нее устраивались обеды, подчас даже музыкальные пробы роли Изольды, которую предполагалось отдать ей. В голосе ее было достаточно гибкости, необходимой для передачи известных душевных движений. Там же я прочел вслух «Тристана», ибо я все еще надеялся, что при терпении

и энтузиазме добьюсь постановки этого произведения. Пока, впрочем, требовалось только терпение, а энтузиазм оказывался бесполезным. Андер был болен, и ни один врач не мог определить с точностью, когда он в состоянии будет владеть голосом.

Я коротал время, как мог, и вдруг я решил перевести на немецкий язык текст новой сцены «Тангейзера», написанной для Парижа на французском языке. Для этого Корнелиусу пришлось переписать весьма истрепавшийся оригинал партитуры. Копию я взял себе, забыв об оставшемся у него оригинале. Что из этого вышло, расскажу потом.

402

Фридрих Хеббель

К нам присоединился знакомый с прежних времен музыкант Винтербергер, которого я нашел здесь в положении, возбуждавшем большую зависть: в доме любезнейшей графини Банфи, старой приятельницы Листа, ему был оказан великолепный прием. Он жил там в очень комфортабельных условиях, не зная никаких забот, так как добрейшая дама считала своим долгом окружить его всеми удобствами. От него же я получил сведения о Карле Риттере. Я узнал, что Риттер живет в Неаполе, в доме фортепьянного мастера, где за квартиру и стол дает уроки его детям. Прожив все, что у него было, Винтербергер, снабженный кое-какими рекомендациями Листа, отправился в Венгрию искать приключений. Его постигли неудачи, за которые он и был теперь вознагражден жизнью в доме доброй графини. У этой дамы я встретил прекрасную арфистку, фрейлейн Мёсснер, тоже находившуюся при ней. По распоряжению графини она отправилась со своей арфой в сад и здесь, сидя за своим инструментом,

произвела своим видом и игрой такое хорошее впечатление, что оно осталось у меня в памяти до сих пор. К сожалению, я навлек на себя неудовольствие молодой девушки тем, что отказался написать пьесу для ее инструмента. Видя мое решительное нежелание польстить ее тщеславию, она больше не обращала на меня внимания.

К числу интересных знакомств, которые я приобрел в это тяжелое время, принадлежит знакомство с поэтом Хеббелем. Так как не было ничего невероятного в том, что мне придется на продолжительное время избрать Вену местом своей деятельности, я считал полезным завязать более близкие связи с тамошними литературными знаменитостями. К встрече с Хеббелем я приготовился, предварительно прочитав его драматические произведения. Я прилагал все усилия найти их хорошими и близкое знакомство с ним особенно интересным. То обстоятельство, что пьесы его показались мне слабыми, особенно благодаря неестественности концепций, а язык при всей своей изысканности — большей частью плоским, не удержало меня от моего намерения. Я посетил его только раз и не особенно долго с ним беседовал: я не нашел в нем той эксцентричной силы, какой дышит большинство его героев. Это произвело на меня неприятное впечатление, которое объяснилось только много лет спустя, внезапно, когда я узнал, что Хеббель умер от размягчения костей. О венском театральном деле, беседуя со мной, он говорил с пренебрежением дилетанта, однако ведущего свои дела с коммерческой аккуратностью. Я не чувствовал особенного желания повторить свое посещение, особенно после того, как, сделав мне ответный визит и не застав меня дома, он оставил карточку, на которой было написано: «Hebbel, chevalier des plusieurs ordres»[65].

[65] «Хеббель, кавалер нескольких орденов» (*фр.*).

403

Моего старого друга, Генриха Лаубе, я нашел в давно занимаемой им должности директора придворного Бургтеатра. Уже в первый мой приезд прошлой весной он счел долгом свести меня с венскими литературными знаменитостями, под которыми, будучи весьма практическим человеком, он разумел главным образом журналистов и рецензентов. Считая знакомство с д-ром Гансликом особенно для меня интересным, он однажды пригласил и его на званый обед. Заметив, что я не сказал с ним ни слова, он чрезвычайно удивился и счел это обстоятельство достаточным основанием, чтобы предсказать мне большие трудности в Вене, если я рассчитываю выбрать ее ареной своей художественно-артистической деятельности. Теперь, при моем возвращении, он встретил меня просто как старого друга и предложил во всякое время, когда у меня явится настроение, делить с ним его обеды, которые, будучи страстным охотником, он всегда умел разнообразить свежей дичью. Однако я пользовался этим приглашением не особенно часто, потому что меня мало привлекал дух преобладавших за его столом разговоров, вертевшихся вокруг сухих театральных дел и отношений.

После обеда, за кофе и сигарой, актеры и литераторы собирались вокруг большого стола, за которым председательствовала обыкновенно жена Лаубе, в то время как сам он отдыхал в облаках сигарного дыма. Она стала вполне женой театрального директора и считала своим долгом держать длинные, изысканные речи о вещах, в которых ровно ничего не понимала. При этом меня радовало ее добродушие, которое я с таким удовольствием подмечал в ней прежде. Когда, совершенно не стесняясь, я указывал ей на ее ошибки, в то время как никто из окружавших ее льстецов не решался ей возражать, она с неподдельной

веселостью принимала мои замечания. С ней и с ее мужем я обыкновенно вел разговоры лишь в форме шуток и острот, так как их серьезные темы оставляли меня в высшей степени равнодушным, почему они и смотрели на меня как на гениального пустомелю. Когда я потом выступил в Вене со своими концертами, госпожа Лаубе с дружеским удивлением заметила, что, оказывается, я очень недурно дирижирую, чего она совершенно не ожидала от меня, основываясь на отзыве какой-то газеты.

В одном отношении практическая осведомленность Лаубе оказала довольно значительные услуги: он ознакомил меня с характером лиц, игравших наибольшую роль в управлении королевскими театрами. Выяснилось, что самое важное здесь лицо — придворный советник фон Раймонд. Старый граф Лянцкоронский, обычно столь ревниво оберегавший свой авторитет фельдмаршала, избегал принимать самостоятельные решения, не посоветовавшись с фон Раймондом, который слыл знатоком в финансовых делах. Сам Раймонд, при более близком знакомстве оказавшийся образцом невежественности, подпал под влияние стремившейся меня унизить венской прессы и стал проявлять в деле постановки «Тристана» нерешительность и скрытность. Официально мне приходилось сноситься по этому делу только с директором оперы Сальви, бывшим учителем пения камер-фрау эрцгерцогини Софии. Этот неспособный и несведущий человек при встречах со мной должен был притворяться, что вследствие полученного из высшей инстанции предписания у него нет другой заботы, как забота о постановке «Тристана». Постоянно проявляя ко мне благосклонность и напуская на себя вид необыкновенного усердия, он старался скрыть от меня становившееся все более подозрительным настроение оперного персонала.

404

О том, как здесь обстоят дела, я узнал однажды, будучи приглашен с группой наших певцов в имение некоего Думба, о котором мне говорили как о восторженном меценате. Андер взял с собой партию Тристана, словно желая показать, что ни на один день не может с ней расстаться. Это вызвало негодование г-жи Дустман, которая стала его обвинять в лицемерной игре, имевшей целью ввести меня в заблуждение. Андер, говорила она, не хуже других знает, что ему не придется петь этой партии, что ищут только случая как-нибудь взвалить на нее, госпожу Дустман, невозможность поставить «Тристана». При этом в дело вмешался Сальви, как бы желая все уладить и устроить наилучшим для меня образом. Он предложил обратиться к тенору Вальтеру. Когда же я отверг его как в высшей степени несимпатичного певца, он указал на заграничных артистов, которых он готов пригласить по моему выбору. Действительно, состоялось несколько пробных гастрольных спектаклей, на которых больше всего надежд подавал, казалось, Морини. На самом же деле я был так угнетен и так исполнен одного стремления — во чтобы то ни стало поставить свою оперу, — что, присутствуя с Корнелиусом на представлении доницеттиевской «Лючии», сам старался вызвать своего друга на благоприятное суждение об этом певце. В ответ на мой полный ожидания взгляд Корнелиус вдруг воскликнул: «Отвратительно, отвратительно!» Это вырвавшееся у него восклицание заставило нас обоих расхохотаться, и в самом веселом настроении мы скоро покинули театр.

В конце концов из всех имевших отношение к театру лиц единственным человеком, на искренность которого я мог положиться, остался капельмейстер Генрих Эссер. Он с большой серьезностью отдался чрезвычайно трудному

для него изучению «Тристана», не теряя надежды дождаться его постановки, если только я соглашусь выбрать тенора Вальтера. Несмотря, однако, на мой упорный отказ обратиться к этому певцу, мы с Эссером по-прежнему оставались добрыми друзьями. Он, как и я, любил прогулки, и часто целыми часами мы бродили с ним по окрестностям Вены, проводя время в разговорах, в которые я вкладывал много энтузиазма, а он — искренность и серьезность, свойственные его натуре.

Пока вопрос о постановке «Тристана» тянулся, как хроническая болезнь, в конце сентября вернулся в Вену Штандгартнер с семьей. В самой тесной связи с этим обстоятельством стояла для меня необходимость приискать новую квартиру. Я выбрал гостиницу Kaiserin Elisabeth[66]. С семьей моего друга я поддерживал постоянные отношения, причем познакомился близко с его женой, тремя сыновьями и дочерью от первого ее брака, а также молоденькой дочерью от второго. Думая о неделях, проведенных в квартире моих друзей, я с грустью вспоминал об удовольствии, какое доставила мне племянница Штандгартнера Серафина как своей неутомимой заботливостью, так и приятной, остроумной беседой. За ее хорошенькую фигурку и всегда тщательно причесанные локонами á l'enfant[67] волосы я звал ее Куколкой.

Теперь, в мрачном номере гостиницы, мне приходилось труднее. Да и расходы мои увеличились весьма значительно. Из театральных гонораров я получил, кажется, за это время только 25 или 30 луидоров из Брауншвейга за постановку «Тангейзера». Зато я получил от Минны из Дрездена несколько листиков мишуры, которые она оторвала для меня от венка, поднесенного ей некоторыми

[66] «Императрица Елизавета» (*нем.*).

[67] Как у ребенка (*фр.*).

из ее приятельниц 24 ноября по случаю нашей серебряной свадьбы. Что эта посылка сопровождалась горькими упреками, меня нисколько не удивило. В ответ на них я постарался внушить ей надежду на золотую свадьбу. Проживая бесцельно в дорогой венской гостинице, я старался делать все возможное, чтобы добиться постановки «Тристана». Я обратился к Тихачеку в Дрезден, но, конечно, не получил от него согласия. Ту же попытку и столь же безуспешно я повторил и со Шнорром. Тогда я не мог не сказать себе, что дела мои обстоят довольно плачевно.

Написав как-то Везендонкам в Цюрих, я не скрыл от них правды, и в ответ на это, желая меня развлечь, они предложили мне приехать в Венецию, куда собирались тогда для собственного удовольствия. Бог весть, на что я рассчитывал, когда в один серый ноябрьский день отправился по железной дороге в Триест, а оттуда на пароходе, где мне снова пришлось пережить неприятные часы, в Венецию. В гостинице Danieli я взял комнатку. Друзья мои, отношения которых показались мне очень хорошими, наслаждались, бегая по картинным галереям. Они стремились приобщить к этому и меня, рассчитывая таким образом рассеять мои мрачные мысли. Моего положения в Вене они, по-видимому, не хотели понять. Вообще, я все чаще стал замечать, что печальный финал моего парижского предприятия, с которым были связаны столь блестящие перспективы, отнял у моих друзей всякую надежду на мои дальнейшие успехи. По-видимому, они молча примирились с этим. Везендонку, всегда вооруженному огромным биноклем на случай посещения какого-нибудь музея, только раз удалось потащить меня с собой в Академию, которую в мой прежний приезд я видел только снаружи. При всей моей безучастности я должен сознаться, что «Вознесение» Тициана произвело на меня настолько

сильное впечатление, что я вдруг почувствовал приток прежних внутренних сил.

Я решил написать «Мейстерзингеров».

405

Пригласив на скромный обед своих старых знакомых Тессарина и Везендонков в Albergo San-Marco, посетив затем *Луиджию*, мою бывшую прислужницу в палаццо Джустиниани, и удостоверившись в неизменности ее дружеских чувств, я по прошествии четырех унылых дней, к удивлению друзей, внезапно покинул Венецию. Сделав большой крюк, я пустился по железной дороге в долгий, скучный обратный путь в Вену. Предо мной носились музыкальные концепции «Мейстерзингеров», текст которых я помнил лишь в ранних набросках. Тут же с величайшей ясностью зародилась в моем мозгу большая часть увертюры в C-dur.

Я приехал в Вену в очень хорошем настроении. Корнелиуса я тотчас же известил о своем возвращении, послав ему маленькую гондолу, которую я купил для него в Венеции. К ней я приложил итальянскую канцону, написанную на самый бессмысленный итальянский текст. Узнав о моем намерении сейчас же приняться за выполнение «Мейстерзингеров», он обезумел от радости. До самого моего отъезда из Вены он находился в состоянии полного опьянения. Я сейчас же заставил своего друга искать материалы, при помощи которых я мог бы разработать сюжет.

Прежде всего мне пришла на ум полемическая статья Гримма о пении мейстерзингеров, которую следовало изучить. Но надо было достать нюрнбергскую хронику старого Вагензайля. Корнелиус пошел со мной в королевскую библиотеку. Разрешения взять, по счастью, найденную там книгу на дом другу моему удалось добиться лишь

после весьма неприятного, по его словам, визита к барону Мюнх-Беллингхаузену (Гальму). Теперь я засел в своей гостинице, делая извлечения из этой хроники. К изумлению многих несведущих людей, я сумел использовать их для текста.

406

Однако прежде всего надо было обеспечить себя средствами на то время, пока я буду работать над новым произведением. Мне пришло на ум обратиться к музыкальному издателю Шотту в Майнце. Стремясь только к одному — раздобыть денег, которых хватило бы на возможно более продолжительный срок, — я за 20 000 франков предложил ему свое произведение не только в полную литературную собственность, но и с правом драматических постановок. Присланный по телеграфу решительный отказ Шотта разрушил все мои надежды.

Видя себя вынужденным искать других путей, я решил обратиться в Берлин. Бюлов, всегда готовый оказать мне дружескую услугу, известил меня о возможности устроить большой концерт под моим собственным управлением, концерт, который мог бы дать значительную сумму. Так как я страстно хотел найти для себя приют у друзей, то Берлин показался мне теперь настоящим спасением. Я уже собирался уезжать, когда утром получил от Шотта письмо, отправленное после телеграммы и открывшее мне утешительные перспективы: он хотел выпустить сейчас же клавираусцуг «Валькирии», за который предлагал 1500 гульденов авансом до окончательных расчетов. Радость Корнелиуса была неописуема: ему казалось, что судьба «Мейстерзингеров» обеспечена. К тому же Бюлов, возмущенный и расстроенный, сообщил мне о затруднениях, которые встретила его попытка подготовить в Берлине мой концерт. Фон Хюльзен объявил, что не примет

в Берлине моего визита, а план устроить концерт в большом ресторане Кролля он по зрелом обсуждении отверг как неподходящий.

Пока я усердно разрабатывал детальную сценическую концепцию «Мейстерзингеров», приезд князя и княгини Меттерних внес новый, по-видимому благоприятный, аспект в мои дела.

Интерес моих парижских покровителей ко мне, к обстоятельствам моей жизни, был, несомненно, серьезен. Чтобы оказать им в свою очередь какую-нибудь любезность, я убедил дирекцию театра разрешить мне пригласить превосходный оперный оркестр на утренние часы, чтобы сыграть несколько отрывков из «Тристана». Оркестр, как и госпожа Дустман, любезно выразили готовность удовлетворить мое желание. В присутствии княгини Меттерних, которую я пригласил с несколькими из ее друзей, я исполнил три больших фрагмента, вступление к первому и начало второго акта почти до середины. Несмотря на одну только предварительную репетицию с оркестром и исполнявшей сольную партию госпожой Дустман, эти отрывки были проведены настолько хорошо, что я мог не сомневаться в произведенном ими отличном впечатлении. Явился также и Андер, но он не знал и не пытался спеть ни одной ноты. Мои сиятельные друзья, так же, как и первая танцовщица, фрейлейн Куки, к удивлению моему, тайно присутствовавшая на этой репетиции, осыпали меня полными энтузиазма выражениями своего удовольствия.

Узнав о моем желании уединиться куда-нибудь, чтобы отдаться работе над новым произведением, князь и княгиня Меттерних объявили, что могут предложить мне тихий приют в Париже: их просторный отель окончательно устроен, и в нем удобная квартира, выходящая в тихий сад, к моим услугам. Я могу устроиться так, как устроился

однажды в здании прусского посольства. Мой «Эрар» находится еще в Париже, и, если я приеду к концу года, все уже будет готово. Останется только приступить к работе. С нескрываемой радостью и глубокой благодарностью я принял это любезное приглашение. Надо было привести свои дела в порядок, чтобы приличным образом покинуть Вену и переселиться в Париж. Этому, казалось, могло бы способствовать сделанное дирекцией благодаря хлопотам Штандгартнера предложение выплатить мне часть гонорара за «Тристана». Но так как мне предстояло получить всего 500 флоринов при условиях, весьма смахивавших на полный отказ с моей стороны от постановки оперы, я решительно отверг это предложение, что не помешало, однако же, газетам, постоянно находившимся в связи с театральной дирекцией, опубликовать, будто я взял отступное. К счастью, я заявил протест и восстановил истину.

Переговоры с Шоттом несколько затянулись, так как я не хотел идти на его предложение относительно «Валькирии». Я по-прежнему предоставлял ему «Мейстерзингеров» и наконец добился от него согласия уплатить мне в счет нового произведения 1500 гульденов, которые он раньше предлагал в счет «Валькирии». Сейчас же по получении векселя я стал укладываться. Как вдруг мне подали телеграмму от вернувшейся в Париж княгини Меттерних — она просила отложить отъезд до первого января. Желая как можно скорее покинуть Вену, я решил ничего не менять в своих планах и пока отправиться в Майнц для дальнейших переговоров и окончательного соглашения с Шоттом. В момент расставания на вокзале меня особенно развеселил Корнелиус. С таинственным энтузиазмом он шепнул мне одну строфу Сакса, которую он знал от меня: «Der Vogel, der heut' sang, dem war der Schnabel hold

gewachsen; ward auch den Meistern dabei bang, gar wohl gefiel er doch Hans Sachsen!»[68]

407

В Майнце я ближе познакомился с семейством Шотт, с которым встретился еще в Париже. Ежедневным гостем у них в доме был упомянутый выше молодой музыкант Вайсхаймер, незадолго до того получивший место капельмейстера при тамошнем театре. Другой молодой человек, юрист Штэдль, произнес однажды за обедом пространную речь в честь меня, закончив ее действительно остроумным тостом. Тем не менее мои переговоры с Францем Шоттом, чрезвычайно странным, как оказалось, человеком, подвигались туго. Я решительно настаивал на первом предложении, цель которого заключалась в том, чтобы, обеспечив себя необходимыми средствами на два года, я мог беспрепятственно работать над новым произведением. Свое отрицательное отношение к моему предложению Шотт оправдывал тем, что его внутреннему чувству претит с таким человеком, как я, совершать своего рода торг, покупая у меня за определенную сумму авторское право и право на театральные представления. Он музыкальный издатель и ничем другим не хочет быть. Я настаивал на выдаче аванса в требуемом размере, причем в обеспечение возврата той части его, которая останется от покрытия гонорара за литературную собственность, я предоставляю ему в виде залога доход с будущих представлений. С большим трудом удалось склонить его выдать мне деньги вперед в счет моих будущих музыкальных композиций вообще. При такой

---

68 «Да, крылья птички той растут
чудесно и широко!
То, что других страшит,
запало в сердце мне глубоко...»

комбинации и я требовал, чтобы мне была гарантирована последовательная выдача в общей сложности 20 000 франков. Так как теперь, расплатившись в гостинице, я снова нуждался в деньгах, то Шотт выдал мне векселя на Париж. Оттуда я получил письменное сообщение от графини Меттерних, смысл которого был для меня не особенно ясен: она извещала о внезапной смерти своей матери, графини Шандор, и о перемене, вызванной этим обстоятельством в ее семейном положении.

408

Я снова стал раздумывать, не разумнее ли приискать в Карлсруэ или окрестностях его скромную квартиру, которая могла бы оказаться достаточно спокойным приютом и на более продолжительное время. Ввиду трудности содержать Минну, которой, согласно обещанию, я должен был посылать в Дрезден ежегодно 1000 талеров, мне представлялось благоразумнее, а главным образом экономнее, взять жену к себе. Письмо, которое я как раз получил от нее и которое содержало в себе не что иное, как попытку поссорить меня с дружески расположенными ко мне лицами, заставило меня сейчас же отказаться от всякой мысли о новом соединении с ней и, оставив в силе прежний парижский план, держаться от нее как можно дальше.

Около середины декабря я выехал в Париж, где снял очень скромную комнатку с приятным видом из окон в неказистом отеле Voltaire[69] на набережной того же имени. Здесь, собираясь с мыслями для новой работы, я хотел прожить вдали от всех до начала нового года, когда, согласно желанию княгини Меттерних, я смогу ей представиться. Чтобы не поставить в неловкое положение

---

[69] «Вольтер» (*фр.*).

Пурталеса и Гацфельда, близких к семье Меттерних, я решил не показываться и им, как если бы меня вовсе и не было в Париже. Я разыскал не имеющих ко всему этому миру никакого отношения старых знакомых Трюине, Гасперини, Флаксланда и живописца Чермака. С Трюине и его отцом я встречался каждый день за обедом в Taverne Anglaise, куда с наступлением темноты, когда никто уже не мог узнать меня, я пробирался по знакомым улицам. Однажды, раскрыв газету, я увидел извещение о внезапной смерти графа Пурталеса. Велико было мое горе и особенно мое сожаление о том, что из какого-то особенного внимания к дому княгини Меттерних я лишил себя удовольствия посетить этого друга, которого так ценил.

Теперь я немедленно отправился к графу Гацфельду. От него я услышал подтверждение печального известия и описание обстоятельств этой внезапной смерти: она была вызвана болезнью сердца, которой врачи до последней минуты не подозревали. В то же время я узнал от него о действительном положении дел в отеле князя Меттерниха. Смерть графини Шандор, о которой известила меня княгиня, имела следующие последствия: графа, этого прославившегося венгерского сумасброда, графиня до сих пор в интересах семьи оберегала как больного. Теперь, вне всякого присмотра, от него можно было ожидать самых невероятных выходок. Поэтому Меттернихи сочли нужным взять его в Париж и окружить уходом под своим собственным наблюдением. Для этой цели княгиня выбрала предназначенную для меня квартиру как единственную, отвечающую требованиям данного случая. Я увидел, что о переезде в здание австрийского посольства больше не может быть и речи, и мне осталось только предаться размышлениям о странных причудах судьбы, снова забросившей меня в роковой Париж.

409

Пока, до окончания текста «Мейстерзингеров», мне ничего другого не оставалось, как сохранить за собой свою не очень дорогую комнату в отеле Voltaire. Надо было обсудить вопрос, решить, где искать желанного тихого приюта для спокойной работы над новым произведением. Это оказалось делом нелегким. Мое имя, всю мою особу, на которую каждый невольно смотрел сквозь призму моей парижской неудачи, окутал туман, в котором даже старые друзья не узнавали меня. Такое подозрительное впечатление я готов был вынести из своего последнего посещения Оливье: во всяком случае, мое намерение появиться снова на парижской арене показалось бы всем более чем рискованным. Мне пришлось объяснить, что привел меня сюда странный случай, что о продолжительном пребывании здесь я вовсе и не думаю.

Но помимо этого, несомненно, обманчивого впечатления, я скоро заметил перемены, происшедшие в самой семье: бабушка лежала в постели со сломанной ногой, которая в ее преклонном возрасте не могла быть залечена. Оливье устроил ее в своей и без того тесной квартире, и в небольшой комнатке у ее постели мы собирались за обедом. Бландина показалась мне чрезвычайно изменившейся с лета, на лице ее лежало серьезное и грустное выражение. Мне показалось, что она ожидала прибавления семейства. Эмиль сухо и как бы вскользь дал мне единственный оказавшийся для меня пригодным совет: когда Рихард Линдау обратился ко мне через своего поверенного с напоминанием по поводу присужденного судом вознаграждения за его воображаемое сотрудничество в переводе «Тангейзера», я показал письмо Оливье и спросил, что мне делать. «Ne repondez pas»[70], — вот все, что он мне

[70] «Не принимать» (*фр.*).

ответил, и совет его был не только полезен, но и легко исполним. Больше с этой стороны меня не тревожили. С тяжелым чувством я решил в дальнейшем не беспокоить Оливье. Прощаясь со мной, Бландина бросила на меня невыразимо грустный взгляд.

Но зато у меня завязались частые, почти ежедневные отношения с Чермаком, в обществе которого я по вечерам, кроме Taverne Anglaise, где я всегда встречался с семьей Трюине, посещал еще и другие, столь же дешевые рестораны. Обыкновенно мы оттуда отправлялись в один из маленьких театров, которые прежде, поглощенный одной заботой, я оставлял совершенно без внимания. Лучшим из них оказался театр «Гимназия», в котором почти всегда давались хорошие пьесы в исполнении превосходной труппы. Из этих вещей в памяти моей особенно живо сохранилась одна тонкая, трогательная одноактная вещь: Je dine chez ma mére[71]. В пьесах, которые ставились в театр «Пале-Рояль», с его не особенно изысканным направлением, как и в театре «Дежазе», я увидел прообразы тех фарсов, которыми в дурной переработке и с самыми неудачными потугами на местный колорит из года в год угощают немецкую публику. Иногда я обедал в семье Флаксландов, отнюдь не выражавших никакого отчаяния относительно будущих моих успехов в Париже. Пока же мой парижский издатель продолжал печатать «Летучего Голландца», а также и «Риенци», за которого он уплатил мне небольшой гонорар в 1500 франков, так как эта вещь не входила в наше первое соглашение.

Причина моего почти веселого настроения, несмотря на отвратительное положение дел, не покидавшего меня в Париже и сохранившегося в памяти, заключалась в том, что текст «Мейстерзингеров» с каждым днем значительно

---

71 «Я ужинаю с моей матерью» (*фр.*).

подвигался вперед. Да и как было не приходить в веселое настроение, когда, обдумывая своеобразные стихи и прибаутки, я мог отрываться от бумаги и из окна третьего этажа гостиницы видеть необычайное движение на набережных и многочисленных мостах, а далее широкую панораму с видом на Тюильри, Лувр и дальше до ратуши.

Я зашел уже далеко в работе над первым актом, когда наступил роковой день нового, 1862 года, и я отправился с визитом к княгине Меттерних. Я встретил с ее стороны вполне естественное смущение. В самых искренних словах она выразила мне сожаление, что ввиду известных мне обстоятельств она должна взять обратно свое приглашение. Я с веселым видом постарался ее успокоить. Графа Гацфельда я просил известить меня, когда вдовствующая графиня Пурталес будет в состоянии принять меня.

Так я продолжал в течение всего января работать над текстом «Мейстерзингеров» и довел его до конца ровно в тридцать дней. Мелодия к стихам Сакса в честь Реформации, которыми народ в последнем действии приветствует своего любимого мастера, зародилась у меня в тот момент, когда по пути к Taverne Anglaise я проходил по галереям Пале-Рояля. Трюине уже ждал меня. Я спросил у него лист бумаги, карандаш и записал мелодию, тихонько ее напевая. Трюине, которого я после обеда обыкновенно провожал с отцом через бульвары до квартиры на Фобур-Сен-Оноре, беспрерывно и восторженно восклицал: «Mais quelle gaité d'esprit, cher maître!»[72]

410

Но чем ближе работа подвигалась к концу, тем серьезнее меня обступали заботы о дальнейшем устройстве. Меня все еще не покидала мечта, что мне посчастливится

[72] «Какая живость ума, дорогой мэтр!» (*фр.*)

найти приют, подобный тому, какого я лишился с отъездом Листа из Альтенбурга. Я вспомнил, что в прошлом году получил от г-жи Стрит горячее приглашение приехать к ней и ее отцу в Брюссель на продолжительное время. На это приглашение я сослался теперь, спрашивая ее в письме, может ли она дать мне скромный приют у себя на некоторое время: в ответ она написала мне, что в отчаянии от необходимости отказать мне в этой просьбе. С подобным же запросом я обратился и к Козиме, вызвав в ней неподдельный испуг, что стало мне понятно позднее, когда, посетив Берлин, я ознакомился с условиями жизни Бюлова. Чрезвычайно удивительно было, напротив, то, что мой зять Авенариус, который тоже весьма недурно устроился в Берлине, отнесся очень серьезно к моему запросу. Он предложил мне остановиться у него и самому убедиться, насколько это для меня удобно. Моя сестра Цецилия просила меня не приезжать с Минной, которую она предлагала устроить поблизости на случай, если она этого пожелает. На беду, эта несчастная женщина снова написала мне яростное письмо по поводу оскорбительного образа действий моей сестры: перспектива попасть в прежние передряги так испугала меня, что, не задумываясь, я отказался от предложения моего зятя.

Наконец, мне пришло в голову отыскать спокойное прибежище где-нибудь в окрестностях Майнца, под финансовым крылом Шотта. Последний говорил мне об очень красивом имении молодого барона фон Горнштейна, расположенном в этой местности. Я полагал, что оказал барону честь, написав ему в Мюнхен и просив разрешения поселиться на некоторое время в его поместье в Рейнгау. Но, к величайшему моему изумлению, ответ его выражал лишь испуг от одной мысли о возможности чего-либо подобного. Тогда я решил прямо поехать в Майнц, куда

я уже отправил нашу мебель и домашнее хозяйство, почти год стоявшие в Париже на складе.

Но раньше, чем, приняв это решение, я успел покинуть Париж, на мою долю выпало утешение в форме возвышенного увещания, напоминавшего о стойкости и самоотречении. Я написал о своем положении и о том, что составляло предмет моих забот, госпоже Везендонк, в выражениях, в каких обыкновенно сообщают о подобных вещах участливым друзьям. Она ответила посылкой небольшого чугунного пресс-папье, купленного для меня в подарок еще в Венеции. Оно изображало льва святого Марка, с лапой на книге, и должно было возбудить во мне стремление походить на этого льва.

От графини Пурталес я получил разрешение посетить ее. В своем тяжелом испытании, невзирая на траур, она все же не хотела оставить не выраженным свое искреннее ко мне расположение. Когда я ей рассказал, чем я занят в настоящее время, она стала расспрашивать меня о моей новой опере. На выраженное мной сожаление, что, конечно, теперь она не расположена ознакомиться с веселым содержанием «Мейстерзингеров», она очень любезно ответила, что все-таки хотела бы услышать их, и пригласила меня прийти вечером. Она была первая, которой я прочел готовую поэму, и на нас обоих произвело немалое впечатление то обстоятельство, что чтение не раз заставляло нас смеяться самым веселым смехом.

411

В вечер моего отъезда, 1 февраля, я пригласил в последний раз своих друзей, Гасперини, Чермака и обоих Трюине, к себе в гостиницу на обед. Все были в прекрасном расположении духа, чему особенно способствовало мое собственное веселое настроение, хотя никто не мог понять, что общего между ним и только что оконченной

поэмой, на дальнейшую разработку которой я возлагал в связи с возвращением в Германию такие большие надежды.

Все еще озабоченный выбором необходимого спокойного прибежища, я направил свой путь в Карлсруэ. У великогерцогской четы я встретил очень любезный прием. Меня спросили о моих дальнейших планах. Но и намека не было сделано на то, что приют, которого я так искал, мог бы найтись в Карлсруэ. Я обратил внимание на участливую озабоченность Великого герцога тем, из каких источников я покрываю расходы на свою жизнь, которая обходится мне теперь недешево, особенно ввиду моих разъездов. С веселым видом я постарался успокоить его на этот счет, намекнув на договор с Шоттом, согласно которому последний впредь до окончания «Мейстерзингеров» должен выдавать мне нужные суммы в виде авансов под мою работу. Это, казалось, успокоило его. Позднее я узнал от Альвины Фромман, что герцог будто бы обратил внимание на проявленную мной большую гордость по отношению к нему, когда он предложил мне как другу свой кошелек. Но этого, по правде сказать, я тогда не заметил. Была речь только о том, чтобы через некоторое время я снова приехал в Карлсруэ поставить одну из своих опер, хотя бы «Лоэнгрина».

Я продолжал свое путешествие в Майнц, куда прибыл 4 февраля в сильнейшее наводнение. Рейн вследствие раннего ледохода выступил из берегов, как никогда. Почти с опасностью для жизни мне удалось добраться до дома Шотта. Но уже раньше я обещал на следующий день, 5 февраля вечером, прочесть у Шотта «Мейстерзингеров». Я взял слово с Корнелиуса, что он приедет из Вены к этому дню, для чего я еще из Парижа послал ему 100 франков на путевые издержки. Ответа я от него не получил. Как Рейн в Майнце, разлились и все реки Германии, вызвав перерыв в железнодорожном сообщении, и я перестал рассчитывать

на своевременный приезд Корнелиуса. Но все же я оттянул начало чтения до указанной в письме минуты. Действительно, ровно в семь часов Корнелиус вошел в дом. Ему пришлось перенести самые неприятные приключения, он даже потерял в дороге пальто. Полузамерзший, он несколько часов назад приехал к своей сестре. Чтение поэмы привело всех в самое веселое настроение. Меня только огорчило, что я никак не мог отговорить Корнелиуса от его намерения уехать на следующий день обратно: точное выполнение своего плана — явиться в Майнц на одно лишь чтение «Мейстерзингеров» — он считал необходимым для того, чтобы придать всему этому эпизоду своеобразный характер. В самом деле, на следующий день, невзирая на льдины и потоки воды, он уехал обратно в Вену.

412

Согласно уговору мы с Шоттом отправились на противоположный берег Рейна искать для меня помещение. Мы рассчитывали на Бибрих, но, не найдя там ничего подходящего, обошли и Висбаден. В конце концов я решил остановиться в «Европейской гостинице» в Бибрихе, чтобы отсюда продолжать поиски. Стремясь устроиться как можно уединеннее и гарантировать себя от соприкосновения с какой бы то ни было музыкой, я решил снять очень маленькую, но чрезвычайно подходящую для меня квартиру на большой, расположенной у самого Рейна даче, только что выстроенной архитектором [Вильгельмом] Фрикхёфером. Мне надо было дождаться прибытия обстановки из Парижа. Наконец все было на месте. С бесконечными затруднениями и расходами вещи мои были выгружены на таможне, и я поторопился отобрать все, что мне нужно было для новой квартиры.

Вообще в Бибрихе должно было остаться только самое необходимое. Большую же часть обстановки я решил

отослать жене в Дрезден. Я известил об этом Минну, и ней сейчас же овладело опасение, что при неправильной распаковке все будет испорчено, а многое, может быть, пропадет. Едва я успел, обретя свой рояль, в течение восьми дней сносно устроиться на новой квартире, как внезапно явилась Минна. Вначале я почувствовал сердечную радость при виде ее цветущей внешности и неутомимой энергии в практических делах: мне даже показалось, что лучше всего будет, если она будет жить со мной. Но, к сожалению, мое хорошее настроение держалось недолго, так как скоро возобновились старые сцены: когда мы на таможне стали распределять между собой вещи, она не могла обуздать своего гнева по поводу того, что, не дожидаясь ее приезда, я вынул из ящиков все пригодное для меня. Считая все-таки приличным наделить меня кое-какими хозяйственными предметами, она оставила мне четыре прибора ножей, вилок и ложек, несколько чашек и тарелок, позаботилась об основательной упаковке остального немаленького хозяйства и, когда все было сделано согласно ее желаниям, уехала через неделю обратно в Дрезден. Она льстила себя надеждой, что при помощи, предоставленной ей обстановки в состоянии хорошо устроиться и в скором времени пригласить меня к себе. С этой целью она завязала некоторые отношения с высшими правительственными чиновниками и добилась заявления министра, чтобы я подал формальное прошение об амнистии королю, и тогда никаких препятствий для моего возвращения в Дрезден не будет.

Я колебался принять какое-нибудь решение в этом деле. Присутствие Минны в значительной степени ухудшало мое настроение, без того сильно нарушенное тревогами последнего времени. Суровая погода, плохие печи, полная беспомощность в ведении хозяйства, неожиданно большие расходы, которых требовало устройство Минны, — все это

совершенно убило во мне радость творчества, какую я испытывал, работая в отеле «Вольтер».

Желая развлечь меня, семейство Шотт пригласило меня в Дармштадт на представление «Риенци» с участием Нимана. В Дармштадте, еще на вокзале, мне представился тогдашний министр фон Дальвиг и пригласил в свою ложу. Опасаясь демонстрации по моему адресу, которая легко могла бы показаться оскорбительной для Великого герцога, он остроумно решил, что из своей ложи может сделать вид, будто представляет меня публике от его имени. В этом смысле все сошло прилично и мило: само представление, показавшее мне Нимана в одной из его лучших ролей, было особенно интересно. При этом я увидел, какие были допущены огромные купюры, взамен чего балет, очевидно, чтоб польстить вкусу Великого герцога, был необычайно растянут повторением тривиальных мест. Из Дармштадта мне пришлось вернуться домой, опять-таки по рейнским льдинам. При очень дурном настроении духа я все-таки постарался внести кое-какой комфорт в свое домашнее хозяйство, наняв служанку, которая должна была готовить для меня завтрак. Обедал я в «Европейской гостинице».

415

Но так как расположение к работе не пропадало и мною стало овладевать некоторое беспокойство, я обратился к Великому герцогу Баденскому с предложением, согласно обещанию, прочесть ему «Мейстерзингеров». Великий герцог ответил очень любезной телеграммой, лично им подписанной. 7 марта я приехал в Карлсруэ и прочел великогерцогской чете свою рукопись. Чтение происходило в очень остроумно выбранном для этой цели салоне, украшенном большой исторической картиной старого друга Пехта. На ней был изображен юный Гёте,

читающий предкам Великого герцога первые наброски своего «Фауста». Моя поэма была принята хорошо, и в заключение Великая герцогиня отозвалась с особенным сочувствием о музыкальной характеристике превосходного Погнера. Это следовало понять как признание того факта, что простой горожанин ревностнее иного князя стремится к развитию искусства.

Снова зашла речь о представлении «Лоэнгрина» под моим управлением, и мне было рекомендовано сговориться по этому поводу с Эдуардом Девриентом. Этот последний имел несчастье показаться мне с самой ужасной стороны, предложив посмотреть постановку «Тангейзера». К моему большому удивлению, я убедился, что драматург, о котором я всегда отзывался с такой похвалой, погряз в самой пошлой театральной рутине. На высказанное мной изумление по поводу возмутительных ошибок в постановке он ответил еще большим изумлением, к тому же выраженным с высокомерной досадой, по поводу того, что я подымаю столько шума из-за пустяков, зная, что в театральном деле иначе быть не может. Тем не менее было решено, что предстоящим летом «Лоэнгрин» будет дан в образцовом исполнении, при участии Шнорров.

Более приятное впечатление дало мне на обратном пути посещение франкфуртского театра, где ставилась очень недурная комедия. Особенное внимание обратила на себя Фридерика Майер, сестра венской певицы Дустман, выделившаяся своей необычайно тонкой манерой игры, какой мне не приходилось наблюдать до сих пор у немецких актеров. Я стал взвешивать возможные шансы в смысле приобретения сносных знакомств среди рассеянных вокруг Бибриха людей, чтобы не ограничиваться Шноррами да хозяином гостиницы.

Так, я посетил семейство Рафф еще в Висбадене. Госпожа Рафф, сестра хорошо знакомой мне из Веймара

Эмилии Генаст, была артисткой висбаденского Придворного театра. Мне рассказали о ней, что своей необычайной экономией и порядком она привела запущенные дела своего мужа в очень хорошее состояние. Сам Рафф, которого я представлял себе, по бесчисленным рассказам об его бесчинствах под крылом Листа, эксцентрически-гениальной личностью, очень разочаровал меня. При ближайшем знакомстве я увидел чрезвычайно сухого, трезвого, много мнящего о своем уме и вместе с тем лишенного всякой широты взгляда человека. С высоты своего материального благополучия, созданного женой, он разрешал себе читать мне нравоучения и делать дружеские увещания по поводу моего собственного положения. Он советовал мне в драматических композициях сообразовываться с действительностью, указывая на партитуру «Тристана» как на измышление идеалистической фантазии, настроенной на экстравагантный лад. Охотно навещая, несмотря на всю ее заурядность, его жену во время моих прогулок пешком, которые доводили меня иногда до Висбадена, я к самому Раффу стал относиться с величайшим равнодушием. Впрочем, узнав меня ближе, он начал постепенно сокращать свои мудрые советы и в конце концов даже стал бояться моих шуток, против которых чувствовал себя безоружным.

416

В Бибрихе меня теперь чаще стал посещать Венделин Вайсхаймер, сын богатого крестьянина в Остхофене, которого, к крайнему своему удивлению, отец не мог заставить бросить музыку. Я был знаком с ним давно. Венделин стремился познакомить меня со своим отцом, надеясь этим склонить старика в пользу выбранной им музыкальной карьеры. Это заставило меня предпринимать прогулки и в сторону Остхофена. С дирижерским талантом молодого

Вайсхаймера я познакомился по шедшему под его управлением «Орфею» Оффенбаха. Это была высшая ступень, которой ему удалось достигнуть при его подчиненном положении в составе майнцского театра. Присутствуя при этой мерзости, я пришел в ужас оттого, что в своем участии к молодому человеку я унизился до такой степени, и долгое время не мог ему этого простить. Желая доставить себе более возвышенное развлечение, я написал Фридерике Майер во Франкфурт, прося известить меня, когда будет повторено представление комедии Кальдерона «Общественная тайна». Объявление об этом спектакле я увидел слишком поздно. Очень обрадованная моим интересом к этому делу, она ответила, что комедия, должно быть, не скоро будет повторена, но что в ближайшем времени будет дано произведение Кальдерона «Дон Гутьерре». Я поехал на это представление, лично познакомился с интересной артисткой и, в общем, имел все основания быть довольным постановкой трагедии Кальдерона, хотя талантливой исполнительнице главной женской роли вполне удавались только более простые места пьесы, для могучего же пафоса у нее не хватало сил. Узнав от нее, что она часто бывает в Майнце у каких-то своих знакомых, я выразил желание, чтобы при случае она заглянула и ко мне в Бибрих. Она дала обещание.

Большой вечер, который Шотты устроили для своих майнцских знакомых, доставил мне приятное знакомство с Матильдой Майер. За ее «благоразумие», как выразилась госпожа Шотт, ей назначено быть моей соседкой за ужином. Вся ее манера держать себя, очень рассудительная, искренняя, притом носящая определенный «майнцский» отпечаток, выгодно отличала ее, отнюдь не бросаясь в глаза, от всего прочего общества. Я обещал посетить ее в кругу ее семьи, что доставило мне случай увидеть городскую идиллию, какой мне до сих пор не приходилось встречать.

Матильда, дочь нотариуса, оставившего после смерти небольшое состояние, жила со своей матерью, двумя тетками и сестрой в довольно тесной, но чрезвычайно опрятной квартирке, в то время как брат ее, постоянно причинявший ей большие заботы, изучал в Париже коммерческое дело. При своем практическом уме она вела все дела, по-видимому, к большому удовлетворению остальных членов семьи. Меня они принимали чрезвычайно сердечно, когда по своим надобностям я отправлялся в Майнц, что повторялось каждую неделю, и всякий раз заставляли обедать. Так как у Матильды был большой круг знакомых — между ними единственный друг Шопенгауэра, живший в Майнце, какой-то старый господин, — я часто встречался с ней и в других местах, как, например, у Раффов в Висбадене. Оттуда она со своей немолодой приятельницей, Луизой Вагнер, изредка провожала меня по пути домой, как иногда и я в свою очередь провожал ее в Майнц.

Среди подобных приятных впечатлений, в которые вносили свою долю удовольствия и частые прогулки в прекрасном парке замка Бибрих, я снова с наступлением хорошего времени года почувствовал сильное влечение к работе. Сидя на балконе своей квартиры и глядя на простирающийся предо мной в волшебном освещении заходящего солнца «золотой» Майнц с катящим в отдалении свои величественные воды Рейном, я вдруг ясно и отчетливо почувствовал вступление к «Мейстерзингерам». Однажды в минуту тоски оно встало предо мной как далекое воздушное видение. Я сейчас же записал его в том самом виде, в каком оно и сейчас находится в партитуре, где с величайшей определенностью проведены все главные мотивы драмы. Затем я продолжал работу, компонируя последовательно, по тексту, сцену за сценой. В таком настроении у меня явилась охота посетить герцога Нассауского. Он был

моим соседом, и я так часто встречал его на своих прогулках в парке, что счел приличным представиться ему. К сожалению, беседа с ним ничего мне не дала: это был чрезвычайно ограниченный, но очень воспитанный человек, который просил извинения, что безостановочно курит сигару: без нее он не может обойтись. В разговоре выяснилось, что он отдает предпочтение итальянской опере, относительно которой я не хотел поселить в душе его никаких сомнений. Однако, стараясь расположить его в свою пользу, я преследовал тайную цель. В задней части его парка, у самой реки, стоял крохотный замок, чрезвычайно ветхий на вид, игравший роль живописной развалины и служивший мастерской какому-то скульптору. Во мне зародилось смелое желание, чтобы это маленькое, полуразрушенное здание было предоставлено мне в пожизненное владение, ибо в сердце мое закралась тревога, можно ли будет долго оставаться в моей теперешней квартире. Дело в том, что большая часть того этажа, в котором я снимал две маленькие комнаты, была сдана на предстоящее лето «семейству», которое, как я узнал, собиралось водворить здесь свой рояль. Однако мне не советовали добиваться милости герцога Нассауского, так как сырой маленький замок был совершенно неподходящим для меня помещением.

417

Впрочем, я продолжал совершать отдаленные прогулки с целью отыскать где-нибудь желанный уединенный домик с садом. На этих прогулках меня часто сопровождал, кроме Вайсхаймера, тот молодой юрист, д-р Штэдль, который у Шоттов, как я уже упоминал, произнес в честь меня столь удачный тост. Это был странный человек. Меня часто удивляло сильное возбуждение, которое я не раз замечал в нем и которое впоследствии объяснилось тем, что в Висбадене он с большой страстностью предавался игре

в рулетку. Он познакомил меня с одним своим другом, искусным музыкантом, д-ром Шюлером из Висбадена. С ними я часто обсуждал возможность приобрести или хотя бы только отыскать для себя маленький замок.

Раз, имея в виду все ту же цель, мы посетили Бинген и, взобравшись на довольно высокую скалу, поднялись на стоявшую на ней знаменитую старую башню, в которой когда-то был заключен император Генрих IV. Четвертый этаж ее представлял обширный зал, занимавший весь квадрат строения, с единственным окном, выходившим на Рейн. Мне он показался идеалом всех моих мечтаний о квартире, так как при помощи занавесов я мог бы разделить его на несколько комнат и, таким образом, устроить себе великолепное убежище на всю жизнь. Штэдль и Шюлер считали возможным помочь мне осуществить это желание, так как оба они были знакомы с собственником руин. Через некоторое время они действительно сообщили мне, что владелец готов сдать зал за небольшую плату. Но тут же было указано на полную невозможность осуществить мой план: мне сказали, что ни один человек не согласился бы прислуживать мне, так как в этой местности, между прочим, нет колодца, и только в цистерне, находящейся очень глубоко внизу, в подземелье башни, имеется скверная вода. Достаточно было при таких обстоятельствах появиться одному затруднению, чтобы у меня пропал весь интерес к этим широким планам.

Такая же неудача постигла меня и с барским поместьем в Рейнгау, принадлежавшим графу Шёнборну, на которое я обратил внимание потому, что оно было совершенно покинуто владельцем. Здесь я нашел много пустых комнат, из которых я с удобством мог бы выбрать то, что мне нужно. Но на запрос у управляющего, написавшего по этому поводу самому графу, я получил отрицательный ответ.

418

Странный случай как раз в это время несколько отвлек меня от начатой работы: Фридерика Майер сдержала слово и однажды, возвращаясь из Майнца, посетила меня в сопровождении своей приятельницы. Посидев недолго, она вдруг почувствовала какой-то страх и, ко всеобщему ужасу, объявила, что боится, не скарлатина ли у нее. В самом деле, вид ее скоро стал нам внушать опасения, так что ее пришлось поместить в «Европейскую гостиницу» и послать за врачом. Уверенность, с какой она сразу определила болезнь, обыкновенно передающуюся взрослым лишь от детей, показалась мне странной.

Но удивление мое еще возросло, когда на следующий день с раннего утра к больной явился извещенный о ее болезни фон Гуаита, директор Франкфуртского театра, проявив озабоченность, которая едва ли могла иметь источником простой интерес администратора труппы. Приняв Фридерику под свое заботливое покровительство, он этим значительно облегчил мне тягостное участие в этом странном случае. Я имел с ним короткий разговор о возможности поставить во Франкфурте одну из моих опер, а на второй день присутствовал при перевезении на вокзал больной, которую Гуаита окружил самой нежной отеческой заботливостью. Вскоре после этого у меня стал бывать некий Бюрде, муж известной певицы Ней, игравший на сцене Франкфуртского театра. Когда в разговоре с ним я коснулся, между прочим, таланта Фридерики Майер, он сообщил мне, что она считается возлюбленной Гуаиты, человека, чрезвычайно уважаемого по своему положению, и получила от него в подарок дом, в котором живет. Так как Гуаита произвел на меня отнюдь не хорошее, а скорее неприятное впечатление, то это известие слегка встревожило меня.

Много любезности и дружеских чувств проявили по отношению ко мне и другие знакомые, жившие в недалеком соседстве с моим бибрихским приютом, когда, желая отпраздновать день своего рождения, я пригласил их к себе на вечер 22 мая. Матильда Майер, приехавшая с сестрой и приятельницей, взяв на себя роль хозяйки, искусно справлялась со своей задачей, несмотря на более чем умеренное количество посуды в моем хозяйстве.

Но скоро настроение мое снова стало портиться из-за переписки с Минной, принимавшей все более неприятный характер. Назначив ей постоянным местом жительства Дрезден, но в то же время желая избавить ее от унижений, связанных с открытым разрывом, я увидел себя вынужденным сделать шаг, который благодаря ее хлопотам был мне предложен саксонским министром юстиции: я подал прошение о полной амнистии и получил наконец разрешение поселиться в Дрездене. Основываясь на этом, Минна наняла большую квартиру, обставив ее довольно хорошо при помощи бывшей в ее распоряжении мебели. Она надеялась, что если не всегда, то хоть временами я буду разделять ее с ней. Ее требования денег для этой цели я должен был удовлетворять без возражений. Между прочим, я послал ей 900 талеров. Но чем сдержаннее было мое поведение, тем более она чувствовала себя оскорбленной им. Ее волновал спокойно-холодный тон моих писем, все чаще и чаще стали появляться упреки за мнимые старые обиды, как и всякого рода резкости.

Тогда я обратился к Пузинелли, из любви ко мне оказывавшему всякого рода услуги этой неуживчивой женщине, чтобы с его помощью дать ей то «сильнодействующее лекарство», о котором незадолго перед тем сестра Клара говорила мне как о лучшем средстве: я просил своего друга убедить Минну в необходимости развода. Пузинелли нелегко было выполнить это поручение. Он сообщил мне,

что она очень испугалась и затем решительно отказалась дать согласие на развод. С этой минуты поведение Минны сильно изменилось, как и предсказывала сестра: она перестала меня мучить и, казалось, примирилась со своей участью. Пузинелли предписал ей против болезни сердца лечение в Райхенхалле. Я достал необходимые для этого средства, и в том же месте, где год назад я встретил проходившую курс лечения Козиму, Минна провела лето, по-видимому, в довольно сносном настроении.

419

Я снова обратился к своей работе, за которую хватался, как только устранялись вызывавшие перерыв причины. Это было лучшее средство развлечься и забыться. Странное происшествие нарушило однажды ночью мой покой. Вечером я набросал веселую тему обращения Погнера Das schöne Fest, Johannistag [73] и т. д. Лежа в постели, я мысленно перебирал ее в полусне, как вдруг раздавшийся над моей головой резкий женский смех заставил меня очнуться. Становясь все безумнее, смех перешел в отвратительный стон и вой. В ужасе вскочив с постели, я убедился, что звуки доносятся из комнаты моей служанки Лизхен, с которой сделался истерический припадок. Служанка хозяина пришла к ней на помощь, позвали врача. В то время, как я с ужасом смотрел на больную, ожидая каждую минуту, что она испустит дух, меня поразило странное спокойствие и хладнокровие прочих присутствующих. Я узнал, что такие припадки повторяются у молодой девушки часто, особенно после танцев. Долго еще я стоял, не будучи в состоянии оторваться от тяжелого зрелища и наблюдая все ужасные явления этого припадка.

---

[73] «Отрадный день — Иванов день — мы все справляем завтра» (*нем.*).

Они чередовались, как в приливе и отливе: веселье ребенка сменялось распущенным смехом, который, в свою очередь, переходил в настоящий вопль осужденного на ужасные муки человека. Когда припадок несколько утих, я лег в постель, и снова предо мной встал «Иванов день» Погнера, сгладив понемногу прежние ужасные впечатления.

420

Не лишенным сходства с бедной служанкой показался мне Штэдль, когда однажды я наблюдал его за игорным столом в Висбадене. Мы спокойно сидели с ним и Вайсхаймером в саду пансионата за кофе, как вдруг Штэдль исчез. Чтобы отыскать его, Вайсхаймер повел меня к игорному столу. Редко мне приходилось видеть экспрессию ужаснее той, какая происходила на лице этого несчастного человека, охваченного страстью азарта. В него, как и в бедную Лизхен, вселился демон и, по народному выражению, завел в нем свою игру. Он беспрестанно проигрывал, и никакие уговоры, никакие увещания не могли его заставить прийти в себя и взять себя в руки. Вспомнив свою собственную страсть к игре, которой я был подвержен в юношеские годы, я рассказал об этом молодому Вайсхаймеру и предложил ему показать, что все зависит от случая, что на счастье полагаться не следует. Когда за столом началась новая игра, я с полной уверенностью сказал, что № 11 выиграет: мое предсказание оправдалось. Удивлению, вызванному счастливой случайностью, я дал новую пищу, предсказав для следующей игры № 27. Помню, меня охватила какая-то экстатическая оторванность от всего окружающего. Этот номер тоже выиграл, и мой молодой друг пришел в такое изумление, что стал меня настойчиво убеждать поставить на предсказываемые мной номера. Опять-таки вспоминаю состояние какого-то своеобразного, очень спокойного настроения, в каком

я ему ответил, что проявленная мною способность сейчас же потеряет силу, как только я поставлю на карту свой собственный интерес. Вскоре после этого я увел его от игорного стола, и при свете прекрасной вечерней зари мы отправились в обратный путь домой, в Бибрих.

Весьма неприятные разговоры были у меня с бедной Фридерикой Майер: она известила меня о наступившем выздоровлении и просила посетить ее, так как чувствует потребность извиниться за причиненные хлопоты. Я охотно исполнил ее просьбу, тем более что короткий переезд во Франкфурт часто служил мне приятным развлечением. Выздоравливающая казалась очень слабой. Она явно старалась рассеять неприятные представления, какие могли зародиться у меня на ее счет. Она заговорила о Гуаите, проявлявшем по отношению к ней чрезвычайную нежность и заботливость отца. Она покинула семью в очень молодом возрасте, разойдясь со своей сестрой Луизой, и, одинокая, прибыла во Франкфурт, где покровительство пожилого Гуаиты оказалось как нельзя более кстати. К сожалению, это отношение причиняет ей много неприятностей. Особенным преследованиям она подвергается со стороны семьи своего покровителя, опасающейся, как бы он не вздумал на ней жениться, и потому самым отвратительным образом старающейся набросить тень на ее репутацию. Ввиду такого сообщения я счел нужным обратить ее внимание на то, что некоторые проявления этого враждебного к ней отношения не прошли для меня незамеченными, и даже передал ей слух о подаренном ей будто бы доме. Это оказало чрезвычайно сильное действие на еще не вполне оправившуюся от болезни Фридерику. Она была возмущена, хотя догадывалась, что подобные сплетни распространяются на ее счет. Давно уже она думает о том, не покинуть ли ей франкфуртскую сцену, и теперь более чем когда-либо склонна к этому. Я не видел

никакого основания не верить ее словам. Так как, кроме того, Гуаита как своей личностью, так и своим непостижимым поведением представлялся мне все более загадочным, то в своих отношениях к талантливой девушке, испытывающей незаслуженные страдания, я принял ее сторону. Я посоветовал ей взять продолжительный отпуск и поехать на Рейн для поправки здоровья.

421

Теперь, согласно полученному от Великого герцога распоряжению, ко мне обратился Эдуард Девриент по поводу предполагавшейся в Карлсруэ постановки «Лоэнгрина» под моим управлением. Для этого человека, которого я когда-то так слепо ценил, был весьма характерен высказанный им в письме ко мне в высокомерно-неприязненном тоне упрек по поводу того, что я желаю ставить «Лоэнгрина» без всяких купюр. Он сообщал мне, что давно уже выписал партитуру с теми сокращениями, которые были сделаны в оркестровых партиях Рицем для лейпцигской постановки, и что, следовательно, места, которые я пожелаю восстановить, придется ценой огромных усилий предварительно внести в оркестровые партии. Такое требование он считал бы простой придиркой с моей стороны. Я вспомнил, что единственное представление «Лоэнгрина», которое не имело успеха и почти не было повторено, было проведено в Лейпциге именно капельмейстером Рицем. Несмотря на это, Девриент, считавший Рица последователем Мендельсона, лучшим музыкантом «настоящего времени», нашел целесообразным выбрать для постановки в Карлсруэ его обработку. Меня охватил ужас за ту слепоту, с какой я почти насильно поддерживал в себе уважение к этому человеку. В кратких словах я выразил ему свое возмущение и решение не принимать участия в постановке «Лоэнгрина», в чем и извинюсь при случае перед Великим герцогом.

Вскоре я узнал, что «Лоэнгрин» все-таки будет в Карлсруэ поставлен с участием Шнорров в качестве гастролеров. Меня охватило сильное желание познакомиться наконец со Шнорром и его исполнением. Поэтому, не извещая никого, я поехал в Карлсруэ, достал через Калливоду билет и присутствовал на представлении. Вынесенные впечатления, особенно касающиеся Шнорра, я детальнее описал в опубликованных «Воспоминаниях». Я сразу полюбил его и после представления просил прийти ко мне в гостиницу на часок для беседы. Я столько слышал о его болезненном состоянии, что был искренно обрадован, увидя его в столь поздний час, после такого нелегкого напряжения, со свежим видом и сияющими глазами. Опасаясь всякого отступления от нормального образа жизни, ему вредного, я нерешительно предложил ему освятить наше знакомство шампанским, что он чрезвычайно охотно принял. Мы провели добрую часть ночи в самом оживленном настроении, в разговорах, которые окончательно уяснили мне характер Девриента. Я решил остаться в Карлсруэ еще на день, чтобы по приглашению Шнорра отобедать с ним и его женой.

Так как можно было предположить, что мое продолжительное пребывание в Карлсруэ не останется неизвестным Великому герцогу, я решил представиться ему на следующий день. Мне был назначен час для аудиенции после обеда. За обедом я услышал от г-жи Шнорр, тоже проявившей накануне большой сценический талант и прекрасную школу, самые удивительные вещи о поведении Девриента в деле предполагавшейся постановки «Тристана». Когда вскоре после этого я отправился во дворец, я не мог отделаться от чувства некоторого стеснения. Я уловил его и в обращении Великого герцога. Не скрывая, я сообщил своему высокому собеседнику причины, заставившие меня взять обратно свое обещание

дирижировать «Лоэнгрином», так же, как и мои определенные предположения относительно созданных Девриентом препятствий к постановке «Тристана», намеченной раньше. Так как из чрезвычайно хитрого поведения Девриента Великий герцог давно вынес заключение об искренней и глубокой дружбе его ко мне, слова мои подействовали на него в высшей степени неприятно. Но, по-видимому, он предполагал, что речь идет о некоторых художественно-артистических разногласиях между мной и директором его театра, и на прощание выразил желание увидеть эти недоразумения сглаженными. На это я вскользь заметил, что не надеюсь прийти к какому-нибудь соглашению с Девриентом. Тут Великий герцог возмутился не на шутку: он не ожидал, что я проявлю такую неблагодарность по отношению к человеку, дружеские чувства которого ко мне не подлежат сомнению. В ответ на этот упрек я извинился, что высказал свое суждение в недостаточно серьезном тоне, неуместном при данной обстановке. Отнесясь с большим вниманием к делу, Великий герцог дал мне право с не меньшей определенностью выразить свое истинное мнение о мнимом друге, и потому я считаю нужным самым серьезным образом заявить, что не желаю больше иметь ничего общего с Девриентом. На это Великий герцог с прежней добротой заметил, что не хочет считать мое решение непоколебимым, тем более что в его власти повлиять на другую сторону в направлении, которое могло бы меня настроить более примиряющим образом. Я простился, выразив сожаление, что считаю всякую попытку моего покровителя в этом смысле бесцельной. Позднее мне стало известно, что Девриент, который узнал, конечно, от Великого герцога об этом разговоре, увидел в нем попытку с моей стороны свергнуть его и самому занять его место. Великий герцог остался при своем желании, чтобы я дал концерт, составленный из отрывков моих

новейших произведений. Об этом Девриенту через некоторое время пришлось официально написать мне. Письмо его было выдержано в тоне человека, вышедшего победителем из всех направленных против него интриг, причем в заключение он уверял меня, что его высокий покровитель желает видеть концерт осуществленным, ибо в благородстве души своей он «умеет отделять дело от личности». На это письмо я ответил простым отказом.

422

Со Шноррами, с которыми я много говорил об этом инциденте, я условился, что в ближайшем будущем они посетят меня в Бибрихе. Сам я вернулся туда в ожидании обещанного посещения Бюлова. В начале июля он действительно приехал, чтобы приискать квартиру для Козимы, которая последовала за ним спустя два дня. Мы страшно обрадовались свиданию, и наше совместное пребывание в красивом Рейнгау всячески старались использовать для самых разнообразных прогулок по окрестностям. Обедали мы вместе и большей частью в самом веселом настроении в ресторане гостиницы в «Европейской гостинице», где скоро появились и Шнорры. Вечера мы посвящали музыке. На чтении «Мейстерзингеров» присутствовала и остановившаяся проездом Альвина Фромман. Знакомство с моей последней поэмой произвело на всех неожиданное впечатление, главным образом тем веселым духом народного стиля, которым она проникнута и которого до сих пор я ни разу не применял. Меня посетила также и певица Дустман, гастролировавшая в Висбадене. К сожалению, мне пришлось заметить в ней сильное нерасположение к ее сестре Фридерике, и это подтвердило мое мнение, что последней давно пора покончить с франкфуртскими отношениями.

При содействии Бюлова я имел возможность представить своим друзьям готовые части «Мейстерзингеров». Кроме того, мы прошли многое из «Тристана», причем Шнорры должны были показать, насколько они успели освоиться с этой задачей. В общем я нашел, что обоим многого не хватало для полной выразительности исполнения.

Лето привлекло в эту местность много гостей, среди которых попадались и знакомые. Так, ко мне явился концертмейстер Давид из Лейпцига со своим юным учеником, Августом Вильгельми, сыном висбаденского адвоката, и мы усердно музицировали при участии капельмейстера Алоиса Шмитта из Шверина, сыгравшего отрывок из своей старой композиции. Однажды у нас состоялся настоящий музыкальный вечер, когда к прочим моим друзьям присоединились Шотты, и супруги Шнорры исполнили так называемую любовную сцену из третьего акта «Лоэнгрина», доставив нам большое удовольствие.

Чрезвычайно взволновало нас всех внезапное появление Рёкеля в ресторане отеля, где мы все обедали. Он только что вышел из Вальдхаймской тюрьмы, проведя в ней тринадцать лет. К удивлению, я не заметил в своем старом знакомом никаких существенных перемен, кроме поседевших волос. По его собственным словам, он точно вышел из оболочки, в которую был завернут на много лет. Когда возник вопрос о том, за какую деятельность ему теперь приняться, я высказал мнение, что всего лучше было бы поискать полезной должности у такого благосклонного и свободомыслящего правителя, как Великий герцог Баденский. Он же полагал, что не может служить ни в каком министерстве, так как ему не хватает для этого юридических познаний. Наиболее подходящей для себя деятельностью он считал заведование каким-нибудь исправительным заведением — он самым точным образом ознакомился

с устройством таких учреждений и уразумел на опыте, каких преобразований они требуют. Рёкель отправился на бывший в то время во Франкфурте праздник германских стрелков. Там ему не удалось избежать весьма лестной овации, устроенной публично, в знак признания перенесенных им страданий и проявленной при этом стойкости. Во Франкфурте и окрестностях его он пробыл некоторое время.

423

В то же лето мне и моим ближайшим друзьям очень надоедал некий художник Цезарь Виллих, которому Отто Везендонк поручил написать мой портрет. К сожалению, художнику никак не удавалось правильно схватить характер моей физиономии. Несмотря на то, что Козима присутствовала на сеансах, всячески стараясь навести его на настоящий след, мне не оставалось ничего другого, как предоставить ему свой профиль, потому что только так можно было рассчитывать на сохранение хоть какого-нибудь сходства. Когда, к своему собственному удовольствию, он добился этого, художник из благодарности сделал копию, которую поднес мне. Я сейчас же отправил ее в Дрезден Минне, от которой она потом перешла к моей сестре Луизе. Это был ужасный портрет. Мне пришлось видеть его еще раз во Франкфурте, где он был выставлен художником.

Очень приятную прогулку в Бинген я совершил однажды вечером в обществе Бюловов и Шнорров. В лежащий напротив Бингена Рюдесхайм я заехал за Фридерикой Майер, которая проводила там данный ей отпуск, и познакомил ее со своими друзьями. Из них особенно Козима сразу почувствовала дружеский интерес к этой чрезвычайно одаренной женщине. Сидя на открытом воздухе за стаканом вина, мы все скоро пришли в очень веселое настроение, которое одно неожиданное приключение

еще более подняло: с соседнего стола к нам приблизился в почтительной позе, с полным бокалом в руке, какой-то незнакомый господин. Оказалось, что он из Берлина и остановился здесь проездом. Восторженный почитатель моей музыки, он обратился ко мне от своего имени и от имени двух своих друзей с пылким, чрезвычайно приличным приветствием. Мы пригласили всех к нашему столу, за которым скоро появилось и шампанское. Чудесный вечер с дивным восходом луны еще более способствовал радостному настроению. Была поздняя ночь, когда мы вернулись домой с этой очаровательной прогулки.

Побывав в таком же веселом расположении духа в Шлангенбаде, где жила Альвина Фромман, мы вздумали отправиться дальше в Роландзек. Первую остановку мы сделали в Ремагене. Посетив прекрасно расположенную, переполненную народом церковь, где проповедовал молодой монах, затем пообедав в саду на берегу Рейна, мы отправились дальше. Переночевали в Роландреке и с утра поднялись на Драхенфельс. С этим восхождением связано маленькое, благополучно окончившееся приключение: когда, спустившись с Драхенфельса, мы пришли на железнодорожную станцию на другом берегу Рейна, я заметил, что потерял свой бумажник, в котором было 100 гульденов. По всей вероятности, он выпал из кармана моего пальто. Два господина, присоединившиеся к нам еще на Драхенфельсе, сейчас же вызвались повторить этот нелегкий путь, чтобы поискать потерянное. Действительно, через несколько часов они вернулись и передали мне бумажник с нетронутым содержимым: на вершине горы его нашли два работавших там каменщика и сейчас же вернули. Честные рабочие были мной щедро вознаграждены за находку, а благополучный исход приключения надо было отпраздновать веселым обедом с самым лучшим вином. Много лет спустя мне суждено было узнать

неожиданный конец этого приключения: когда в 1873 году я зашел раз в Кёльне в ресторан, хозяин его представился мне как тот самый, который одиннадцать лет тому назад угощал нас на берегу Рейна и которому я дал разменять бумажку в 100 гульденов. С этой бумажкой, как он мне теперь сообщил, произошло следующее: какой-то англичанин, который тоже узнал об этом случае, решил купить ее за двойную цену. Хозяин не хотел и слышать об этом, но все же уступил кредитный билет, обязав угостить шампанским присутствующее общество, которому было рассказано обо всем. Англичанин исполнил это самым добросовестным образом.

424

Менее удачна была поездка в Остхофен, которую мы совершили по приглашению семейства Вайсхаймер. Там мы провели ночь после того, как весь предыдущий день нас безостановочно заставляли угощаться на крестьянской свадьбе. Козима была единственная, сохранившая веселое настроение. Я старался не отставать от нее, тогда как у Бюлова давно накапливавшееся дурное настроение, вызванное разными неприятностями, прорывалось вспышками гнева. Мы утешали себя тем, что в другой раз с нами ничего подобного не случится. На следующий день, с дурным чувством, вызванным другими причинами, а именно мыслями о моем положении, я собрался в обратный путь. Козима уговорила Ганса поехать в Вормс, где хотела развлечь его посещением древнего собора. Оттуда они потом последовали за мной в Бибрих.

В памяти моей осталось небольшое приключение, которое мы пережили за висбаденским игорным столом. Как раз в этот день мне прислали 20 луидоров в виде театрального гонорара за одну из моих опер. Не зная, на что употребить эту маленькую сумму, ввиду того что мое

положение в общем становилось все хуже, я вздумал попросить Козиму, поставив половину, попытать счастья за рулеткой. С удивлением я смотрел, как, не зная самых общих, внешних условий игры, она бросала наугад один золотой за другим, не покрывая ими ни определенного номера, ни цвета, так что золотые ее беспрестанно исчезали за решеткой крупье. Мне стало страшно. Я поспешно удалился, чтобы за соседним столом сделать попытку исправить ее неумение и неудачу. В этом стремлении «сэкономить» счастье благоприятствовало мне: очень скоро я выиграл 10 луидоров, потерянных моей приятельницей, что привело нас в веселое настроение.

Менее приятно прошла наша совместная поездка в Висбаден на представление «Лоэнгрина». После первого акта, исполненного довольно удовлетворительным образом и приведшего нас в хорошее расположение духа, представление стало постепенно подвергаться на сцене таким искажениям, каких я до сих пор не считал возможными. Вне себя от бешенства, не дождавшись окончания, я ушел из театра, между тем как Ганс по настоянию Козимы из приличия остался, и оба они, возмущенные не менее меня, должны были вынести эту пытку до конца.

Вскоре я узнал, что князь и княгиня Меттерних прибыли в свой замок Иоханнисберг [Johannisberg]. Все еще озабоченный необходимостью приискать себе спокойный приют для окончания «Мейстерзингеров», я подумал об этом обыкновенно пустующем замке и известил князя о моем желании посетить его, в ответ на что получил от него приглашение. Бюловы проводили меня до железнодорожной станции. Любезностью оказанного мне приема я мог остаться доволен. Они и сами уже обсуждали вопрос об устройстве для меня временного помещения в замке Иоханнисберг и пришли к заключению, что могут предоставить мне небольшую квартиру у управляющего замком,

но при этом сочли нужным обратить мое внимание на трудности, с какими будет здесь связано мое пропитание. Князя особенно занимала возможность устроить мне в Вене прочное положение. Он сказал, что в следующий же приезд туда поговорит с министром Шмерлингом, которого он считал наиболее подходящим для этого человеком. По его мнению, он был способен понять меня, а может быть, и заинтересовать в мою пользу императора. Когда мне снова придется быть в Вене, я могу прямо явиться к Шмерлингу в полной уверенности, что я уже отрекомендован князем. По приглашению, полученному от герцогского двора, князю и княгине предстояло отправиться в Висбаден. Я проводил их туда и снова встретился с Бюловами.

425

После того как нас покинули Шнорры, проведя с нами две недели, настало время уезжать и Бюловам. Я проводил их до Франкфурта. Там мы оставались два дня, чтобы присутствовать на представлении гётевского «Тассо», в котором в виде вступления должна была быть исполнена одноименная симфоническая поэма Листа. Со своеобразными ощущениями присутствовали мы на этом представлении. Нам чрезвычайно понравилась своей игрой Фридерика Майер в роли принцессы и особенно Шнайдер в роли Тассо. Только Ганс никак не мог помириться с позорным исполнением под управлением капельмейстера Игнаца Лахнера листовского произведения. К обеду в ресторане ботанического сада, на который нас пригласила перед представлением Фридерика, явился и таинственный Гуаита. Мы с удивлением заметили, что с этой минуты вся беседа за столом свелась к непонятной для нас пикировке, смысл которой уяснился до некоторой степени бешеной ревностью фон Гуаиты и остроумно-насмешливым отпором

Фридерики. Однако ему удалось справиться со своим возбуждением, когда он обратился ко мне с предложением дать во Франкфурте «Лоэнгрина» под моим управлением. Мне этот проект понравился. Я увидел в нем повод снова встретиться с Бюловами и Шноррами. Бюловы обещали приехать, а к Шноррам я обратился с просьбой взять на себя исполнение главных ролей. Казалось, таким образом, что на этот раз мы можем расстаться в бодром настроении, хотя все усиливавшееся и доходившее иногда до крайних пределов непрерывно дурное расположение Ганса не раз вызывало у меня беспомощные вздохи.

У Козимы же, напротив, совершенно исчезла робость, которую я заметил год тому назад при посещении Райхенхалля. Когда я однажды спел своим друзьям «Прощание Вотана», на лице Козимы появилось выражение, какое я видел на нем, к своему удивлению, в Цюрихе в момент расставания. Только на этот раз экстаз ее имел радостно просветленный характер. Здесь все было молчание и тайна. Но уверенность, что между нами существует неразрывная связь, охватила меня с такой определенностью, что я не в силах был владеть собственным возбуждением, и оно выливалось у меня в самой необузданной веселости. Провожая Козиму во Франкфурте по открытой площади в гостиницу, я вдруг ни с того ни с сего предложил ей сесть в стоявшую тут же пустую ручную тележку и отвезти ее так в отель. Недолго думая, она согласилась. Я растерялся и потерял всякое мужество привести в исполнение свой безумный план.

426

По возвращении в Бибрих меня ждали тяжелые заботы. После долгих проволочек Шотт совершенно отказался выдавать мне дальнейшие субсидии. Правда, с самого отъезда из Вены почти до последнего времени я все свои

расходы — по устройству жены в Дрездене, по собственному переселению в Бибрих и пребыванию в Париже, где мне пришлось удовлетворить кое-каких кредиторов, — погашал исключительно из сумм, которые мне посылал издатель. Несмотря на такое трудное начало, поглотившее половину всех денег, которые я выговорил себе за «Мейстерзингеров», я мог все-таки надеяться с остатком условленного гонорара спокойно довести до конца свою работу. Но Шотт стал оттягивать присылку денег, ссылаясь на необходимость свести раньше счеты с музыкальными торговцами. Я оказался в затруднительном положении, из которого пришлось искать выход. Все зависело от того, удастся ли мне в скором времени доставить Шотту хотя бы один готовый акт «Мейстерзингеров». В первом акте я дошел уже до той сцены, где Погнер собирается представить мейстерзингерам Вальтера фон Штольцинга, когда — это было около середины августа, еще в бытность Бюловов в Бибрихе, — ничтожный случай на целых два месяца лишил меня способности писать.

Мой угрюмый хозяин держал у себя цепную собаку, бульдога Лео. Животное, находившееся в полном пренебрежении у своего хозяина, возбуждало во мне живейшее сострадание. Однажды мне захотелось очистить его от насекомых. Я позвал служанку и, держа голову бульдога, свирепый вид которого внушал девушке страх, заставил ее расчесывать его. Несмотря на большое доверие ко мне, собака, невольно щелкнув зубами, укусила меня в первый сустав большого пальца на правой руке. Никакой раны не было видно, но вскоре оказалось, что надкостница воспалилась. Всякое движение пальца стало сопровождаться болями, которые все усиливались, и мне было предписано не утруждать руки до полного ее выздоровления и главным образом не писать. Хотя газеты и успели пропечатать, что я подвергся укусу бешеной собаки, в действительности

дело обстояло не так уж скверно. Тем не менее случай этот навел меня на серьезные размышления о непрочности человеческого существования на земле. Оказывалось, что для создания произведения мне нужны были не только здоровый дух, хорошие идеи и известное мастерство, но еще и здоровый палец, который мог бы двигать пером, так как здесь дело шло не о стихотворении, которое легко продиктовать, а о музыке, которую диктовать другому нельзя, которую надо записывать самому.

Чтобы доставить Шотту хоть что-нибудь, я по совету Раффа, оценившего тетрадь моих песен в 1000 франков, решил предложить своему издателю пять стихотворений моей приятельницы Везендонк, которые я положил на музыку, большей частью на мотивы из занимавшего меня в то время «Тристана». Песни были им приняты и изданы, но это отнюдь не подействовало смягчающим образом на настроение Шотта. Я должен был предположить, что кто-нибудь возбуждал его против меня. Чтобы выяснить этот вопрос и в зависимости от этого принять дальнейшие решения, я сам отправился в Киссинген, где Шотт проводил курс лечения. Но мне так и не удалось переговорить с ним. Госпожа Шотт, как ангел-хранитель расположившаяся у дверей его комнаты, заявила мне, что супруг ее никого не принимает вследствие случившегося с ним сильного приступа болезни печени. Это было все, что мне надо было знать. Раздобыв некоторую денежную сумму через посредство молодого Вайсхаймера, который, имея за спиной богатого отца, проявил большую предупредительность по отношению ко мне, я принялся раздумывать, что делать дальше: на Шотта больше рассчитывать было нельзя и, следовательно, нечего было и надеяться на возможность дальнейшей спокойной работы над «Мейстерзингерами».

427

При таких обстоятельствах я, к удивлению, неожиданно получил от дирекции Венской оперы формальное приглашение поставить «Тристана». Мне сообщали, что все затруднения устранены, так как Андер вполне оправился от болезни. Это повергло меня в искреннее изумление. Я навел справки, и вот что я узнал о переменах по отношению ко мне, происшедших с тех пор в Вене. Еще до последнего своего отъезда оттуда госпожа Луиза Дустман, которой партия Изольды действительно понравилась, задумала устранить главное препятствие, стоявшее на пути моего предприятия. С этой целью она убедила меня прийти к ней на вечер, чтобы снова представить мне д-ра Ганслика. Она знала, что пока не удастся настроить этого господина в мою пользу, мне нечего рассчитывать на успех в Вене. В том хорошем настроении, в каком я был в тот вечер, мне нетрудно было держать себя по отношению к Ганслику как к человеку, мало мне знакомому, пока он не отвел меня в сторону для интимного разговора. Со слезами и вздохами он стал меня уверять, что не может более выносить моего незаслуженного пренебрежения к нему. То, что могло казаться мне странным в его суждениях обо мне, следует приписать не злому намерению с его стороны, а исключительно его индивидуальной ограниченности, и он ничего так не желает, как получить от меня указания, которые помогли бы раздвинуть границы его понимания. Все эти заявления сопровождались такими доказательствами внутреннего волнения, что я не мог ему ответить иначе, как успокоив его и обещав безусловное дружеское внимание к его дальнейшей деятельности. И действительно, еще перед самым отъездом из Вены я узнал, что Ганслик в неумеренно лестных выражениях отзывался перед моими знакомыми обо мне и моей любезности. Эта перемена так подействовала

не только на оперных артистов, но главным образом на Раймонда, советчика обергофмейстера, что в конце концов в высших сферах постановка «Тристана» стала считаться делом чести для Вены. Это и была причина присланного мне вновь приглашения.

В то же время молодой Вайсхаймер написал мне из Лейпцига, куда он уехал, что берется устроить там хороший концерт, если я соглашусь поддержать его исполнением нового вступления к «Мейстерзингерам» и увертюрой к «Тангейзеру». По его мнению, такая программа должна обратить на себя всеобщее внимание, и он считал возможным поэтому повысить цены на билеты. Он не сомневался, что в случае весьма вероятной их распродажи от концерта за покрытием всех расходов отчислится довольно значительная сумма в мою пользу. С другой стороны, дав Гуаите обещание поставить во Франкфурте «Лоэнгрина», я теперь, несмотря на то что Шнорры принуждены были отказаться от участия в нем, не мог взять свое слово назад. Взвесив все эти обстоятельства, я решил отложить «Мейстерзингеров» в сторону и на других предприятиях постараться тем временем заработать столько, чтобы следующей весной иметь возможность приняться за прерванную работу и, независимо от настроения Шотта, довести ее до конца. Что касается квартиры в Бибрихе, в общем отвечающей моим требованиям, я решил сохранить ее за собой. Минна просила предоставить ей кровать и еще кое-какие вещи, к которым я привык, для окончательной меблировки. Она хотела, чтобы я нашел все «в должном порядке», когда посещу ее, и я положил не изменять раз принятому решению: чтобы облегчить ей разлуку со мной, я послал требуемые вещи, а свою рейнскую квартиру устроил заново при содействии мебельного фабриканта в Висбадене, открывшего мне продолжительный кредит.

428

Лейпциг

В конце сентября я отправился на неделю во Франкфурт, чтобы приступить к репетициям «Лоэнгрина». Здесь повторилось то, с чем мне не раз уже приходилось сталкиваться: после первого соприкосновения с оперным персоналом у меня явилась охота бросить все предприятие. Но затем, отчасти вследствие обращенных ко мне просьб не отказываться от задуманного дела, в настроении моем произошла перемена. В конце концов меня даже заинтересовала мысль испытать, какое впечатление может произвести опера сама по себе, независимо от жалкого пения, при отсутствии искажений и наличии верных темпов и правильной инсценировки. Но одна только Фридерика Майер ощущала вполне то, что может дать музыка. Впрочем, не было недостатка и в обычном «оживлении» публики. Но позднее мне передавали, что последующие представления, шедшие под управлением чрезвычайно популярного во Франкфурте Игнаца Лахнера, жалкого дирижера и музыканта, были настолько неудовлетворительны, что пришлось прибегнуть к приемам искажения, чтобы удержать оперу в репертуаре.

Все это подействовало на меня тем более угнетающе, что даже Бюловы, вопреки ожиданиям, не явились на это представление. Козима, как я узнал, поспешно проехала мимо меня в Париж — поддержать бабушку, медленно угасавшую среди своих продолжительных страданий и теперь еще вдобавок сраженную новым тяжелым ударом: Бландина умерла в Сен-Тропезе от родов. Настала суровая пора года, и на некоторое время я замкнулся в своей бибрихской квартире. Несмотря на то что приходилось беречь свой палец, мне удалось инструментовать для концертных целей несколько отрывков из готовой композиции «Мейстерзингеров». Сейчас же отправив вступление

Вайсхаймеру в Лейпциг для того, чтобы там его переписали, я приготовил для оркестра «Собрание мейстерзингеров» с «Обращением Погнера».

В конце октября я мог отправиться в Лейпциг. Неожиданное приключение, случившееся со мной во время этой поездки, было причиной того, что я снова посетил Вартбург: в Айзенахе, где я на несколько минут вышел на платформу, поезд тронулся раньше, чем я успел вскочить в вагон. Я инстинктивно побежал вслед за поездом, крича кондуктору, который, конечно, не мог его остановить для меня. Отъезд какого-то принца собрал на вокзале большую толпу зрителей, среди которых мое приключение вызвало громкий смех. Я спросил их, неужели моя неудача доставляет им удовольствие? «Да, она доставляет нам удовольствие», — ответили мне из толпы. Это происшествие привело меня к выводу, что немецкую публику можно развеселить, попав в беду. Так как следующий поезд отходил только через пять часов, я телеграммой известил своего зятя, Германа Брокгауза, у которого должен был остановиться, что опоздаю, и в сопровождении человека, отрекомендовавшегося гидом, отправился в Вартбургский замок. Осмотрев частичную реставрацию, произведенную в замке Великим герцогом, зал с картинами Швинда и оставшись равнодушным к тому и другому, я вернулся в ресторан увеселительного места айзенахских жителей, где застал нескольких горожанок, занятых вязанием чулок. Великий герцог Веймарский позднее уверял меня, что «Тангейзер» пользуется популярностью во всем населении Тюрингии, кончая последним деревенским парнем. Но ни хозяин, ни проводник ничего обо мне не знали. Все же я расписался своим полным именем в книге для приезжих, рассказав о любезном приветствии, которое я встретил на вокзале. Мне не приходилось слышать, чтобы на это было обращено какое-либо внимание.

429

Поздно ночью меня радостно встретил значительно постаревший и пополневший Герман Брокгауз. Он проводил меня в свой дом, где я нашел Оттилию в кругу ее семьи. Я был встречен чрезвычайно мило. Нам было о чем поговорить, и хорошее настроение, с каким мой зять принимал участие в этих разговорах, действовало на нас так, что мы засиживались до утра. Мое выступление вместе с совершенно неизвестным молодым композитором Вайсхаймером вызвало некоторые сомнения: в самом деле, программа его концерта заключала в себе множество его собственных композиций, в том числе и недавно законченную симфоническую поэму «Рыцарь Тоггенбург». Если бы, присутствуя на репетициях, я сам находился в более уравновешенном состоянии, я, вероятно, протестовал бы против исполнения этой программы во всей ее полноте. Но эти часы, проведенные в концертном зале, остались для меня самым приятным воспоминанием моей жизни благодаря присутствию Бюловов, с которыми мы снова встретились. Дело в том, что и Ганс решил освятить вместе со мной дебют Вайсхаймера, выступив с новым фортепьянным концертом Листа. Самое вступление в столь знакомый мне зал лейпцигского Гевандгауза, как и приветствие чуждых мне оркестровых музыкантов, которым мне, как человеку совершенно им незнакомому, еще предстояло представиться, подействовали на меня весьма неприятным образом.

Но вдруг я почувствовал себя словно изъятым из окружающего мира: в отдаленном углу залы я увидел Козиму, в глубоком трауре, очень бледную, но дружески мне улыбающуюся. Только что вернувшись из Парижа, от постели неизлечимо больной бабушки, с глубокой грустью в сердце об умершей столь непостижимо внезапным образом

сестре, она показалась мне видением иного мира. Все, что наполняло наши сердца, было так глубоко и серьезно, что лишь безграничная радость свидания помогла нам миновать угрожавшие пропасти. А то, что происходило на репетициях, представлялось игрой теней, которой мы забавлялись, как дети. Ганс в таком же хорошем расположении духа, как и мы — все мы чувствовали себя словно участниками какого-нибудь приключения Дон-Кихота, — обратил мое внимание на Бренделя, сидевшего невдалеке от нас и, казалось, ожидавшего, чтобы я с ним поздоровался. Это создало некоторое напряжение, которое мне вздумалось поддержать, сделав вид, что не узнаю его. Бедняга был так огорчен, что позднее, вспоминая свою неправоту перед ним, я при обсуждении статьи «Еврейство в музыке» постарался особенно выделить заслуги Бренделя и этим как бы искупить свою вину перед умершим уже тогда композитором.

Появление Александра Риттера с моей племянницей Франциской тоже немало содействовало нашему веселому настроению, которому обильную пищу доставляли поражающие своей чудовищностью композиции Вайсхаймера. Риттер, уже знакомый с текстом «Мейстерзингеров», сравнил глубоко меланхолическую, чрезвычайно запутанную мелодию басов в «Рыцаре Тоггенбурге» с «тоном россомахи». В конце концов наше хорошее настроение иссякло бы, если бы ему не дали новой пищи удачно исполненное вступление к «Мейстерзингерам» и великолепная игра Бюлова, исполнившего [Второй] фортепьянный концерт Листа.

Обстоятельства, сопровождавшие самый концерт, подтвердили фантастический характер всего предприятия, который мы предчувствовали и который вызвал в нас веселый юмор. К ужасу Вайсхаймера, вся лейпцигская публика «блистала» отсутствием, что, по-видимому, было

подстроено организаторами абонементных концертов. Мне еще никогда не приходилось видеть такой пустоты в концертном зале: кроме членов моей семьи, среди которых сестра Оттилия выделялась своим экстравагантным головным убором, на нескольких скамьях сидело небольшое число посетителей, приехавших на концерт из других мест. Видное место занимали мои веймарские друзья: капельмейстер Лассен и правительственный советник Франц Мюллер, как и неизбежные Рихард Поль и советник юстиции Гилле. Кроме того, я с неприятным удивлением заметил старого надворного советника Кюстнера, бывшего управляющего Берлинским королевским театром, которому с бодрой веселостью пришлось ответить на его приветствие и изумление по поводу непонятной пустоты зала. Из постоянных жителей Лейпцига присутствовали еще некоторые друзья моих родных, обыкновенно не посещающие концертов. Среди них был доктор Лотар Мюллер, сын хорошо знакомого мне с ранней юности врача-аллопата, доктора Морица Мюллера, чрезвычайно мне преданный. В зале находилась невеста концертанта со своей матерью. В некотором отдалении, против нее, я уселся в середине концерта с Козимой, к большому соблазну моих родных, наблюдавших нас издали. Будучи сами в дурном настроении, они не могли понять, почему мы с Козимой все время безостановочно смеялись.

Что касается вступления к «Мейстерзингерам», то удачное исполнение его произвело на немногих друзей, составлявших публику, такое благоприятное впечатление, что, к радости оркестра, пришлось сейчас же повторить его. Вообще, лед искусственно поддерживаемого недоверия ко мне, по-видимому, растаял. Когда после заключившей концерт увертюры к «Тангейзеру» я вышел на вызовы, оркестр встретил меня бурным тушем, что доставило громадное удовольствие сестре Оттилии, утверждавшей,

что до сих пор такая честь выпала на долю лишь одной Женни Линд. Друг Вайсхаймер, самым непростительным образом испытывавший всеобщее терпение, с этих пор стал чувствовать ко мне неприязнь, которая с течением времени все росла. По его мнению, он был бы в более выгодном положении, если бы не включал в программу концерта моих блестящих оркестровых произведений, а предложил бы публике за дешевую цену одни лишь свои композиции. Теперь ему пришлось, к большому разочарованию своего отца, погасить все расходы по устройству концерта, да еще выносить унизительное сознание невозможности предложить мне хотя бы самый ничтожный гонорар.

430

Поездка к Минне в Дрезден. Фон Бейст

Эти неприятные впечатления не удержали моего зятя от выполнения всей программы задуманных в честь ожидаемых триумфов домашних торжеств. В одном банкете приняли участие и Бюловы. Был дан вечер, на котором я с большим успехом в присутствии значительного количества профессоров прочитал «Мейстерзингеров». На этом вечере я возобновил знакомство с профессором Вайсом, очень интересовавшим меня по воспоминаниям молодости и по дружбе с моим дядей. Он с большим удивлением отозвался о моем искусстве читать.

Бюловы, к сожалению, снова уехали в Берлин. Мы встретились на улице в большой холод и в не особенно приятный момент: они делали официальные визиты. При этом беглом прощании давивший нас всех гнет сказался сильнее, чем мимолетная веселость последних дней. Друзья мои понимали, в каком безотрадно-тяжелом положении я находился: я был настолько легкомыслен,

что рассчитывал выручить от лейпцигского концерта сумму, необходимую хотя бы на покрытие ближайших расходов. В этом направлении первое разочарование, которое меня ожидало, заключалось в том, что я не был в состоянии аккуратно уплатить бибрихскому хозяину за квартиру, которую я хотел сохранить за собой еще и на будущий год. А между тем приходилось иметь дело с упрямым, угрюмым человеком, которого и без того можно было склонить к продлению контракта, лишь уплачивая деньги за квартиру вперед. Ввиду того что как раз теперь мне предстояло послать и Минне сумму, следуемую ей за четверть года, помощь, которую неожиданно предложил мне правительственный советник Мюллер от имени Великого герцога Веймарского, показалась мне действительно ниспосланной с неба. Когда выяснилось, что на Шотта больше нечего рассчитывать, я обратился к своему старому знакомому с просьбой объяснить Великому герцогу мое положение и склонить его оказать мне поддержку хотя бы авансом в счет новых опер. Присланные через Мюллера 500 талеров крайне меня поразили своей неожиданностью. Лишь позднее я мог объяснить себе это великодушие тем, что Великий герцог, проявляя такую любезность ко мне, имел в виду определенную цель: оказать давление на Листа, которого он хотел снова залучить в Веймар. Несомненно, он не ошибался, полагая, что его великодушный образ действий по отношению ко мне произведет благоприятное впечатление на нашего общего друга.

Таким образом, я получил возможность отправиться на несколько дней в Дрезден, чтобы, снабдив Минну деньгами, в то же время оказать ей честь своего посещения, нужную будто бы для поддержания ее щекотливого положения. С вокзала Минна повезла меня в нанятую и устроенную ней квартиру на Вальпургис-штрассе, которой

в то время, когда я покинул Дрезден, еще не существовало. Эту квартиру она обставила со свойственным ей искусством и с несомненной целью сделать ее для меня приятной. У входа лежал маленький коврик с вышитой ней надписью Salve[74]. Нашу парижскую гостиную я узнал по красной шелковой мебели и гардинам. Большая спальня и довольно уютная рабочая комната вместе с гостиной были предоставлены исключительно в мое пользование, между тем как себе она оставила комнатку с альковом, выходившую во двор. Рабочую комнату украшал тот самый письменный стол красного дерева, который я когда-то, получив место капельмейстера в Дрездене, заказал для себя. После бегства из Дрездена его приобрела семья Риттер, передавшая его своему зятю Куммеру. Сейчас Минна взяла у него этот стол лишь на время, причем объяснила мне, что я могу приобрести его снова в собственность за 60 талеров. Когда же я не выказал никакого желания сделать это, настроение ее омрачилось.

Чтобы избежать стеснения, которое она, несомненно, чувствовала бы, оставаясь со мной наедине, она пригласила мою сестру Клару из Кемница, с которой она и делила теперь свое небольшое помещение. Клара и здесь, как и раньше, показала себя умной и сострадательной женщиной: ей было жаль Минну, и она старалась помочь ей пережить тяжелое время. При этом она преследовала одну цель: убедить ее в необходимости по-прежнему жить со мной порознь. Для этого она воспользовалась своей точной осведомленностью относительно чрезвычайно тяжелого материального положения, в каком я тогда находился: денежные заботы мои были так велики, что одно указание на необходимость делить их со мной являлось

[74] Приветствую! Доброго здоровья! (*лат.* и *ит.*).

достаточным противовесом всем фантазиям моей жены. Впрочем, мне удалось избежать всяких с ней объяснений, главным образом благодаря тому, что большей частью мы находились в присутствии посторонних. Этому способствовала встреча с замужней дочерью Фрица Брокгауза Кларой Кессингер, а также с Пузинелли, со старым Гейне и, наконец, со Шноррами.

Предобеденными часами я пользовался для визитов. Отправившись к министру Бэру, чтобы поблагодарить его за хлопоты об амнистии, и проходя в первый раз по улицам Дрездена, я был поражен впечатлением скуки и пустоты, которое они на меня произвели. В памяти моей они сохранились такими, какими я видел их в последний раз: заставленными баррикадами, что придавало им чрезвычайно интересный вид. Из встречавшихся мне по дороге людей я никого не знал. Меня самого не узнал даже владелец магазина, у которого я всегда покупал перчатки и к которому зашел теперь. Вдруг в лавку его вслед за мной вбежал пожилой человек в большом возбуждении и со слезами на глазах: это был сильно постаревший придворный музыкант Карл Куммер, гениальнейший гобоист, какого я когда-либо встречал и которого я любил нежной, сердечной любовью. Мы радостно обнялись. Я спросил его, играет ли он по-прежнему на своем инструменте: он ответил, что с тех пор, как я уехал, его гобой больше не доставлял ему прежней радости, и он давно уже вышел в отставку. От него я узнал, что музыканты старой оркестровой гвардии, в том числе и длинный контрабасист Диц, частью покинули этот мир, частью оставили службу. Управляющий фон Люттихау и капельмейстер Райсигер умерли, Липинский давно вернулся в Польшу, концертмейстер Шуберт неспособен к труду. Все представилось мне в новом и унылом свете. Министр Бэр высказал мне свои неразвеянные серьезные сомнения относительно моей

амнистии. Правда, сам он решился ее подписать, но его не покидает забота, что при большой популярности, какой я пользуюсь как композитор, дело легко может дойти до неприятных демонстраций. Я поспешил его успокоить, обещав остаться здесь всего несколько дней и не показываться в театре. Он отпустил меня с глубоким вздохом, вперив в меня тяжелый взгляд. Совершенно иначе принял меня фон Бейст: элегантно улыбаясь, он завел разговор о том, что я вовсе не столь невинен, как сам об этом думаю. Он напомнил мне об одном письме, которое было найдено в карманах Рёкеля: это было для меня новостью, и я воспользовался случаем намекнуть, что смотрю на дарованную мне амнистию как на прощение всех совершенных мной неосторожностей. Мы расстались с выражениями самых дружеских чувств.

431

Званый вечер в салоне Минны. Фридерика Майер

Еще один званый вечер мы отпраздновали в салоне Минны. При этом я прочел «Мейстерзингеров» тем из своих знакомых, которые еще не слышали их. Снабдив Минну деньгами на продолжительное время, я на четвертый день уехал из Дрездена. Минна провожала меня на вокзал с тоскливым предчувствием, что никогда больше меня не увидит. Прощанье наше имело тяжелый характер.

В Лейпциге я остановился на день. В гостинице я снова встретился с Александром Риттером и очень приятно провел с ним вечер за пуншем. Меня побудили сделать эту остановку уверения, что самостоятельный концерт в Лейпциге может иметь большой успех. Нуждаясь в деньгах, я решил принять во внимание и это указание, но, убедившись, что предприятие отнюдь не гарантировано, я поспешно вернулся в Бибрих, где мне предстояло устроить

свои квартирные дела. К величайшей досаде, я застал своего хозяина в менее покладистом настроении. По-видимому, он не мог мне простить, что я высказал ему свое порицание за его обращение с собакой, как и то, что я однажды взял под свою защиту его служанку по поводу близких отношений ее с каким-то портным. Несмотря на предложенные ему деньги и всяческие обещания, он оставался неумолим и уверял, что ему самому по слабости здоровья нужна эта квартира с будущей весны. Уплатив ему вперед и обязав его не трогать до Пасхи моей обстановки, я принялся в сопровождении д-ра Шюлера и Матильды Майер объезжать окрестности Рейнгау, чтобы выбрать подходящую квартиру на будущий год. Из этого ничего не вышло — было слишком мало времени. Но друзья обещали неустанно заботиться о приискании для меня помещения.

В Майнце я снова встретился с Фридерикой Майер. Отношения ее во Франкфурте все осложнялись: она вполне оправдала мой образ действий, узнав, что я ответил отказом режиссеру господина фон Гуаиты, которого последний незадолго до того прислал ко мне с поручением уплатить 15 луидоров за постановку «Лоэнгрина». Она сообщила мне, что совершенно порвала с Гуаитой, добилась отставки и теперь собирается на обещанную ей в Бургтеатре гастроль. Таким образом действий она снова завоевала мое участие, так как я в этом видел опровержение всех взводимых на нее клевет. Я направлялся в Вену, и она была очень рада совершить со мной часть пути от Нюрнберга, куда она собиралась на день и где мы должны были встретиться. Так мы и сделали и вместе приехали в Вену, где моя приятельница остановилась в отеле Munsch. Я же занял номер в гостинице Kaiserin Elisabeth, к которой привык.

Это было 15 ноября. Я немедленно отыскал капельмейстера Эссера и узнал от него, что репетиции «Тристана»

ведутся чрезвычайно энергично. Но зато отношение мое к Фридерике, которое легко было неверно истолковать, скоро вызвало весьма неприятную размолвку между мной и госпожой Дустман. Ей никак нельзя было втолковать истинное положение вещей: она упорно стояла на том, что сестра ее живет в незаконной связи, отвергнута своей семьей, что переселение ее в Вену может скомпрометировать ее, госпожу Дустман. К этому прибавилось то, что положение Фридерики скоро стало причинять мне большие заботы. С Бургтеатром она подписала контракт на три гастроли, упустив из виду, в каких неблагоприятных условиях она должна теперь выступить на сцене, особенно перед венской публикой. Перенесенная ней тяжелая болезнь, от которой она оправлялась среди непрестанных волнений и тревог, сильно обезобразила ее. Она чрезвычайно исхудала, почти лишилась волос, но ни за что не хотела надевать парика. Враждебное отношение сестры оттолкнуло от нее персонал Бургтеатра. Вследствие всего этого, а также неудачного выбора роли выступление ее не имело успеха, и об ангажементе не могло быть и речи. При все увеличивавшейся слабости и постоянной бессоннице она с какой-то благородной стыдливостью старалась скрыть от меня трудности своего положения. Не чувствуя, по-видимому, нужды в деньгах, она все же решила некоторое время пожить спокойно в более дешевой гостинице Stadt Frankfurt, чтобы дать отдохнуть своим нервам. По моему желанию она пригласила Штандгартнера, который не мог ей дать никакого совета. Так как климат в это время года, в конце ноября и начале декабря, становится в Вене очень суров, а ей были предписаны прогулки на свежем воздухе, то мне пришло в голову предложить ей поехать на продолжительное время в Венецию. Средства позволяли ей и это. Она последовала моему совету, и в одно морозное утро я проводил ее на вокзал, откуда в сопровождении

верной горничной она отправилась навстречу лучшему будущему. К своему крайнему удовлетворению, я скоро стал получать из Венеции утешительные вести, главным образом относительно состояния ее здоровья.

432

Корнелиус и Таузиг

Удрученный тревогой, которую внушала мне моя приятельница, я в то же время продолжал поддерживать сношения с прежними венскими знакомыми. Тут вскоре после моего приезда произошел странный инцидент. Я обещал прочесть «Мейстерзингеров» в доме Штандгартнеров, как мне вообще всюду приходилось их читать. Ввиду того что Ганслик слыл теперь некоторым образом моим другом, его сочли нужным пригласить на это чтение. Но по мере того как оно подвигалось вперед, опасный рецензент становился все угрюмее и бледнее. Всеобщее внимание обратило на себя то, что по окончании чтения он ни за что не хотел оставаться и сейчас же ушел, несомненно, в раздраженном состоянии. Друзья мои единогласно пришли к тому заключению, что Ганслик усмотрел в этой поэме направленный против него пасквиль и приглашение на чтение принял за оскорбление себе. И действительно, с этого вечера отношение ко мне рецензента резко изменилось и стало проявляться в обостренной вражде, последствия чего не заставили себя ждать.

Корнелиус и Таузиг снова появились у меня. Во мне долго еще жило чувство обиды за их отношение ко мне минувшим летом: собираясь пригласить в Бибрих Бюловов и Шноров, я из сердечного расположения к молодым друзьям решил позвать и их. Корнелиус сейчас же ответил на мое приглашение обещанием приехать. Тем сильнее было мое удивление, когда однажды я получил от него письмо из Женевы, куда внезапно разбогатевший Таузиг

увлек его за собой в путешествие. Пребывание в Женеве представляло, конечно, больше интереса и значительности, чем пребывание у меня в Бибрихе. Не считая нужным даже выразить сожаление о невозможности провести со мной лето, мне прямо сообщали, что только что с восторгом «выкурили великолепную сигару за мое здоровье». Встретившись с ними в Вене, я не мог не объяснить им, что поведение их показалось мне чрезвычайно обидным. Они же никак не хотели понять, что я мог иметь против предпочтения, оказанного ими прекрасному путешествию во французскую Швейцарию перед посещением Бибриха. Очевидно, я казался им тираном.

Таузиг, кроме того, навлек на себя мое подозрение своим странным поведением в гостинице. Как я узнал, он обыкновенно обедал в ресторане нижнего этажа и затем, минуя мою комнату, подымался в четвертый, где подолгу просиживал у какой-то графини Кроков. Заговорив с ним об этом, я узнал, что дама эта встречалась с Козимой, и потому выразил удивление, что он не познакомил с ней и меня. Но он странным образом постоянно уклонялся от разговора на эту тему. Когда же я вздумал его подразнить предположением о существующих между ними любовных отношениях, он возразил, что об этом не может быть и речи, так как дама эта стара. Я оставил его в покое, но мое удивление возросло, когда впоследствии я познакомился с графиней Кроков, убедился в ее серьезном участии ко мне и узнал, что она тогда стремилась познакомиться со мной, но что Таузиг всегда отказывался устроить это под тем предлогом, что я не интересуюсь женщинами.

433

В конце концов между нами опять возобновились оживленные дружеские отношения, когда я серьезно принялся за выполнение своего намерения дать в Вене

ряд концертов. Фортепьянные репетиции, на которых чрезвычайно прилежно шла музыкальная отделка главных партий «Тристана», я предоставил серьезно заинтересовавшемуся этим делом капельмейстеру Эссеру. Но мое недоверие к успешным результатам этой работы, основывавшееся на сомнении не столько в способностях персонала, сколько в его доброй воле, оставалось непоколебимым. Нелепое поведение г-жи Дустман особенно отбивало у меня охоту присутствовать на репетициях. Напротив, от исполнения в концертах отрывков из моих неизвестных в Вене произведений я ждал благоприятных результатов. Этим я мог доказать своим тайным противникам, что предо мной открыты еще и другие пути для ознакомления публики с моей новейшей музыкой, кроме столь легко преграждаемого пути театральных постановок.

Во всем, что касалось практической стороны организации концертов, Таузиг оказывался чрезвычайно полезным. Было решено снять театр «Ан дер Вин» на три вечера и назначить первый концерт в конце декабря, а оба последующих — спустя неделю каждый. Для первого концерта предстояло выписать оркестровые партии тех пьес, которые я выбрал из партитур: два отрывка из «Золота Рейна», два из «Валькирии» и «Мейстерзингеров». Со вступлением к «Тристану» я хотел подождать, чтобы оно не совпало с объявляемой на афишах постановкой всего произведения. Взяв несколько помощников, Корнелиус и Таузиг принялись за переписывание, которое, требуя большой музыкальной точности, могло быть поручено только людям, опытным в чтении партитур. К ним присоединился и Вайсхаймер, прибывший в Вену, чтобы присутствовать на концерте. Затем Таузиг объявил мне, что и Брамс, которого он отрекомендовал как «славного парня», несмотря на свою знаменитость, желал бы взять на себя часть их работы: ему был дан отрывок из «Мейстерзингеров». В самом

деле, Брамс держал себя очень скромно и мило. Но в общении он был весьма скован, так что на наших собраниях часто оставался почти незамеченным. Кроме того, я часто встречался с знакомым мне с прежних времен Фридрихом Улем, который в обществе Юлиуса Фрёбеля и под покровительством Шмерлинга издавал политический журнал Der Botschafter[75]. Он предоставил его в мое распоряжение и убедил напечатать первый акт «Мейстерзингеров», так как друзья мои сделали наблюдение, что Ганслик становится все ядовитее.

434

В то время как я и мои товарищи были всецело поглощены приготовлениями к концерту, к нам явился однажды некий господин Морitц, представленный мне еще Бюловом в Париже как комичная личность. Своим неловким, навязчивым поведением и вздорными, во всяком случае вымышленными, рассказами о будто бы данных ему Бюловом поручениях он довел меня до того, что, заразившись нескрываемым негодованием Таузига, я весьма решительно указал непрошеному посетителю на дверь. Об этом он передал Козиме, изобразив все в таком оскорбительном для Бюлова виде, что она сочла себя вправе письменно выразить свое величайшее негодование по поводу бесцеремонного поведения по отношению к лучшим друзьям. Это непонятно-странное происшествие так изумило и огорчило меня, что я молча протянул письмо Козимы Таузигу и спросил его, что теперь делать и как бороться против всего этого вздора. Таузиг сейчас же взял на себя показать Козиме весь случай в его настоящем свете и рассеять недоразумение. К моей большой радости, желаемые результаты его посредничества не заставили себя ждать.

---

[75] «Посол» (*нем.*).

Начались репетиции к концерту. Нужных мне певцов для исполнения отрывков из «Золота Рейна», «Валькирии» и «Зигфрида» (сцена ковки меча), а также для обращения Погнера в «Мейстерзингерах» дала мне Королевская опера. Только для трех дочерей Рейна мне пришлось воспользоваться услугами дилетантов. Большую помощь здесь, как и в других случаях, оказал мне концертмейстер Хельмесбергер, который своим энтузиазмом и хорошим исполнением подавал пример прочим музыкантам. После предварительных оглушающих репетиций в небольшом помещении Оперы, своим гулом приводивших Корнелиуса в невообразимый ужас, мы перешли на сцену театра «Ан дер Вин», где, кроме дорогой платы за наем театрального зала, мне пришлось потратиться на устройство необходимых приспособлений для оркестра. Окруженная театральными кулисами сцена все-таки оставалась весьма неблагоприятной в акустическом отношении. А между тем сделать за свой счет отражающую звук перегородку и перекрытие мне казалось рискованным.

Первый концерт 26 декабря, несмотря на полный зал, принес в результате только громадные расходы и много огорчений, вызванных тем, что оркестр из-за отсутствия акустики звучал плохо. Несмотря на неблагоприятные перспективы, я для большего успеха следующих двух концертов решил взять на себя расходы по устройству акустического свода. Я утешал себя надеждой, что пущенные в ход усилия, пробудив интерес ко мне в высших кругах, увенчаются успехом.

Мой друг, князь [Рудольф] Лихтенштейн, считал это возможным. Он пытался воспользоваться влиянием при императорском дворе придворной дамы, графини Замойской. К ней он меня и проводил однажды по бесчисленным коридорам императорского дворца. Как это выяснилось впоследствии, здесь сказалась рука г-жи Калержи.

Но, по-видимому, ей удалось расположить в мою пользу лишь молодую императрицу, которая одна только и присутствовала на концерте, без всякой свиты.

Второй концерт доставил мне величайшее разочарование: вопреки многочисленным предостережениям, я назначил его на первый день нового 1863 года. Публики собралось чрезвычайно мало, и единственное удовлетворение, какое я имел, заключалось в том, что благодаря акустическим усовершенствованиям оркестр звучал превосходно. Впечатление от выполненной целиком программы было настолько хорошо, что третий концерт 8 января прошел снова при переполненном зале. При этом я имел случай убедиться в большом музыкальном чутье венской публики: отнюдь не эффектное вступление к обращению Погнера пришлось, по бурному требованию публики, повторить, несмотря на то что солист уже поднялся, чтобы начать свою партию.

Взгляд мой случайно упал в эту минуту на одну из лож, и то, что я увидел, показалось мне утешительным предзнаменованием: я узнал госпожу Калержи, только что прибывшую в Вену на короткое время, как мне казалось, не без намерения оказать мне и здесь свое содействие. Со Штандгартнером, с которым она была в дружбе, она сейчас же принялась обсуждать, как помочь мне в критическом положении, в какое меня поставили громадные расходы по устройству концертов. Она созналась нашему общему другу, что сама совершенно не располагает средствами и для экстренных платежей должна была бы войти в долги. Надо было постараться найти более состоятельных покровителей. Среди таких особенно выделилась баронесса фон Штокгаузен, жена ганноверского посланника: будучи в большой дружбе с Штандгартнером, она отнеслась ко мне с теплым участием, заинтересовав в мою пользу также леди Блумфильд и ее супруга, английского

посла. К этому последнему я был приглашен на вечер, как не раз бывал и у г-жи фон Штокгаузен. Однажды Штандгартнер принес мне доставленные якобы неизвестным лицом 500 гульденов для покрытия моих расходов. Госпожа Калержи в свою очередь сумела раздобыть 1000 гульденов, которые тоже через Штандгартнера были предоставлены в мое распоряжение для дальнейших нужд. Однако старания ее расположить в мою пользу двор, несмотря на ее близкую дружбу с графиней Замойской, остались безуспешными благодаря тому, что и здесь нашелся один из членов всюду всплывавшей на мое несчастье саксонской фамилии Кённериц. Это был тогдашний посланник. Всякое движение в мою пользу, особенно у пользовавшейся большим вниманием при дворе эрцгерцогини Софии, ему легко было подавить утверждением, что я в свое время поджег дворец саксонского короля!

435

Приглашение в Петербург

Несмотря ни на что, моя покровительница была по-прежнему неутомима в своих стараниях как-нибудь помочь мне. Чтобы удовлетворить мое сильное желание найти спокойное помещение, она вздумала устроить меня в квартире атташе английского посольства, сына знаменитого Бульвер-Литтона, ввиду того что обитатель ее был отозван, обстановка же на некоторое время оставлена в его распоряжении. Она познакомила меня с ним: это был моложавый, очень любезный человек. Вместе с Корнелиусом и госпожой Калержи я однажды обедал у него, а после обеда принялся за чтение «Сумерек богов», не найдя, однако, как мне показалось, особенно внимательной аудитории. Я прервал чтение и удалился с Корнелиусом. На обратном пути мы страшно мерзли, да и комнаты Бульвера казались нам недостаточно натопленными: мы

зашли в ресторан, чтобы согреться за стаканом пунша. Этот факт остался у меня в памяти потому, что я тут в первый раз увидел Корнелиуса в самом необузданно-веселом расположении духа. Пока мы веселились за пуншем, госпожа Калержи, как я понял, пустила в ход всю свою силу могущественной и неотразимой заступницы, чтобы пробудить в Бульвере активный ко мне интерес. В результате мне было сообщено, что последний предоставляет свою квартиру в мое распоряжение на три четверти года. Но, взвесив все обстоятельства, я должен был себе сказать, что едва ли смогу извлечь из этого какую-нибудь выгоду, так как, с другой стороны, у меня совершенно не было в Вене никаких видов на какой-либо заработок.

В это время решающее влияние на мои намерения оказало полученное из Петербурга приглашение продирижировать там в марте месяце двумя концертами Филармонического общества за гонорар в 2000 рублей серебром. Госпожа Калержи, участие которой сказалось и тут, настойчиво советовала принять это предложение, говоря, что я могу дать в Петербурге и самостоятельный концерт. Он, несомненно, будет иметь большой материальный успех и значительно увеличит мой доход. Удержать меня от принятия этого предложения могла бы только уверенность, что в течение ближайших месяцев «Тристан» будет поставлен в Вене.

Но между тем новая болезнь тенора Андера опять приостановила ход репетиций, и у меня пропала всякая вера в те перспективы, которые заставили меня приехать в Вену. Этому вскоре после моего приезда способствовал результат моего визита к министру Шмерлингу. Министр был очень удивлен, когда я сослался на рекомендацию князя Меттерниха. Князь ни слова не говорил ему обо мне. С большой галантностью объяснил он мне, что человек

с моими заслугами не нуждается ни в какой рекомендации. Когда я передал ему мысль князя Меттерниха об особом положении, какое мог бы предоставить мне в Вене император, он поторопился уверить меня в полном своем бессилии оказать влияние в этом направлении. Это признание фон Шмерлинга уяснило мне поведение князя Меттерниха. Я сообразил, что последний предпочел воздействие на оберкамергера в пользу серьезной постановки «Тристана» бесплодным хлопотам у министра.

436

Однако и эта перспектива теперь отодвигалась на неопределенное время, и я дал согласие на петербургское предложение. Но мне предстояло запастись для поездки деньгами. В этом смысле я возлагал большие надежды на концерт, который Генрих Поргес подготовлял для меня в Праге. В начале февраля я отправился туда и имел все основания радоваться приему, который я там встретил. Молодой Поргес, решительный почитатель Листа и сторонник моей музыки, очень мне понравился, как лично, так и проявленной по отношению ко мне услужливостью. Концерт, на котором, кроме бетховенской симфонии, были исполнены отрывки из моих новейших произведений, был дан в зале Sophieninsel[76] и имел хороший успех. Когда на следующий день Поргес вручил мне за вычетом небольших дополнительных расходов 1000 гульденов, я с громким смехом заявил, что это первые деньги, заработанные мной личным исполнением. Кроме того, он познакомил меня с некоторыми преданными и образованными молодыми людьми немецкой и чешской партии, между прочим с учителем математики Либлайном и писателем Музиолем. Очень тронула меня встреча со знакомой

[76] «Остров Софии» (*нем.*).

мне со времен ранней юности Марией Лёв. Перейдя окончательно от пения к арфе, она занимала в оркестре место арфистки и участвовала в моих концертах. Уже о первой постановке «Тангейзера» в Праге она сообщала мне с большим энтузиазмом. Теперь энтузиазм этот еще усилился, и в течение многих лет она проявляла по отношению ко мне трогательную внимательность.

С чувством удовлетворения и с вновь пробудившимися надеждами я поспешил обратно в Вену, чтобы окончательно решить вопрос о постановке «Тристана». На фортепьянной репетиции двух первых актов, которую опять оказалось возможным устроить в моем присутствии, весьма сносное исполнение тенором его роли повергло меня в истинное изумление. Госпоже Дустман я должен был выразить свою признательность за превосходную передачу трудной партии. Было решено, что опера моя будет поставлена после Пасхи, что вполне согласовалось с предполагаемым временем моего возвращения из России.

Надежда на большие доходы побудила меня снова вернуться к мысли о приобретении постоянной квартиры в тихом Бибрихе. Так как у меня оставалось еще некоторое время до поездки в Россию, я отправился на Рейн, чтобы по возможности устроить свои дела. Остановившись в доме Фрикхёфера, я в сопровождении Матильды Майер и приятельницы ее Луизы Вагнер объехал весь Рейнгау в поисках подходящего помещения. Не найдя ничего, я даже вошел в переговоры с Фрикхёфером относительно постройки небольшого домика на продававшемся неподалеку от его виллы участке земли. Тот самый Шюлер, с которым я познакомился через молодого Штэдля, как человек, сведущий в юридических и практических вопросах, взял это дело в свои руки. Была составлена смета, и сумма моих доходов в России должна была решить, можно ли с весны приступить к выполнению предприятия.

Так как к Пасхе я собирался освободить квартиру в доме Фрикхёфера, я распорядился об упаковке всей моей обстановки и отправке ее к мебельному торговцу в Висбаден, которому я был должен за нее большую часть денег.

437

Серов. Рубинштейн. Успехи

Преисполненный надежд, я отсюда отправился в Берлин, где тотчас же заявился к Бюловам. Козима, которой в ближайшем времени предстояло рождение ребенка, страшно мне обрадовалась. Несмотря на мои протесты, она потащила меня в музыкальную школу, где находился Ганс. Я вошел в продолговатый зал, в отдаленном конце которого Бюлов давал урок музыки. Остановившись в дверях, я долго стоял молча, пока Ганс не вскочил со своего места в величайшей досаде на непрошеного посетителя, но, узнав меня, разразился радостным смехом. Уговорившись встретиться за обедом, мы с Козимой покинули его и в хорошем настроении поехали кататься в прекрасном, взятом в Hotel de Russie экипаже, серая атласная обивка которого все время радовала наш глаз. Бюлов был смущен тем, что мне пришлось увидеть его жену беременной. Когда-то я высказал ему неприятное чувство, какое внушила мне в подобном положении одна из наших общих знакомых. Я совершенно успокоил его на этот счет, говоря, что в Козиме ничто не может подействовать на меня неприятно, и это привело нас в веселое настроение. Вечером друзья мои, разделявшие мои надежды и сердечно радовавшиеся новому повороту в моей судьбе, проводили меня на Кёнигсбергский вокзал.

В Кёнигсберге мне пришлось провести полдня и целую ночь. Не чувствуя никакого желания вновь посетить знакомые места некогда рокового для меня города, я провел

все время в комнате гостиницы, даже не поинтересовавшись местоположением ее, и на следующее утро продолжал свое путешествие в Россию. Чувствуя некоторое смущение при воспоминании о совершенном некогда противозаконном переходе этой границы, я внимательно разглядывал во время продолжительного переезда лица моих спутников. Среди них мое особенное внимание обратил на себя лифляндский дворянин немецкого происхождения, высказывавший самым резким тоном немецкого юнкера свое недовольство по поводу осуществленного русским императором освобождения крестьян. Мне стало ясно, что среди живущего в России немецкого дворянства освободительные стремления русских людей не найдут себе большой поддержки. Немалый испуг овладел мной, когда среди дороги поезд вдруг остановили и жандармы произвели осмотр вагонов. Обыск этот, как мне сказали, относился к нескольким лицам, которых подозревали в том, что они принимают участие в готовившемся тогда польском восстании. Неподалеку от столицы пустые места нашего вагона наполнились людьми, высокие русские меховые шапки которых казались мне тем более подозрительными, что владельцы их самым упорным образом разглядывали меня. Вдруг лицо одного из них прояснилось, и он с восторженным видом приветствовал меня, сказав, что выехал вместе с другими музыкантами Императорского оркестра мне навстречу. Это были чистокровные немцы. На вокзале в Петербурге нас ждало много других депутатов оркестра с комитетом Филармонического общества во главе, к которым меня и подвели с торжеством.

Для жительства мне рекомендовали немецкий пансион, находившийся в одном из домов на Невском проспекте. Хозяйка его, госпожа Кунст, жена немецкого купца,

приняла меня очень любезно. Она отвела мне лучшую комнату с видом на большую, оживленную улицу и окружила заботами и вниманием. Я обедал вместе с прочими пансионерами, и моим частым гостем был Александр Серов, с которым я познакомился еще в Люцерне. Он посетил меня, как только я приехал в Петербург. Здесь он занимал жалкое положение цензора немецких журналов. Этот небрежно одетый, болезненный и сильно бедствовавший человек заслужил мое уважение большой независимостью своего образа мыслей и своей правдивостью, которая в связи с выдающимся умом доставила ему, как я скоро узнал, положение одного из наиболее влиятельных и внушавших страх критиков. Я убедился в этом, когда ко мне обратились из высших сфер, чрезвычайно покровительствовавших Антону Рубинштейну, с просьбой оказать на Серова влияние в том смысле, чтобы он умерил резкость своих нападок на него. Когда я изложил ему эту просьбу, Серов представил мне все основания, почему он считает художественно-артистическую деятельность Рубинштейна в России столь губительной. Тогда я попросил его хоть ради меня прекратить на время эти преследования, так как при моем кратковременном пребывании в Петербурге мне было бы неприятно выступить соперником Рубинштейна. С запальчивостью больного человека он воскликнул: «Я его ненавижу и не могу идти на уступки».

Между мной и Серовым, напротив, существовало полное согласие. Меня самого, все мои стремления он понимал с такою ясностью, что нам оставалось беседовать только в шутливом тоне, так как в серьезных вопросах мы были с ним одного мнения. Ничто не может сравниться с той заботливостью, с какой он старался оказывать мне всяческую помощь. Он хлопотал о переводе на русский

язык текстов тех отрывков, которые были выбраны для пения из моих опер, а также моих объяснительных программ. Он оказал мне также чрезвычайно полезное содействие при выборе подходящих певцов. За все это он чувствовал себя достаточно вознагражденным, присутствуя на репетициях и концертах. Я всегда видел перед собой его сияющее лицо, действовавшее на меня бодрящим и оживляющим образом. Самый оркестр, который я собрал вокруг себя в большом и прекрасном зале Дворянского собрания, доставил мне величайшее удовлетворение. Он состоял из 120 избранных музыкантов: большей частью это были знающие свое дело художники, обычно играющие в оркестре итальянской оперы и балета и радостно вздохнувшие теперь, когда им представилась возможность заняться более благородной музыкой под таким управлением, как мое.

438

Фрейлейн фон Раден. Чтение «Мейстерзингеров» в великокняжеской семье

После значительного успеха первого концерта я получил доступ в те круги, в которых, как мне стало ясно, Мария Калержи тайно, но многозначительно старалась обратить на меня внимание. С чрезвычайной осторожностью моя покровительница предприняла те шаги, целью которых было добиться для меня представления Великой княгине Елене. Прежде всего мне предстояло воспользоваться рекомендацией Штандгартнера к его знакомому из Вены д-ру Арнету, лейб-медику Великой княгини. Через него я уже мог быть представлен госпоже фон Раден, самой приближенной фрейлине ее. Знакомство с этой дамой само по себе доставило мне удовлетворение. В ее лице я нашел женщину превосходного образования, большого

ума и благородной внешности. Ее все возраставший интерес ко мне проявлялся с некоторой робостью, что, по-видимому, следовало объяснить ее сомнениями относительно Великой княгини: она как будто чувствовала, что для меня должно быть сделано нечто более значительное, нежели то, чего можно ожидать от ума и характера ее повелительницы.

Я все еще не был представлен непосредственно Великой княгине, а получил сначала приглашение на вечер к ее придворной даме, на котором должна была присутствовать и она. После того как Антон Рубинштейн представил меня придворной даме, эта в свою очередь решилась подвести меня к Великой княгине. Все сошло довольно сносно, и вскоре я удостоился приглашения на чашку чая к Великой княгине. Здесь, кроме фрейлины фон Раден, я встретил другую придворную даму, госпожу Стааль, как и старого, добродушного господина, которого мне представили как генерала Бреверна, давнишнего друга Великой княгини. По-видимому, госпожа Раден пустила в ход большие усилия, чтобы принести мне пользу, и результат этих усилий сказался в том, что Великая княгиня пожелала ознакомиться через меня с «Кольцом нибелунга». Так как у меня не было с собой ни одного экземпляра поэмы, а приготовленное Вебером издание должно было выйти как раз теперь из печати, то в Лейпциг было тотчас же послано телеграфное требование прислать безотлагательно по адресу великокняжеского двора готовые листы. А пока мои покровители должны были удовольствоваться чтением «Мейстерзингеров». К этому чтению была привлечена и Великая княгиня Мария, известная своей неумеренной жизнью, чрезвычайно представительная, красивая дочь императора Николая. О том, как она поняла мою поэму, я узнал от фрейлины фон Раден: она все время волновалась о том, чтобы Ганс Сакс не вздумал жениться на Еве.

439

Генерал Бреверн. Граф Виельгорский

Через несколько дней пришли и отдельные листы «Кольца нибелунга», и интимный маленький кружок еще четыре раза собирался слушать поэму у Великой княгини. На эти чтения самым аккуратным образом являлся и генерал Бреверн, чтобы, как говорила госпожа Раден, «расцветать, как роза», в глубоком сне. Это служило веселой и красивой госпоже Стааль неистощимым материалом для шуток, когда я ночью провожал обеих дам по лестницам и бесчисленным коридорам в их отдаленные помещения.

Из влиятельных высокопоставленных лиц я познакомился еще с графом Виельгорским, который занимал высокий и доверенный пост при императорском дворе и был известен главным образом как покровитель музыки. Он считал себя выдающимся виолончелистом. Почтенный старик был расположен ко мне и абсолютно согласен с моей концепцией исполняемых мной вещей. Так, он уверял меня, что с Восьмой симфонией Бетховена (F-dur) ознакомился настоящим образом только в моем исполнении. Вступление к «Мейстерзингерам» он понял вполне. Напротив, в словах Великой княгини Марии, находившей эту вещь непонятной, но зато с необыкновенным увлечением отозвавшейся о вступлении к «Тристану», он видел одну аффектацию. Сам он постиг его, призвав на помощь все свои музыкальные познания. Когда я передал это Серову, он воскликнул с энтузиазмом: Ah! l’animal de Comte! Cette femme connait l’amour![77]

В честь меня граф дал блестящий обед, на котором присутствовали Антон Рубинштейн и госпожа Абаза.

---

[77] «Экая скотина ваш граф! Эта женщина понимает, что такое любовная страсть!» (*фр.*).

Когда я после обеда выразил желание услышать что-нибудь из рубинштейновской музыки, госпожа Абаза стала настаивать на исполнении его «Персидских песен», что, по-видимому, вызвало сильную досаду композитора, полагавшего, что среди его произведений найдутся еще и другие прекрасные вещи. Тем не менее как сама композиция, так и исполнение ее госпожой Абаза произвели на меня весьма благоприятное впечатление. Через эту певицу, состоявшую раньше при Великой княгине и потом вышедшую замуж за богатого и образованного русского вельможу, я попал в дом самого Абазы, где встретил прекрасный прием.

В то же время со мной познакомился и барон Фитингоф, музыкант-дилетант и энтузиаст, почтивший меня приглашениями к себе. У него в доме я встретился с Ингеборг Штарк, красивой, знакомой еще по Парижу шведкой-пианисткой и композиторшей. Она удивила меня той дерзкой веселостью, с какой, громко смеясь, исполняла композиции барона. Но в общем она держала себя серьезно, собираясь, по ее собственным словам, выйти замуж за Ганса фон Бронзарта. Сам Рубинштейн, с которым мы обменялись дружественными визитами, держал себя по отношению ко мне безусловно корректно. Мне только показалось, будто в словах его сквозила как бы тайная обида на меня, когда он говорил о своем намерении бросить свое положение в Петербурге, опостылевшее ему главным образом благодаря враждебности Серова. Для успеха бенефисного концерта, который я намеревался дать, меня считали нужным ввести в круг петербургского купечества. С этой целью я должен был посетить концерт в зале Купеческого собрания. Уже на лестнице меня встретил изрядно пьяный русский, отрекомендовавшийся мне капельмейстером. С небольшим оркестром, составленным из музыкантов Императорских театров, он исполнил,

между прочим, увертюры россиниевского «Телля» и веберовского «Оберона», причем литавры были заменены небольшим военным барабаном, что производило довольно странный эффект, особенно в увертюре к «Оберону».

440

Если находившимся в моем распоряжении оркестром я мог быть вполне доволен для своих собственных концертов, то с певцами дело обстояло довольно плохо. Партии сопрано вполне прилично исполняла госпожа Бианки. Но для теноровой партии мне приходилось довольствоваться неким Сетовым, обладавшим, правда, большим мужеством, но почти совершенно лишенным голоса. Все же благодаря ему оказалось возможным включить в программу сцену ковки меча из «Зигфрида»: его присутствие создавало впечатление пения, хотя главную роль при этом играл оркестр.

После обоих концертов Филармонического общества я принялся за устройство собственного концерта в помещении Императорской оперы. В хлопотах большую помощь оказал мне один отставной музыкант, целыми часами сидевший, часто в присутствии Серова, в моей натопленной комнате, не снимая огромной шубы. Так как он доставлял нам много возни своей непонятливостью, мы находили, что он представляет собой «овечку в волчьей шкуре».

Успех концерта превзошел все ожидания. Никогда еще, кажется, публика не принимала меня с таким энтузиазмом, как здесь. Уже в первый момент устроенный мне прием своей продолжительностью и бурностью совершенно смутил меня, что бывало со мной редко. Этому энтузиазму публики сильно способствовало пламенное одушевление самого оркестра, потому что именно музыканты все снова и снова возобновляли бешеную бурю аплодисментов. В Петербурге это, по-видимому, было явлением

необычным. Я слышал, как они обменивались восклицаниями: «Только теперь мы узнали, что такое музыка». Этим чрезвычайно благоприятным настроением воспользовался капельмейстер Шуберт, до сих пор довольно скромно помогавший мне своими деловыми советами, чтобы пригласить меня принять участие в его собственном бенефисном концерте. Досадуя на него за то, что он преследовал одну цель — из моего кармана переложить в свой новый богатый доход, которого можно было ожидать, я по совету друзей все-таки дал согласие на его просьбу. По прошествии восьми дней я повторил перед столь же многочисленной публикой и с таким же успехом наиболее любимые номера моей программы. На этот раз прекрасный доход в 3000 рублей должен был пойти на покрытие потребностей незначительного человечка, который, как бы в отомщение за нанесенный мне материальный ущерб, еще в том же году был отозван из этого мира.

441

Москва

Но зато меня ожидали новые успехи и доходы в Москве, относительно которой я заключил условие с генералом Львовым. Там мне предстояло дать три концерта в Большом театре, половина дохода с которых, гарантированная 1000 рублей за каждый, должна была идти в мою пользу. В оттепель, сменившуюся новым морозом, я, простуженный, в дурном настроении духа, прибыл в скверно расположенный немецкий пансион. Уладив некоторые детали с управляющим, показавшимся мне, несмотря на все его ордена, весьма незначительным человеком, и придя к соглашению с русским тенором и итальянской певицей относительно трудного выбора вещей для пения, я приступил к оркестровым репетициям. Здесь я прежде всего познакомился с младшим братом Антона Рубинштейна

Николаем, который в качестве директора Русского музыкального общества являлся авторитетным лицом в своей области. Музыкальный представитель Москвы, он держался по отношению ко мне все время скромно и предупредительно. Оркестр состоял из 100 музыкантов, обслуживавших Императорскую итальянскую оперу и балет, и в общем значительно уступал петербургскому. Впрочем, я и среди них нашел небольшое количество весьма дельных и страстно преданных мне квартетистов, среди которых встретил старого, со времен Риги знакомого, славившегося своим остроумием виолончелиста фон Лютцау. Но больше всего меня радовал скрипач Альбрехт, брат того самого господина, который так напугал меня своей русской меховой шапкой, когда я подъезжал к Петербургу.

Но эти немногие лица не могли заставить меня не смотреть на мою работу, на отношения с московским оркестром как на некоторое унижение. Я трудился изо всех сил, не извлекая из этого никакой радости. К этому прибавилось еще раздражение, которое вызывал во мне русский тенор, являвшийся на репетиции в красной рубахе, чтобы выразить свою патриотическую антипатию к моей музыке, и певший по-русски песни Зигфрида в усвоенной им пошлой итальянской манере. В день первого концерта я с утра почувствовал сильную лихорадку и должен был отложить концерт. В занесенном снегом городе было невозможно принять все меры для своевременного оповещения об этом публики, и я узнал, что вечером был большой съезд блестящих экипажей, что многие выражали свое неудовольствие. Отдохнув дня два, я решил дать все три условленных по контракту концерта в течение шести вечеров. К такому крайнему напряжению сил меня особенно побуждало желание как можно скорее покончить со всем этим предприятием, казавшимся совершенно меня недостойным. Несмотря на то что Большой театр

был переполнен блестящей публикой, какой я нигде больше не видал, все же, по расчетам дирекции, на мою долю пришлось не больше гарантированной мне суммы. Но я чувствовал себя вознагражденным оказанным блестящим приемом и особенно громадным энтузиазмом, который проявил по отношению ко мне оркестр. Избранная им депутация обратилась ко мне с просьбой дать еще четвертый концерт. Когда я отказался от этого, меня пытались уговорить устроить хотя бы одну «репетицию», что я тоже должен был с улыбкой отклонить.

Однако оркестр чествовал меня специально устроенным банкетом, закончившимся, после того как Николай Рубинштейн произнес весьма удачную и теплую речь, довольно яркими проявлениями восторга. Кто-то посадил меня к себе на плечи и пронес через всю залу. Поднялись крик и шум, каждый хотел оказать мне то же внимание. Здесь же мне поднесли купленный оркестровыми музыкантами вскладчину почетный подарок: золотую табакерку, на которой были выгравированы слова Зигмунда из «Валькирии»: Doch Einer kam. Я благодарил за подарок, поднеся в свою очередь оркестру свой довольно большой фотографический портрет, на котором написал строфу, предшествующую предыдущему: Keiner ging.

Вследствие рекомендации и весьма многозначительного отзыва г-жи Калержи я имел возможность вне музыкального мира познакомиться с князем Одоевским. В лице этого человека я должен был, по словам моей приятельницы, встретить благороднейшего из людей, который вполне поймет меня. В самом деле, попав после бесконечно долгой, чрезвычайно утомительной езды в его скромную квартиру, я был принят всей семьей, сидевшей за обеденным столом, с патриархальной простотой. Однако дать ему представление о моих идеях и намерениях оказалось чрезвычайно трудно. Его же собственные вкусы

проявились только в том, что он стал мне показывать стоявший в обширном зале огромный, похожий на орган инструмент, который был изобретен и изготовлен по его указаниям. К сожалению, не было никого, кто умел бы на нем играть. Все-таки я должен был составить себе представление о богослужении, которое, по какой-то его собственной системе, под аккомпанемент этого инструмента совершалось каждое воскресенье для его родственников и знакомых. Помня о своей покровительнице, я пытался открыть добродушному князю глаза на мое положение и цель моих стремлений. С весьма заинтересованным видом он воскликнул: J'ai ce qu'il vous faut, parlez a Wolffsohn![78] По наведенным справкам оказалось, что этот ангел-хранитель, к которому князь направил меня, был отнюдь не банкир, а русско-еврейский романист.

442

Надежды и разочарование

Тем не менее мои доходы, включая и предстоявший еще значительный заработок в Петербурге, давали мне возможность осуществить план постройки дома в Бибрихе, и поэтому еще из Москвы, которую я покинул после десятидневного пребывания в ней, я послал соответствующую телеграмму моему уполномоченному в Висбаден. Я переслал 1000 рублей Минне, жаловавшейся на большие расходы, которых потребовало устройство в Дрездене.

Против ожидания меня по приезде в Петербург сейчас же встретили большие неприятности. Со всех сторон я слышал советы не назначать бенефисного концерта на второй день Пасхи, потому что русское общество, согласно обычаю, посвящает этот день развлечениям в семейном кругу. С другой стороны, у меня не было никакой возможности

---

[78] «У меня есть то, что Вам нужно; поговорите с Вольфзоном!» (*фр.*).

отказаться от концерта в пользу заключенных петербургского долгового отделения, назначенного на третий день после моего, так как приглашение это, весьма настойчивое, шло от самой Великой княгини Елены. На этот концерт, находившийся под столь высоким покровительством, весь Петербург считал долгом явиться, и все билеты были распроданы заранее. Мне же в почти пустом зале Благородного собрания пришлось удовольствоваться сбором, к счастью, покрывшим все мои издержки. Зато концерт в пользу заключенных в долговом отделении прошел особенно торжественно: генерал Суворов, человек необыкновенной красоты, притом же губернатор Петербурга, вручил мне от имени заключенных в знак их благодарности прекрасной работы серебряный рог для питья.

Я начал свои прощальные визиты. Фрейлина фон Раден выказала мне под конец очень много участия. Чтобы вознаградить меня за материальную неудачу, Великая княгиня прислала мне через нее 1000 рублей, причем намекнула, что будет делать такие же подарки ежегодно до тех пор, пока мое внешнее положение не изменится к лучшему. Видя такое расположение к себе, я пожалел, что завязавшимся у меня в Петербурге отношениям не суждено иметь более основательных и богатых результатами последствий. Я попросил госпожу Раден предложить Великой княгине приглашать меня ежегодно на несколько месяцев в Петербург: я посвятил бы свои силы и способности устройству концертов и театральных представлений за соответствующее жалованье. На это я получил уклончивый ответ. Еще накануне отъезда я сообщил моей любезной посреднице свой план поселения в Бибрихе, причем не скрыл от нее опасения, что, если я потрачу на это заработанные в России деньги, положение мое останется таким же, каким было до сих пор, и что поэтому не будет ли благоразумнее отказаться от этой постройки.

В ответ на это она воскликнула с энтузиазмом: «Стройте и надейтесь!» В последний момент перед отъездом на вокзал я с чувством благодарности написал ей, что теперь я знаю, как мне быть.

Так я покинул Петербург в конце апреля, сопутствуемый самыми сердечными пожеланиями Серова и полных энтузиазма оркестровых музыкантов. Минуя Ригу, куда меня приглашали на концерт, я направился по пустынной русской равнине прямо к границе. В Вержболове меня ждала телеграмма от госпожи Раден, которая в ответ на мою последнюю записку считала нужным предостеречь меня следующими словами: «Не слишком смело». Этого было достаточно для того, чтобы сомнения относительно проектируемой постройки возникли во мне с новой силой.

443

Назад в Берлин

Не останавливаясь нигде, я приехал в Берлин и сейчас же отправился на квартиру Бюлова. В течение последних месяцев я не имел никаких известий о здоровье Козимы и с большой тревогой позвонил у дверей ее квартиры. Отворившая мне горничная не впустила меня, говоря, что «барыня нездорова». «Она действительно больна?» — спросил я. Получив уклончивый, сопровождаемый улыбкой ответ, я сейчас же понял, в чем дело. Поспешно я прошел к Козиме, которая, разрешившись давно уже дочерью Бландиной, теперь чувствовала себя здоровой и лишь не принимала обыкновенных посещений. Все, казалось, шло хорошо. Даже Ганс был весел и выразил надежду, что мои успехи в России избавят меня на долгое время от забот. Эту надежду я считал бы основательной лишь в том случае, если бы мое желание ежегодно получать приглашения в Петербург на несколько месяцев могло

получить осуществление. А между тем подробное письмо, которое госпожа Раден послала мне вслед за телеграммой, ясно говорило, что в этом смысле мне нечего рассчитывать ни на какие обещания. Определенный тон письма побудил меня серьезно обсудить состояние моих капиталов, составлявших за вычетом расходов по разъездам и пребыванию в Петербурге, а также сумм, высланных Минне и моему висбаденскому мебельному торговцу в уплату долга, немногим более 4000 талеров. Само собой разумеется, приходилось отказаться от покупки участка земли и постройки дома. Однако прекрасное самочувствие и настроение Козимы заглушили во мне все заботы. В самом веселом расположении духа мы опять совершили в прекрасном экипаже прогулку по аллеям Тиргартена, закончив ее веселым обедом в Hotel de Russie. Мы решили, что дурные времена остались позади.

444

Как бы то ни было, прежде всего надо было вернуться в Вену. Недавно я получил оттуда извещение, что «Тристан» снова откладывается, на этот раз по случаю болезни г-жи Дустман. Я видел, что за этим делом надо следить на месте. Ни с одним из немецких городов я не завязывал столь близких сношений, как с Веной, и я считал этот город подходящей для себя ареной деятельности. Таузиг, которого я нашел в блестящих условиях жизни, вполне одобрил мое намерение и еще утвердил меня в нем, обязавшись найти в окрестностях Вены уютное и спокойное помещение, которого я так жаждал.

При помощи своего домохозяина он исполнил это самым удачным образом. В Пенцинге он нашел скромный и красивый дом старого барона фон Раковица, в котором за 1200 гульденов в год в мое распоряжение был предоставлен весь верхний этаж, а также исключительное пользование

довольно большим тенистым садом. Дом этот являлся для меня весьма желанным приютом. Домоправителя Франца Мразека, очень льстивого человека, и жену его Анну, чрезвычайно способную и вкрадчивую особу, я сейчас же взял к себе в услужение, в котором они оставались долгие годы при самых переменчивых обстоятельствах моей жизни. Теперь мне снова предстояли расходы: надо было устроить этот обретенный, желанный приют возможно уютнее для покоя и работы. Я выписал из Бибриха остатки сохранившейся обстановки вместе с теми вещами, которые были куплены в Висбадене для пополнения ее, а также рояль «Эрар».

В чудесный весенний день 12 мая я переехал на новую квартиру, на устройство которой у меня ушло немало времени. Здесь завязались мои сношения с Philipp Haas & Söhne, принявшие с течением времени столь серьезные масштабы. Пока заботы и хлопоты по устройству приюта, возбуждавшего столь радужные надежды, приводили меня в самое лучшее настроение. Музыкальный зал с роялем и гравюрами по Рафаэлю, оставшимися на мою долю при Бибрихском разделе, был уже готов, когда 22 мая я отпраздновал пятидесятый год своего рождения. Вечером при свете иллюминации Торговое певческое общество почтило меня серенадой, а депутация от студентов приветствовала пламенной речью. Я велел принести вина, и все сошло очень хорошо. Чета Мразек весьма сносно вела мое хозяйство. Анна своим кулинарным искусством давала мне возможность часто видеть у себя за обедом Таузига и Корнелиуса.

445

Неприятности с Минной

К сожалению, мне опять пришлось вынести большие неприятности от Минны, осыпавшей меня горячими упреками за все, что я ни делал. Так как я раз навсегда отказался

отвечать ей лично, то и на этот раз я написал ее дочери Натали, все еще официально не признаваемой, напомнив о принятом в прошлом году решении.

Насколько мне не хватало заботливой женской руки для ведения дома, стало для меня ясно лишь тогда, когда я написал Матильде Майер в Майнц, приглашая ее приехать ко мне и своим присутствием восполнить те недочеты, которые она у меня найдет. Эту добрую приятельницу я считал рассудительной женщиной, и не сомневался, что, не испытывая ни малейшего стеснения, она хорошо поймет мое намерение. Я не ошибся. Но я не принял в соображение ее мать и всю окружающую буржуазную обстановку. Мое предложение вызвало величайшее возбуждение, потребовавшее в конце концов вмешательства приятельницы Матильды, Луизы Вагнер. Со свойственной ей рассудительностью и точностью она посоветовала мне развестись сначала с женой, после чего все остальное уже легко будет устроить. Это меня так испугало, что я сейчас же взял назад свое необдуманное предложение и постарался, как мог, рассеять вызванное мной волнение.

С другой стороны, Фридерика Майер бессознательно для самой себя продолжала внушать мне сильную тревогу своей совершенно непонятной участью. После того как минувшей зимой она с большой пользой провела несколько месяцев в Венеции, я написал ей из Петербурга и высказал свое желание встретиться с ней в Берлине у Бюловов. Зная интерес, с каким отнеслась к ней Козима, я по зрелом размышлении решил, что мы сообща обсудим при этом свидании, что можно предпринять для упорядочения сильно поколебленного жизненного положения моей приятельницы. На это свидание она не явилась, сообщив, что состояние ее здоровья сильно мешает ее артистической карьере, что она поселилась на время у своей подруги

в Кобурге, где старается поддержать свое существование случайными выступлениями в тамошнем маленьком театре. С предложением, какое я послал Матильде Майер, я к ней, по многим причинам, обратиться не мог. Вместе с тем она выразила сильнейшее желание встретиться со мной на короткое время, уверяя, что после этого оставит меня в покое навсегда. Мне казалось бесцельным сейчас же удовлетворить ее фантастическое желание. Я обещал устроить это потом. В течение лета она из различных мест повторила ту же настойчивую просьбу, пока, намереваясь дать поздней осенью концерт в Карлсруэ, я не назначил ей время и место для свидания, к которому она так стремилась. На это не последовало никакого ответа. Вообще, от этой странной и неспокойной моей приятельницы я больше никаких признаков жизни не получал, а так как местопребывание ее было мне неизвестно, то отношения между нами я считал окончательно порванными. Лишь много лет спустя мне стала известна тайна ее чрезвычайно затруднительного положения. Я понял, что она стеснялась открыть мне правду существовавших между ней и фон Гуаитой отношений. Оказалось, что он имел на нее гораздо больше прав, чем я предполагал, и теперь своим безвыходным положением она была вынуждена искать последнего прибежища у этого человека, все же серьезно ей преданного. Я узнал, что, тайно обвенчавшись с Гуаитой, она с двумя детьми незаметно проводит жизнь в небольшом поместье на Рейне, уйдя не только от театра, но и от всего мира.

446

Мне все еще не удавалось найти то спокойствие, необходимое для работы, которое я подготовлял торжественно и с такими усилиями. Совершенный у меня грабеж

со взломом, предметом которого стала подаренная мне московскими музыкантами золотая табакерка, снова вызвал во мне желание обзавестись собакой. Мой любезный старик-домохозяин уступил мне старого охотничьего пса, давно уже находившегося у него в пренебрежении, одно из симпатичнейших и великолепнейших животных, с какими мне когда-либо приходилось иметь дело. С ним, с Полем, я ежедневно предпринимал дальние прогулки пешком, к которым так располагали прекрасные окрестности. Я жил довольно уединенно, так как Таузига продолжительная и тяжелая болезнь приковала к постели, а Корнелиус лежал с раной на ноге, которую он получил во время поездки в Пенцинг, сходя неосторожно с омнибуса. Дружеские сношения я поддерживал по-прежнему с Штандгартнером и его семьей. Кроме того, по случаю устроенной им серенады Торгового певческого кружка ко мне примкнул и младший брат Генриха Поргеса, Фритц, начинающий врач, довольно симпатичный человек.

Я убедился, что о постановке «Тристана» в венском оперном театре больше нечего и думать, так как болезнь г-жи Дустман служила только предлогом, действительной же причиной прекращения репетиций было полное отсутствие голоса у Андера. Честный капельмейстер Эссер неустанно пытался убедить меня передать роль Тристана другому тенору, Вальтеру. Но последний был мне так неприятен, что я не мог себя заставить послушать его хоть раз в «Лоэнгрине». Вот почему я предал все предприятие полному забвению, ожидая подходящего настроения, чтобы возобновить работу над «Мейстерзингерами». Прежде всего я принялся за ту часть первого акта, из которой я раньше инструментовал только несколько отрывков. Вместе с тем с приближением лета ко всем моим мыслям и ощущениям стала примешиваться материальная забота о будущем.

Я видел, что, исполняя свои обязательства, в особенности по отношению к Минне, я скоро вынужден буду предпринять что-нибудь для нового заработка.

Поэтому неожиданно полученное приглашение от дирекции Пештского национального театра дать там два концерта явилось для меня как нельзя более кстати. В конце июля я отправился в столицу Венгрии, где меня встретил совершенно незнакомый мне управляющий тамошним театром Раднотфай. Ременьи, в свое время покровительствуемый Листом и действительно не лишенный таланта скрипач-виртуоз, неумеренно-восторженным образом выражавший мне свою преданность, заявил мне, что приглашение было послано исключительно благодаря его стараниям. Особенной выгоды эти два концерта не могли мне принести, так как я согласился на предложенное мне вознаграждение в 500 гульденов за каждый, но художественно-артистический их успех, как и значительный интерес публики к ним, доставили мне большое удовлетворение. В Будапеште, где еще царила сильная мадьярская оппозиция против Австрии, я познакомился с несколькими представительными, даровитыми молодыми людьми, из которых у меня сохранилось особенно хорошее дружеское воспоминание о Рости. Эти молодые люди устроили в честь меня в небольшом интимном кружке идиллический обед на одном из островов Дуная. Мы расположились там, словно для патриархального торжества, под тенью векового дуба. Торжественную речь произнес молодой адвокат, имя которого я, к сожалению, забыл. Он поверг меня в изумление и глубоко растрогал не только своим пламенным красноречием, но и истинной возвышенностью и серьезностью своих мыслей, свидетельствовавших об основательном знакомстве с моими работами и моей деятельностью. Обратный путь мы совершили по Дунаю на маленьких быстроходных лодочках спортивного Общества гребцов,

членами которого состояли чествовавшие меня молодые люди. Во время переезда нас застигла гроза с бурей, всколыхнувшей могучие воды реки.

В нашем обществе находилась одна дама, графиня Бетлен-Габор, сидевшая со мной в узенькой лодочке, которой управлял Рости с одним из своих друзей. Обоих гребцов охватила сильная тревога, чтобы лодку не разбило об один из плотов, на которые нас несло волнами, и они употребили все усилия держаться подальше от них. Я же единственное спасение для сидящей рядом со мной дамы видел именно в том, чтобы попасть на такой плот. Вопреки желанию гребцов, я воспользовался моментом и ухватился рукой за выдававшийся на плоту кол и остановил лодку. Перепуганные гребцы вскрикнули, что «Эллида» погибла. Не теряя времени, я быстро поднял и вынес из лодки даму и, предоставив друзьям спасать «Эллиду», сам зашагал спокойно под проливным дождем сначала по плотам, а потом вдоль берега по направлению к городу. Мое поведение произвело впечатление на моих друзей и до некоторой степени увеличило мой престиж в их глазах. Был устроен еще один, более торжественный банкет в публичном саду, число участников которого было гораздо значительнее. Здесь меня чествовали совершенно по-венгерски. Громадный цыганский оркестр заиграл при моем приближении «Ракоци-марш» под бурные возгласы Eljen [79] всех присутствующих. И тут были произнесены пламенные и компетентные речи обо мне и моей деятельности, выходящей далеко за пределы Германии. Вступления к этим речам произносились всякий раз на венгерском языке, как бы в извинение того, что главные мысли выражались на немецком. Называли меня при этом не Рихард Вагнер, а Вагнер Рихард.

[79] Да здравствует! (*венгр.*).

447

Доход от будапештских концертов

Высшее военное начальство в лице фельдмаршала Коронини тоже сочло нужным почтить меня: граф пригласил меня в замок Офен, желая представить мне все наличествующие военно-музыкальные силы. Граф и графиня приняли меня очень радушно, угостили мороженым и провели на балкон, откуда я должен был прослушать концерт объединенных военных оркестров. Все вместе произвело на меня чрезвычайно освежающее впечатление, и мне почти жаль было возвращаться из юношески оживленной атмосферы, в какой представился мне Будапешт, в мой молчаливый, затхлый приют в Вене. Уезжая обратно домой в начале августа, я часть пути совершил в обществе моего парижского знакомого фон Зеебаха, любезного саксонского посланника. Он очень жаловался на громадные убытки, в которые его вводит управление имениями, принесенными ему в приданое женой и расположенными в Южной России, откуда он сейчас возвращался. Я же, напротив, старался совершенно успокоить его разговорами о собственном положении, что очень ему понравилось.

Незначительный доход от будапештских концертов, из которого мне удалось привезти в Вену только половину, не мог успокоить меня относительно будущего. Теперь, когда все мои капиталы были потрачены на устройство приюта, рассчитанного, как мне казалось, на долгий срок, мне надо было обеспечить себя ежегодным, не чрезмерно большим, но верным доходом. Отнюдь не чувствуя склонности поставить крест на своих связях с Петербургом и планах, на них основанных, я вместе с тем полагал, что не следует оставлять без внимания и уверения Ременьи, хваставшего своим влиянием в мире венгерских магнатов. Он сказал мне, что без особенного труда можно будет выхлопотать

для меня в Будапеште подобную ежегодную пенсию с обязательствами, какие я имел в виду для Петербурга. И действительно, вскоре после моего возвращения в Пенцинг он посетил меня в сопровождении своего приемного сына, молодого Плотени, выдающаяся красота и любезность которого произвели на меня очень хорошее впечатление. Что касается приемного отца, то, хотя он и вызвал мой восторг гениальным исполнением на скрипке «Ракоци-марша», я скоро увидел, что его блестящие обещания, рассчитанные больше на минутный эффект, не заключали в себе никакого активного намерения. Позднее мы совершенно потеряли друг друга из виду.

448

Вынужденный заняться обдумыванием плана концертного турне, я при наступившей сильной жаре наслаждался тенью своего сада, а по вечерам в сопровождении верной собаки Поля предпринимал далекие прогулки, излюбленной целью которых была пастушья хижина на пастбище святого Вита, где я пил прекрасное молоко. Мой небольшой кружок друзей ограничивался в это время лишь Корнелиусом да выздоровевшим наконец Таузигом, который, впрочем, скоро исчез у меня из глаз на продолжительное время, заведя знакомства среди богатых офицеров австрийской службы. Зато в течение некоторого времени меня сопровождал на прогулках, наряду с младшим, также и старший Поргес. Изредка меня посещала моя племянница Оттилия Брокгауз, жившая в родственной ей по матери семье Генриха Лаубе.

Но как только я принимался серьезно за работу, меня снова начинали одолевать тяжелые заботы о спокойном будущем. Ввиду того что о новой поездке в Россию раньше Пасхи будущего года нечего было и думать, я пока мог рассчитывать только на немецкие города. С разных сторон,

например, из Дармштадта, я получал определенно отрицательные ответы. Из Карлсруэ, куда я обратился непосредственно к Великому герцогу, мне сделали предложение отсрочить свое намерение. Но сильнее всего поколебалась моя уверенность, когда, запросив в Петербурге относительно плана, который я там предпринял и осуществление которого обеспечило бы меня определенным доходом, я получил решительный отказ. Вспыхнувшее летом польское восстание парализовало, как мне сообщали, все силы для каких бы то ни было художественно-артистических предприятий. Утешительнее были известия из Москвы, где мне обещали на будущий год несколько хороших концертов. Теперь я вспомнил, что певец Сетов весьма рекомендовал мне поездку в Киев, говоря, что она может дать выгодные результаты. Вступив в переписку с Киевом, я получил ответ, в котором мне тоже советовали ждать до Пасхи будущего года, когда все малороссийское дворянство соберется в этом городе. Это были все отдаленные планы и, полагаясь на них, я мог окончательно потерять всякое спокойствие, столь необходимое для работы. Как бы то ни было, меня ожидали большие заботы: надо было достать денег как для себя, так и для Минны. К надеждам как-нибудь устроиться в Вене я должен был относиться с величайшей осторожностью, и с приближением осени мне не оставалось ничего другого, как искать денег, в чем помог мне весьма опытный в этих делах Таузиг.

449

Мне должна была прийти в голову мысль расстаться с квартирой в Пенцинге. Но всякий раз вставал вопрос: куда деваться? Если иной раз и являлось настроение, благоприятное для творческой работы, заботы все снова и снова убивали его, и не оставалось ничего, как приняться за изучение «Истории древности» Дункера. Наконец все мое

время стало уходить на переписку по поводу концертов. Генриху Поргесу опять пришлось взять на себя хлопоты в Праге. Впрочем, он предложил мне концерт в Лёвенберге, который можно было устроить при большом сочувствии тамошнего князя фон Гогенцоллерна. Мне рекомендовали, кроме того, обратиться к Гансу фон Бронзарту, управлявшему в Дрездене оркестром частного музыкального общества. Он с большой готовностью пошел навстречу моему предложению, и мы условились о времени и программе концерта, который будет дан в Дрездене под моим управлением. Так как и Великий герцог Баденский предоставил в мое распоряжение свой театр для устройства концерта в Карлсруэ в ноябре, я полагал, что в этом направлении пока сделано достаточно, что я могу направить свои усилия в другую сторону.

Я написал для фрёбелевской газеты Der Botschafter большую статью о Венской Придворной опере, в которой изложил проект основательной реформы чрезвычайно плохо поставленного учреждения. Вся пресса признала мой проект превосходным, и даже в высших административных кругах статья произвела некоторое впечатление. От своего друга Рудольфа Лихтенштейна я скоро узнал, что с ним вошли в переговоры о передаче ему должности интенданта императорских театров, что, конечно, находилось в связи с предположением привлечь и меня к руководительству Придворной оперой. Между прочим, проект все-таки был отвергнут из опасения, чтобы под управлением Лихтенштейна публике не пришлось слушать исключительно «вагнеровские оперы».

450

Вилла Виардо. Тургенев

Я почувствовал облегчение, когда пришлось отправиться в концертное турне и можно было наконец вырваться

из гнетущего своей неопределенностью выжидательного положения. В начале ноября я приехал в Прагу, чтобы снова попытать счастья в смысле хорошего дохода. К сожалению, на этот раз Генрих Поргес не взял в свои руки организацию концерта, а заменившие его учителя, чрезвычайно занятые в своих школах, не обладали достаточной опытностью в этом деле. Расходы увеличились, доход же уменьшился, так как устроители концерта не решались назначить прежние высокие цены. Я хотел вознаградить себя вторым концертом через несколько дней после первого и осуществил свое намерение вопреки уговорам друзей. Оказалось, что друзья были правы. Доход едва покрыл мои издержки, и так как мне надо было вырученные с первого концерта деньги послать в Вену в уплату по оставленному там векселю, то теперь оставалось только принять помощь предложившего свои услуги банкира, чтобы расплатиться в гостинице и иметь возможность ехать дальше.

В соответствующем такому положению дел настроении я направил свой дальнейший путь в Карлсруэ. Путешествие это через Нюрнберг и Штутгарт протекло чрезвычайно неприятно, при большом холоде и с постоянными запозданиями. В Карлсруэ вокруг меня сейчас же собрались друзья, которых привлек сюда слух о предстоящем концерте: неизменный гость Рихард Поль из Бадена, Матильда Майер, госпожа Бетти Шотт, моя издательница, Рафф из Висбадена, Эмилия Генаст и получивший недавно место капельмейстера в Штутгарте Карл Экерт. Первый концерт, назначенный на 14 ноября, доставил мне много неприятностей из-за певцов: баритон Хаузер, который должен был спеть «Прощание Вотана» и песнь Ганса Сакса за работой, заболел, и его пришлось заменить безголосым, но набившим руку опереточным певцом, что, по мнению Эдуарда Девриента, не составляло разницы. Девриент,

с которым я общался только в самом официальном тоне, проявил большую корректность в заботах об устройстве согласно моим указаниям помещения для оркестра. Вообще, поскольку это зависело от оркестра, концерт прошел очень хорошо, так что Великий герцог, чрезвычайно благосклонно принявший меня в своей ложе, пожелал повторения его через неделю. Я сейчас же высказал свои соображения против этого: опыт показал, что большой наплыв публики на подобных концертах, особенно при высоких ценах, объясняется главным образом любопытством, заставляющим съезжаться иногда даже издалека, между тем как настоящие ценители искусства и действительно интересующиеся делом составляют обыкновенно лишь незначительное меньшинство. Однако Великий герцог настаивал на своем, желая доставить наслаждение своей теще, королеве Августе, которую ожидали через несколько дней.

Особенно тягостной казалась мне необходимость одиноко провести столько времени в гостинице. Но Мария Калержи, только что вышедшая замуж за Муханова, к моей большой радости тоже приехавшая в Карлсруэ, любезно пошла мне навстречу, пригласив к себе в Баден-Баден, где она сейчас жила. Там моя приятельница встретила меня на вокзале и предложила сопровождать меня в город. Я счел своим долгом отказаться от этой любезности, так как полагал, что выгляжу недостаточно прилично в своей «разбойничьей шляпе». Заявив мне: «Мы все здесь ходим в таких разбойничьих шляпах», она повела меня под руку на виллу Полины Виардо, где мы и пообедали, так как моя приятельница еще не успела вполне устроиться в собственном доме. Здесь я познакомился с русским писателем Тургеневым. Своего супруга госпожа Муханова представила мне, ожидая с любопытством, что я скажу о ее замужестве. Она все время старалась

поддерживать интересную для меня беседу, в чем ей помогали и окружающие светски опытные люди.

Чрезвычайно удовлетворенный любезностью моей приятельницы и покровительницы, я покинул Баден, чтобы остановиться на короткое время в Цюрихе, где рассчитывал несколько отдохнуть в доме Везендонков. Мы детально обсудили мое положение, но мысль помочь мне выйти из него не приходила в голову моим друзьям. Я отправился обратно в Карлсруэ, где 19 ноября дал второй концерт, как и можно было предвидеть, при весьма небольшом стечении публики. Одна королева Августа, по мнению великогерцогской четы, должна была рассеять те неприятные ощущения, которые могли у меня возникнуть. Я опять был приглашен в великогерцогскую ложу, где все члены семьи собрались вокруг королевы, носившей на голове в виде украшения синюю розу и обратившейся ко мне с похвалами, к которым весь баденский двор прислушивался с величайшим вниманием. Только когда от общих мест надо было перейти к частностям, высокая гостья уступила слово своей дочери, которая, сказала она, больше смыслит в этом, чем она. На следующий день мне прислали мою долю чистого дохода, составившую сумму в 100 гульденов. Я сейчас же купил себе на эти деньги шубу. За нее просили 110 гульденов, но мне удалось выторговать 10, сославшись на то, что доход с концерта равен предлагаемой мной сумме. Затем мне был прислан подарок от Великого герцога: золотая табакерка со вложением 15 луидоров. Выразив письменно свою благодарность, я спросил себя, следует ли после всех горестных утомлений последних недель увеличивать ряд испытанных разочарований концертом в Дрездене. Многое, почти все, что приходилось иметь в виду при обсуждении этого вопроса, заставило меня собраться с духом и в последнюю минуту написать Гансу фон Бронзарту, с дружеской любезностью

хлопотавшему об устройстве концерта, чтобы он отменил все приготовления и не ожидал моего приезда. Он отнесся к этому неожиданному распоряжению чрезвычайно прилично, хотя, наверное, оно доставило ему большие затруднения.

451

Свидание с Козимой

Я решил еще раз попытать счастья с фирмой Шоттов в Майнце и отправился туда ночным поездом. Семья Матильды Майер дружески предложила мне свое гостеприимство на время моего пребывания в Майнце и настояла на том, чтобы я остановился в их маленькой квартире в Картхойзергассе, где я провел день и ночь, окруженный самым милым уходом. Отсюда я предпринял новый набег на контору издательства Шотта, не увенчавшийся, однако, особенным успехом. Я отказывался издать отдельно отрывки моих новейших произведений, извлеченные и аранжированные для концертных целей.

Так как единственное, на что я мог рассчитывать, был концерт в Лёвенберге, я направился туда. Но чтобы миновать Дрезден, я сделал маленький крюк через Берлин, куда прибыл, очень утомленный, рано утром 28 ноября. Бюловы, встретившие меня, согласно моей просьбе, на вокзале, стали меня настойчиво убеждать отложить дальнейшее путешествие в Силезию на день, чтобы провести это время с ними. Ганс желал, чтобы я присутствовал на имеющем быть в тот же вечер концерте, где он должен был дирижировать, и это, собственно, и заставило меня остаться. Был холодный, сырой, пасмурный день. Мы беседовали о моем затруднительном положении, стараясь сохранить хорошее расположение духа. Чтобы увеличить мой наличный капитал, было решено дать подаренную мне

Великим герцогом Баденским золотую табакерку нашему старому другу, добряку Вайцману, с поручением продать ее. В отеле Brandenburg[80], где я обедал с Бюловами, мне были вручены полученные от этой продажи 90 талеров. Это неожиданное подкрепление моих финансов вызвало немало шуток.

Так как Бюлов был занят приготовлениями к концерту, мы с Козимой поехали в прекрасном экипаже кататься. На этот раз нам было не до шуток: мы молча глядели друг другу в глаза, и страстная потребность признания овладела нами. Но слова оказывались лишними. Сознание тяготеющего над нами безграничного несчастья выступило с полной отчетливостью. Нам стало легче. Глубокое спокойствие снизошло в наши души, дав нам возможность без прежней тоски присутствовать на концерте, а до совершенства тонкое и полное огня исполнение небольшой концертной увертюры Бетховена (C-dur), как и увертюры Глюка к «Парису и Елене», тоже глубоко разработанной Гансом, приковали к себе все мое внимание. Мы заметили Альвину Фромман и во время перерыва встретились с ней на большой лестнице концертного зала. Когда началась вторая часть концерта и лестница опустела, мы, устроившись на одной из ступенек ее, долго просидели в интимной беседе со старой приятельницей. После концерта мы были приглашены к нашему другу Вайцману на ужин, который своим обилием и продолжительностью, в то время, когда мы так нуждались в величайшем душевном покое, привел нас в яростное отчаяние. Но вот пришел конец и ему. Проведя ночь у Бюловов, я наутро пустился в дальнейший путь. Прощаясь, я невольно вспомнил первое расставание с Козимой в Цюрихе, странно меня взволновавшее, и протекшие годы показались мне смутным сном,

[80] «Бранденбург».

разделившим два жизненных момента величайшего значения. Если тогда неосознанные, но полные предчувствий ощущения заставляли нас молчать, то не менее невозможным казалось теперь найти выражения для того, что ощущалось и понималось без помощи слов.

452

Бреслау

На одной из железнодорожных станций Силезии меня встретил капельмейстер Зайфриц и отвез в княжеском экипаже в Лёвенберг. Старый князь фон Гогенцоллерн-Хехинген, благодаря своей большой дружбе с Листом благосклонно расположенный ко мне, узнал о моем положении от Генриха Поргеса, бывшего некоторое время у него на службе, и пригласил меня к себе для устройства концерта, который должен был состояться в его скромном дворце исключительно для приглашенных. Меня приняли любезно и отвели мне в партере дома помещение, где старый князь очень часто посещал меня в своем кресле на колесах. Его перевозили из расположенных напротив комнат. При таких условиях мое пребывание здесь не могло не представляться мне приятным и даже подающим некоторые надежды. Я сейчас же принялся за разучивание с очень недурно составленным частным оркестром князя отдельных отрывков из моих опер. Мой хозяин всегда присутствовал на этих репетициях, находя в этом большое для себя удовольствие. Обеды за общим столом проходили весьма уютно. В день концерта состоялся даже своего рода парадный обед, на котором приятным сюрпризом для меня было присутствие хорошо знакомой мне из Цюриха Генриетты фон Биссинг, сестры г-жи Вилле из Мариафельда. Живя в своем поместье вблизи Лёвенберга, она получила приглашение от князя и здесь выказала всю

неизменность своей дружбы ко мне, полной энтузиазма. Очень рассудительная и умная, она была чрезвычайно приятной для меня собеседницей. Концерт прошел сносно, а на следующий день я должен был, по желанию князя, продирижировать специально для него бетховенской [Пятой] симфонией c-moll. При этом присутствовала и госпожа Биссинг, недавно потерявшая мужа. Она обещала приехать в Бреслау на мой концерт. Перед отъездом из Лёвенберга капельмейстер Зайфриц передал мне подарок князя (1400 талеров) со словами сожаления, что в настоящий момент он не может отблагодарить меня более щедро. Изумленный и чрезвычайно удовлетворенный, я самым искренним образом выразил доброму князю свою сердечную признательность.

Отсюда я поехал в Бреслау, где концертмейстер Дамрош, с которым я познакомился во время последнего пребывания в Веймаре, устроил мне концерт. К сожалению, все здесь наводило на меня грусть и отчаяние: предприятие, как и следовало ожидать, было втиснуто в самые жалкие рамки. Отвратительный концертный зал театра «Тиволи», служивший трактиром и оканчивавшийся маленькой сценой, со спущенным, невероятно пошлым занавесом, внушал мне такое отвращение, что я хотел сейчас же освободить музыкантов, имевших довольно жалкий вид. Перепуганный Дамрош должен был обещать мне уничтожить в зале ужасный запах табака. Так как он даже не мог гарантировать мне хороший сбор, то из нежелания компрометировать его я согласился дать этот концерт. К моему удивлению, весь зал, особенно передние места, был заполнен исключительно евреями, а на следующий день на обеде, устроенном в честь меня Дамрошем (на нем присутствовали тоже только евреи), я узнал, что своим успехом я обязан сочувственному участию этой части населения.

Лучом света из лучшего мира показалось мне поэтому появление фройляйн Марии фон Бух, которую я увидел, выходя из концертного зала. Она приехала со своей бабушкой из имения Хацфельда, чтобы присутствовать на концерте. Сидя в отделенной от зрительного зала дощатой перегородкой ложе, она ждала, пока публика разойдется, и я пройду мимо нее. На другой день по окончании устроенного Дамрошем обеда она опять приблизилась ко мне в дорожном костюме, стараясь уверениями дружбы и участия рассеять грустное настроение, вызванное моим положением и отражавшееся, должно быть, на моем лице. По возвращении в Вену я письменно благодарил ее за участие, на что она ответила просьбой прислать ей какой-нибудь Albumblatt[81] на память. Отсылая ей листок и желая открыть свою душу душе этого вполне достойного человека, а также вспоминая потрясающее впечатление, с каким я покидал Берлин, я присовокупил слова Кальдерона: «Невозможно молчать и невозможно выразить словами». Другому существу, ко мне расположенному, под покровом счастливой неизвестности, с надеждой лишь для меня самого, я передавал то, что единственно жило внутри меня.

453

Встреча с Генриеттой фон Биссинг

Иные последствия имела моя встреча с Генриеттой фон Биссинг в Бреслау. Она последовала за мной сюда и остановилась в той же гостинице, где и я. Мой болезненный вид возбудил в ней участие к моему положению. Без всякого смущения я изложил ей состояние моих дел. Я рассказал, как с отъездом из Цюриха в 1858 году нарушилось правильное течение моей жизни, столь необходимое

---

[81] Листок из альбома (*нем.*).

при условиях моей деятельности. При этом я описал мои неоднократные и всегда тщетные усилия обеспечить себе прочное внешнее положение. Она не побоялась приписать мои неудачи отношениям между госпожой Везендонк и моей женой и заявила, что чувствует себя призванной исправить зло, причиненное другими. Она вполне одобрила то, что я выбрал Пенцинг для постоянного местожительства, и советовала не предпринимать ничего, что могло бы уничтожить благотворное действие тихого приюта. О моем намерении объехать ближайшей зимой Россию ради заработка она и слышать не хотела и вызвалась доставить мне из своего собственного большого состояния ту довольно значительную сумму, которая могла бы меня обеспечить на продолжительное время. Надо только постараться протянуть некоторое время, так как для того, чтобы оказать мне обещанную помощь, она должна преодолеть большие затруднения.

Полный надежд, которые возбудила во мне эта встреча, я 9 декабря вернулся в Вену. Еще из Лёвенберга мне пришлось отослать большую часть подаренной мне князем суммы частью Минне, частью в Вену для уплаты долгов. С небольшой наличностью, но большими надеждами в душе я мог вновь явиться перед своими немногочисленными друзьями. Из них меня каждый вечер посещал Петер Корнелиус, и у нас образовался небольшой интимный кружок, к которому по временам присоединялись Генрих Поргес и Густав Шёнайх. В сочельник я пригласил всех к себе, разложив вокруг зажженной елки подарки: каждому какую-нибудь мелочь. Меня ждало теперь дело: я обещал Таузигу участвовать в концерте, который он устраивал. Кроме нескольких отрывков из моих новых опер я, к своему большому удовлетворению, по-своему провел увертюру к «Фрейшютцу», произведшую неожиданное впечатление даже на оркестр. Однако на официальное признание моей

деятельности надеяться не было никаких оснований. В высших сферах мне по-прежнему не уделяли никакого внимания. Письма, которые я получал от г-жи фон Биссинг, говорили о затруднениях, встреченных ней при попытках исполнить свое обещание. Но они по-прежнему были полны надежд, и в хорошем настроении я мог встретить Новый год у Штандгартнеров, где Корнелиус обрадовал меня соответствующим случаю юмористическим стихотворением.

454

Киев

Но с новым 1864 годом дела мои стали принимать все более серьезный оборот. Я заболел катаром желудка, и состояние мое, требовавшее частого вмешательства Штандгартнера, становилось все более и более тревожным. Но еще серьезнее озабочивали меня сообщения г-жи фон Биссинг. Очевидно, она не могла достать обещанных денег без содействия своих живших в Гамбурге родственников — семьи судовладельца Слоумена, со стороны которой были пущены в ход самые энергичные попытки парализовать ее намерение, подкрепляемые даже клеветой по моему адресу. Эти обстоятельства настолько тревожили меня, что у меня явилась мысль отказаться от помощи друга и снова вернуться к прежним планам поездки в Россию. Но госпожа фон Раден, к которой я обратился, советовала не приезжать совсем, так как вследствие разразившихся в польских провинциях беспорядков дорога не свободна, да и в самом Петербурге мне не будет уделено никакого внимания.

Оставался еще Киев, куда, как мне писали, можно было смело отправиться, и где я мог выручить до 5000 рублей. Я направил все свои помыслы на Киев. С Корнелиусом,

пожелавшим сопровождать меня туда, мы разработали план путешествия по Черному морю в Одессу и оттуда в Киев, для чего решили запастись подходящими шубами. Пока же не оставалось ничего другого, как подписывать новые векселя для погашения старых, выданных на короткие сроки. Такая система очевидно и неудержимо вела к полному разорению, и выход из нее могла дать только своевременно предложенная, основательная помощь. В таком положении я чувствовал себя вынужденным попросить у своей приятельницы определенного ответа, не относительно того, может ли она помочь мне сейчас, но хочет ли она это сделать вообще, так как я сам не в силах предотвратить полного краха. По неизвестным причинам она почувствовала себя сильно задетой этим письмом и ответила на него приблизительно следующим образом: «Вы желаете знать, хочу ли я? Так, ради Бога, знайте же: нет». Такой образ действий, показавшийся мне совершенно непонятным и объяснимый только слабостью ее далеко не самостоятельного характера, был мне вскоре разъяснен самым неожиданным образом ее сестрой, госпожой Вилле: с болью и печалью ее сестра призналась в сильнейшем волнении: «И если спасаю Вагнера я, то любит он, в конце концов, только Везендонк…»

Среди этих колебаний незаметно подошел конец февраля. Мы с Корнелиусом были заняты разработкой плана путешествия в Россию, когда я получил из Киева и Одессы письма, в которых мне советовали отказаться от всяких художественно-артистических предприятий в этих городах. Мне стало ясно, что при таких обстоятельствах нечего больше и думать о сохранении моего положения в Вене, как и квартиры в Пенцинге, потому что у меня не только не было никаких видов на заработок, хотя бы и временный, но долги мои, возросшие при ростовщических процентах до весьма внушительной суммы,

без вмешательства посторонней силы, могли бы даже грозить моей личной свободе.

При таком положении вещей я с полной откровенностью обратился за советом к императорскому советнику земельного суда Эдуарду Листу, молодому дяде моего старого друга Франца. Уже во время первого моего пребывания в Вене он выказал большую преданность по отношению ко мне и готовность быть к моим услугам. В данном случае, чтобы выкупить мои векселя, он не видел никакого другого средства, как вмешательство какого-нибудь богатого покровителя, который удовлетворил бы моих кредиторов. Одно время он думал, что нужные для этого средства и желание предоставить их найдутся у некоей госпожи Шёллер, богатой и чрезвычайно расположенной ко мне жены коммерсанта. И Штандгартнер, от которого я не скрывал своего положения, тоже надеялся кое-что сделать для меня в этом смысле. Так прошло несколько недель, в течение которых выяснилось, что друзья мои могут снабдить меня лишь суммой, достаточной для отъезда в Швейцарию, а там уже я должен буду искать средств, чтобы выкупить выданные мной векселя. Эдуарду Листу, как юристу, этот исход казался желательным уже по одному тому, что он дал бы ему возможность привлечь виновных к ответственности за неслыханное ростовщичество, жертвой которого я сделался.

455

Молодой король Людовик Баварский. В поисках нового приюта

В течение последних тревожных месяцев, когда луч надежды все еще мерцал вдали, мои отношения с немногими друзьями продолжали оставаться по-прежнему оживленными. Каждый вечер неизменно являлся Корнелиус. К нему присоединялись Отто Бах, граф Лорансен,

а однажды явился ко мне и Рудольф Лихтенштейн. С Корнелиусом мы принялись за чтение «Илиады». Дойдя до «перечисления судов», я решил его пропустить, но Петер захотел прочесть и эти страницы и вызвался сделать это вслух. Довели ли мы это чтение до конца, не помню. Один же я читал «Историю графа Рансе» Шатобриана, которую мне дал Таузиг. Сам он куда-то бесследно исчез, пока через некоторое время опять не появился на нашем горизонте женихом какой-то венгерской пианистки.

Здоровье мое было очень плохо, меня сильно мучило постоянное катаральное состояние. Мысли о смерти приходили все чаще и чаще, и я больше не чувствовал желания отгонять их. Я принялся распределять свои книги и рукописи, часть которых была назначена Корнелиусу. Находившейся в Пенцинге остаток имущества, потерявший для меня всякий интерес, я еще несколько времени тому назад отдал заботливому попечению Штандгартнера. Ввиду того что друзья мои чрезвычайно определенно советовали мне готовиться к бегству, конечным пунктом которого должна была стать Швейцария, я обратился к Отто Везендонку с просьбой дать мне приют в своем доме. Эту просьбу он решительно отклонил, что побудило меня написать ему еще раз и указать на его неправоту по отношению ко мне.

Теперь предстояло подготовить мой отъезд таким образом, чтобы он имел вид кратковременной отлучки, рассчитанной на скорое возвращение. Штандгартнер, больше всего старавшийся сделать его незаметным, распорядился, чтобы слуга мой, Франц Мразек, заблаговременно доставил дорожный чемодан к нему на дом, куда я должен был прийти на обед. Тяжело простился я со своим слугой, его женой Анной и славной собакой Полем. На вокзал меня проводили пасынок Штандгартнера, Густав Шёнайх,

проливавший при этом горючие слезы, и Корнелиус, проявивший, напротив, игриво-легкомысленное настроение.

Я уехал 23 марта после обеда и направил свой путь в Мюнхен, где рассчитывал, неузнанный никем, отдохнуть дня два от ужасных волнений последнего времени. Остановившись в отеле Bayerischer Hof[82], я совершил несколько прогулок по улицам Мюнхена. Это было в Страстную пятницу. Стояла холодная суровая погода, и весь город, жители которого двигались в глубоком трауре из церкви в церковь, был, казалось, охвачен настроением этого дня. Незадолго перед тем умер пользовавшийся такой любовью в Баварии король Максимилиан II, оставив трон своему юному, способному уже занять престол восемнадцатилетнему сыну. В одной из витрин я увидел портрет молодого короля Людвига II, и вид этого юного лица тронул меня тем особенным чувством участия, какое возбуждают в нас в тяжелых условиях жизни молодость и красота. Написав юмористическую эпитафию для себя, я продолжал свое бегство через Боденское озеро в Цюрих, откуда сейчас же отправился в Мариафельд, в имение не особенно близкого мне человека доктора Вилле.

456

Его жене, с которой мы довольно близко сошлись в прежнее мое пребывание в Цюрихе, я еще раньше написал, прося разрешения приехать на несколько дней. Я надеялся найти подходящее помещение в одной из местностей, расположенных вокруг Цюрихского озера. Она очень мило отозвалась на мою просьбу. Самого доктора Вилле я не застал, он уехал в Константинополь. Мне нетрудно было разъяснить свое положение госпоже Вилле, сейчас же выказавшей большую готовность

[82] «Баварский двор» (*нем.*).

по возможности облегчить его. Прежде всего она освободила мне несколько комнат в соседнем доме, некогда занимаемом госпожой фон Биссинг. Но стоявшей в них уютной мебели теперь не оказалось. Я намеревался столоваться самостоятельно, но должен был уступить ее просьбам разрешить ей взять эту заботу на себя. Не хватало только обстановки, и госпожа Вилле сочла возможным обратиться по этому поводу к госпоже Везендонк, которая тотчас же прислала ей кое-что из своей мебели, в том числе и пианино. Она выразила желание, чтобы во избежание неприятной сенсации я посетил в Цюрихе своих старых друзей. Но постоянное нездоровье, еще усилившееся от преобладавшей в этом трудно отапливаемом помещении низкой температуры, задержало исполнение моего намерения, пока Отто и Матильда Везендонки сами не отыскали нас в Мариафельде. Отношения между супругами казались неясными и напряженными. Причины этого были мне в целом понятны, что, впрочем, не отразилось на моем обращении с ними.

Дурная погода и угнетенное состояние духа беспрестанно обостряли мои катаральные страдания, лишавшие меня к тому же возможности приняться за поиски квартиры для себя. С утра до вечера кутаясь в шубу, купленную в Карлсруэ, я проводил эти ужасные дни за чтением. Я старался заглушить тяжелые мысли, и госпожа Вилле посылала мне в мой уединенный приют книжку за книжкой. Я прочел «Зибенкэз» Жана Поля, «Дневник» Фридриха Великого, Таулера, романы Жорж Санд, Вальтера Скотта, наконец, Felicitas, принадлежащее перу моей гостеприимной хозяйки. Извне до меня, кроме наполненного сетованиями и выражениями соболезнования письма Матильды Майер, дошли только присланные мне Трюине из Парижа 75 франков, доставивших мне странное удовольствие.

По этому поводу у меня зашел с госпожой Вилле полушутливый, полусерьезный разговор о том, что предпринять, как положить конец ужасному материальному положению. Среди прочих планов мы остановились на необходимости добиться развода с женой, который дал бы мне возможность поправить свои дела богатой женитьбой. Так как все средства казались пригодными, я действительно написал своей сестре Луизе, не может ли она в рассудительной беседе убедить Минну довольствоваться назначенной ей ежегодной пенсией и отказаться от всяких притязаний на мою особу. В ответ на это последовал исполненный пафоса совет позаботиться прежде всего о восстановлении своего доброго имени и новым трудом упрочить свой кредит, что без всяких эксцентричных шагов с моей стороны выведет меня из затруднительного положения. Во всяком случае, я поступил бы благоразумно, если бы старался получить освободившееся в Дармштадте место капельмейстера.

Из Вены приходили дурные вести: чтобы спасти оставшуюся в пенцингской квартире обстановку, Штангартнер условился с одним негоциантом продать ее с правом обратного выкупа. Я сейчас же написал письмо, в котором выразил величайшее негодование, так как считал, что этим наносится ущерб моему домохозяину, которому я должен был уплатить за квартиру. Через посредство госпожи Вилле мне удалось раздобыть нужную для этого сумму и послать ее барону Раковицу. К моему огорчению, я узнал, что Штандгартнер с Эдуардом Листом сожгли все мосты, уплатив из вырученных за мебель денег домохозяину и тем самым отрезав от меня всякую возможность возвращения в Вену, которое они считали безусловно для меня гибельным. Но когда Корнелиус в то же время сообщил мне, что Таузиг, имя которого стояло на одном из векселей, лишен возможности вследствие моего

бегства вернуться в Вену (он находился тогда в Венгрии), известие это подействовало на меня угнетающим образом, и я решил, невзирая ни на какую опасность, немедленно туда вернуться. Об этом я написал своим венским друзьям, но предварительно решил раздобыть столько денег, сколько нужно, чтобы иметь возможность предложить кредиторам соглашение. С этой целью я послал Шотту в Майнц весьма решительное письмо, в котором не пожалел упреков за его образ действий по отношению ко мне. Чтобы выждать результатов этого шага на более близком расстоянии, я положил отправиться из Мариафельда в Штутгарт. К этому меня побудили следующие мотивы.

457

Заря новой жизни

Доктор Вилле вернулся, и я сейчас же заметил, что мое пребывание в Мариафельде несколько пугает его: по-видимому, он опасался, чтобы не обратились и к нему за содействием для оказания мне помощи. Но затем, чувствуя себя несколько пристыженным моим поведением, он в минуту волнения сознался, что питает ко мне чувство вполне простительное у играющего известную роль в своем собственном кругу человека, когда он приходит в близкое соприкосновение с чуждой ему личностью, сознавая ее превосходство над собой: «В собственном доме естественно не желать быть только декорацией для другого». Предвидя настроение своего мужа, госпожа Вилле вошла в соглашение с Везендонками, обещавшими посылать мне ежемесячно 100 франков. Узнав об этом, я тотчас же написал госпоже Везендонк письмо, в котором извещал ее о своем немедленном отъезде из Швейцарии и самым любезным образом просил считать себя свободной от всяких забот обо мне, так как я устроил свои дела вполне соответственно

своему желанию. Впоследствии я узнал, что, не вскрыв письма, она переслала его госпоже Вилле, боясь, чтобы оно не оказалось компрометирующим.

30 апреля я отправился в Штутгарт. Я знал, что там живет Карл Экерт, недавно получивший место капельмейстера королевского театра. У меня были основания считать этого человека чрезвычайно преданным мне другом по его прекрасному отношению ко мне в бытность его директором Венской оперы, как и по энтузиазму, заставившему его в прошлом году приехать на мой концерт в Карлсруэ. Я и не сомневался, что он поможет мне в поисках тихого убежища, которое мне хотелось найти на предстоящее лето в Каннштатте близ Штутгарта. Здесь я намеревался довести до конца первый акт «Мейстерзингеров», чтобы послать Шотту часть рукописи, как я обещал в последнем письме, прося аванса. Потом я хотел, продолжая жить в величайшем уединении, вдали от всех, пустить в ход все усилия, чтобы раздобыть деньги, при помощи которых я мог бы избавиться от своих венских обязательств.

Экерт встретил меня самым дружеским образом. Жена его, одна из наиболее выдающихся венских красавиц, отказавшаяся от очень выгодного положения в обществе ради фантастического желания связать свою жизнь с жизнью художника, была достаточно богата, чтобы устроить «капельмейстеру» гостеприимный и уютный дом, в чем я имел возможность теперь убедиться. Экерт считал своим непременным долгом представить мне управляющего Придворным театром, барона фон Галля: этот последний весьма разумно и благосклонно говорил о трудностях моего положения в Германии, где все будет для меня закрыто до тех пор, пока саксонские посланники и агенты будут иметь возможность вредить мне инсинуациями всякого рода.

Познакомившись со мной ближе, он счел возможным употребить все свое влияние при вюртембергском дворе.

Вечером 3 мая, когда, сидя у Экерта, я обсуждал с ним свои дела, мне подали в довольно поздний час карточку какого-то господина, называвшего себя «секретарем короля Баварии». Очень неприятно пораженный тем, что местопребывание мое в Штутгарте уже стало известно проезжающим, я велел сказать, что меня нет, и вскоре после того вернулся к себе в гостиницу. Там я опять узнал от хозяина, что какой-то господин из Мюнхена настоятельно желает меня видеть. Я велел передать, что буду дома завтра в 10 часов. Всегда готовый к худшему, я на следующее утро после весьма беспокойной ночи принял в своей комнате господина Пфистермайстера, секретаря Его Величества короля Баварии. Прежде всего этот господин выразил свою радость, что наконец нашел меня после того, как тщетно искал сначала в Вене, откуда его направили в Мариафельд на Цюрихском озере, а затем сюда. Он передал мне письмо от молодого короля Баварского вместе с его портретом и кольцом, которые тот посылал мне в подарок. В немногих, но проникших в самую глубь моего сердца словах монарх выражал восхищение моей музыкой и свое твердое намерение отныне в качестве друга избавить меня от гонений судьбы. В то же время Пфистермайстер сообщил мне, что ему поручено немедленно доставить меня в Мюнхен к королю, и просил моего разрешения телеграфировать ему о моем приезде на следующий день.

Я был приглашен на обед к Экертам, господин же Пфистермейстер должен был отказаться сопровождать меня туда. Переданная мной друзьям, в том числе и молодому Вайсхаймеру из Остхофена, неожиданная новость привела их во вполне понятное радостное изумление. За обедом Экерт получил телеграмму из Парижа, извещавшую его о смерти Мейербера. Вайсхаймер разразился

грубым смехом, видя удивительную игру судьбы в том, что оперный композитор, причинивший мне столько вреда, умер, не дожив до этого дня. Явился также и фон Галль. В благосклонных словах выразив свой восторг, он заметил, что теперь я не нуждаюсь больше в его посредничестве. Отдав раньше приказ о постановке «Лоэнгрина», он тут же вручил мне причитающийся мне за него гонорар.

В 5 часов вечера я встретился на вокзале с Пфистермайстером, чтобы вместе с ним отправиться в Мюнхен. Туда было дано знать по телеграфу о нашем приезде на следующее утро. В тот же день я получил из Вены письма, самым настойчивым образом отговаривавшие меня от намерения вернуться туда. Но ужасам этого рода больше не суждено было повториться в моей жизни. Путь, на который судьба призывала меня для высших целей, был полон опасностей, никогда не был свободен от забот и затруднений совершенно неизвестного мне до сих пор характера. Но под защитой высокого друга бремя пошлых жизненных невзгод никогда больше не касалось меня.

Вагнер Рихард

Моя жизнь

В двух томах

Том 2

16+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *О. Зотова*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Наши проекты

www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн, электронная библиотека для вузов и ссузов

www.lib.biblioclub.ru – Библиотека NON-FICTION, онлайн-библиотека научной и познавательной литературы

www.art.biblioclub.ru – Арт-портал «Мировая художественная культура» и Арт-библиотека, интерактивная галерея произведений мирового искусства

www.biblioschool.ru – «Библиошкола» и «Читающая школа», онлайн-библиотека школьной образовательной литературы и книг для внеклассного чтения

www.read-analytic.ru — «Аналитик чтения», программа для оценки сложности текстов и читательских компетенций учащихся

www.new-gi.ru — «Новое поколение», интеллектуальный центр дистанционных технологий

www.english-direct.ru — Ресурсный центр изучения иностранных языков и курсы иностранного языка онлайн

www.enc.biblioclub.ru — «Энциклопедиум», сайт классических, академических и авторских энциклопедий и онлайн-справочников

www.directacademia.ru — «Директ-Академия», учебно-методический центр обучения цифровым технологиям в образовании

www.lms.biblioclub.ru — Центр профессионального онлайн-обучения «Электронные курсы». Платформа дистанционного обучения

